НЁМАН

2/2015
ФЕВРАЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Издательский дом «Звязда»

Главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонская*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *Е. Г. Кахновская*

Подписано к печати 06.02.2015 г. Формат 70 ×108 1/16. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л.19,25. Тираж 2325. Заказ .
Цена номера в розницу 21 400 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора, заместителя главного редактора — 284-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Отпечатано в Республиканском унитарном предприятии «СтройМедиаПроект».
220123, Минск, ул. В. Хоружей,13/61. ЛП № 02330/71 от 23.01.2014.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»



ВЛАДИМИР САЛАМАХА

Чти веру свою...*

Повесть

1

...И все же женщинам до приезда домой надо было совершенно точно выяснить, кого Катя видела на базаре: Иосифа Кучинского или человека, похожего на него. Иосиф — односельчанин. Семь лет назад, весной, он бесследно исчез из Гуды. Исчез при довольно-таки непростых обстоятельствах, и как считали гуднянцы — по их вине.

Если на базаре действительно был Иосиф, то и греха на них нет. Жить с тяжестью душегубцев — не дай бог никому. Вот и Ефим, случается, места себе не находит, когда вспоминают об Иосифе. Послушает внимательно, что говорят о Кучинском, пусть и не очень лестное, но с сожалением, что все так случилось, вздохнет, а потом как отрубит:

— Сидел бы в своей хате, когда все окрест затопило, так и горя не знал бы, и мы лишней мороки не имели. А то думай, гадай, где и в какую западню попал, да так, что и следа не найти. А ты считай себя виноватым, потому как был последним, кто его видел, последним, кто с ним говорил и не задержал на островке, хотя мог задержать...

— А как можно удержать человека, если тот что задумал? Сколько мы его тогда ни звали, как ушел, не отозвался! — говорил кто-то из мужчин. — Конечно, глупость он сотворил: его изба спасла бы. Она хоть и старая, но крепкая. Это нам тогда с лихвой пришлось горя хлебнуть, это мы могли сгинуть. Сами-то что — а детишки, женщины?..

Оно так, дом Кучинского большую воду выдержал бы. Это не землянки сельчан, вырытые после того, как наши фашиста прогнали. В землянках Ефиму, Николаю, Михею, и прежде всего Наде с ее детишками, Валиком и Светкой, да Кате на сносях, спасения не могло быть. И если бы не сарай за деревней на взгорке, собранный мужчинами летом сорок четвертого из обгоревших бревен (надо же было где-то держать двух лошадей и козу — все тогдашнее колхозное богатство), сами погибли бы и детишек не уберегли. В сарае приют нашли не на день и не на два, а на долгих три месяца.

Кто тогда гнал Иосифа из дома? Чего, спрашивается, не сиделось ему в теплом?.. Вишь, в полночь зашлепал веслами по воде: к вам хочу! А не спросил, хотели они этого или нет...

А так что? Один захотел, остальные — нет. Поэтому и случилась беда. Да еще какая: погиб человек...

И вот сейчас Катя не знала, что думать: был это Кучинский или кто иной... Определенности нет. Поэтому и тяжело на душе. Очень... Чувство такое, будто

* Журнальный вариант второй повести трилогии «...И нет пути чужого». Первая под одноименным названием в переводе на русский язык напечатана в журнале «Нёман» № 2, 3 за 2011 г.

тебе не дают вздохнуть. За эти годы ощущение вины приутихло: так при ожоге бывает — затянется коркой, и вдруг невзначай сорвешь ее — взвоешь от боли...

Да что гадать! Это Иосиф. Глаза его. Катя хорошо помнит их, был случай, так и пропечатались в памяти. Когда? Однажды зимой сорок четвертого года...

В тот день вышла она из своей землянки на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, — сыро в ее жилище, копоть от лучины да от огня из снарядной гильзы, заменяющей фонарь. Вышла на свет, остановилась... Ночью выпал снег. А утром небо очистилось от туч. Глянула перед собой — слепящая белизна, пересыпанная золотистыми блестками.

На мгновение зажмурилась, голова закружилась: не упасть бы. Открыла глаза, подождала, пока они привыкнут к яркому солнечному свету, к слепящей снежной белизне, посмотрела на улицу. Она была пустынной, но на снегу заметила две цепочки маленьких следов от бахил. Следы вели из того конца деревни в этот, к дамбе.

Подумала, что Валик со Светкой побежали к реке — землянка, в которой они живут с матерью, Катиной подругой Надей Саперской, находится в том конце деревни, ближе к сарайчику, на взгорке. Там же недалеко и землянки Ефима Боровца, Николая и Михея. Это Катина здесь, среди деревни, на их с Петром бывшей усадьбе, где стоял дом, сожженный в войну фашистами. Напротив, на другой стороне улицы, чуть правее — хата Иосифа Кучинского. А вот она уцелела, когда летом сорок третьего года фашисты вместе с его сыном-полицаем уничтожили деревню.

Стояла Катя возле землянки, а в воздухе — такая тишина, что, казалось, сделай шаг, она всколыхнется, все вокруг зазвенит, и от этого звона золотисто-синее хрупкое марево рассыплется на мириады кристалликов, щедро усеяв ими заснеженную землю. И вдруг, в стороне, слева от нее, возле дома соседа послышались осторожные шаги, вкрадчиво захрустел снег — и ничто не зазвенело, не всколыхнулось, не рассыпалось.

Катя посмотрела туда и обомлела: от крыльца своего дома, держа в руке ведро, шел Иосиф. Он направлялся к колодцу и не видел ее.

Колодец был напротив его хаты, на этой стороне улицы, недалеко от Катиной землянки.

Катя замерла. Она боялась шелохнуться, чтобы не вспугнуть старика, — он же избегает людей, увидит ее, растеряется: как ему быть? Поздороваться или сделать вид, что не заметил?..

Торопливо заскрипел колодезный журавль, словно сухая ветка, хрустнула наледь на деревянном ведре, и сразу же в оцинкованную посудину глухо плеснулась вода.

Катя по-прежнему стояла как вкопанная.

Иосиф набрал воды и поспешил к крыльцу своего дома. Вновь захрустел снег под его большими, подшитыми резиной валенками.

Он сделал шагов пять — вмерзшая в землю искривленная калитка осталась позади, как неожиданно за углом его хаты, от улицы, она заметила Валика и Светку. Катя еще не успела подумать, почему дети прячутся здесь, как Валик изо всей силы бросил в старика увесистый кусок льда. Лед, стукнувшись о дверь, разлетелся на множество мелких искрящихся осколочков, на мгновение ослепивших ее...

Катя тихо ойкнула...

Иосиф осторожно поставил ведро, медленно повернулся...

Тем временем Валик поднял еще более увесистый кусок льда, прищурил глаз, прицелился, чтобы бросить в старика. Катя сорвалась с места, бросилась во двор, стала между мальчиком и стариком, прокричала:

— Что же ты делаешь? Дедушка тебе дружок, что ли? Как тебе не стыдно? И кто только тебя этому научил?..

Эти слова она и сейчас помнит. Произнести их было непросто: с одной стороны — ребенок, мстящий за односельчан отцу полицая, с другой — немощный старик, как считала Катя, ни в чем не повинный перед людьми, хотя...

Вот тогда впервые за последние годы она так близко увидела глаза Иосифа: прежде чем уйти, он долго молча смотрел на нее, словно хотел увидеть все, что сейчас на душе у соседки.

Глаза старика были бесцветные, но не пустые. Казалось, где-то в их глубине, за белесой поволокой затаились невысказанная печаль, страдания, боль и страх...

Она понимала: в его душе накопилось столько обиды, что, казалось, еще мгновение — и он не удержится, бросится к ней, прильнет к ее плечу и зарыдает. И в то же мгновение печаль, боль, страдания и страх вихрем ворвались в ее душу. Обожгли, да так, что не было мочи терпеть — закричи, взвой, чтобы легче стало, но нет сил — перехватило дыхание...

Она не закричала, не завыла, а сжалась, будто под обжигающими ударами плети, собрала волю в кулак: как же утешить его, такого слабого и беззащитного перед всем миром?!.

А он, вопреки всему, не уронил слезы, сдержался, скользнул по ее лицу уже мягким влажным взглядом, медленно повернулся, с минуту постоял, будто что-то вспоминая, затем по своим свежим следам в искристом снегу, тяжело пошатываясь, побрел к крыльцу.

Она взглянула на Валика. Мальчик стоял растерянный. Ничего не понимая, посматривал то на нее, то на старика. Наверное, не ожидал, что она заступится за Иосифа. Еще бы, видел, слышал, что дед Ефим, дядя Михей и дядя Николай, да и его мать, очень не любят этого человека: отец нелюдя...

И нелюдя этого Валик, конечно же, знал. А звали того Стас. Это был полицай из их деревни, от которой сейчас и следа нет, если не считать вот этого дома старика Иосифа Кучинского.

Страшный был Стас. Всегда, когда шел по деревне, пугал детишек, если они попадались ему на глаза, орал: «Кыш, шантрапа!..» Если они не убегали, хватался рукой за приклад винтовки. (Если на улице не было взрослых.) Конечно, винтовка — не шутка: детишки мигом разлетались кто куда.

Если же на улице были взрослые, Стас зверем посматривал на них, ни с кем не здоровался (да ему никто и не ответил бы), тяжело сопя, тащился к своему дому.

Подойдя к калитке, сколоченной из жердочек, бил по ней тяжелым сапогом, та отлетала за столбик, на котором держалась, и он, шатаясь, брел к крыльцу.

Обычно возле крыльца его ждал Иосиф. Он молча смотрел на улицу, видят ли люди, потом тихо что-то говорил Стасу, тот резко отмахивался от отца, шел в сени. Иосиф направлялся следом, наглухо затворял за собой дверь.

Случалось, и нередко, там слышалась возня: люди догадывались, что сын на отца поднимает руку...

И это знал Валик. Более того, знал, что Стас убил мужа тети Кати, дядю Петра!.. Да как она может защищать отца полицая?!.

— Не делай этого, Валичек! Нельзя так, — кое-как успокоившись, стараясь быть твердой, сказала она тогда мальчику, подошла к нему и решительно перехватила в запястье его ручонку, держащую кусок льда. — Прошу тебя, выбрось. Дедушка Иосиф никому ничего плохого не сделал.

Сказала и только тогда вспомнила о Светке: где же она? Заглянула за угол дома — стоит девочка, сжалась, вобрала в плечи голову, покрытую тяжелым маминым платком, вид у нее такой, словно ждет, что ударят по лицу...

И еще заметила тогда Катя, что глаза у Светки блестели: слезились то ли от страха, то ли от ветра, бросающего колючий снег в ее красное от мороза личико.

А Валик стоял, по-прежнему ничего не понимая. Его ручка все сильней и сильней сжимала льдинку, на побелевших щеках выступили маленькие желваки — казалась, мгновение и он презрительно бросит ей в лицо: «Защитница!..»

Кате хотелось закричать, да так, чтобы все вокруг всколыхнулось, взъерошилось, завихрилось, обожгло и ее, и всех еще большим холодом, чем сейчас: «Да не какая я не защитница!.. У меня у самой все внутри горит...» Но не закричала, сдержалась, дрожащими губами молвила:

— Валичек, война скоро окончится. Ваш папка вернется домой. Если узнает, что ты в немощного старичка бросал лед, он тебя не похвалит. Ведь наши солдаты и твой отец на той земле, где живут детишки и родители фашистов, не обижают ни детей, ни стариков. А знаешь почему? Потому, что дети там точно такие же, как и вы со Светкой. Они не виноваты, что их отцы стали фашистами. И родители их не виноваты... И дедушка Иосиф не виноват, что Стас был плохим. Ты же — мужчина, будущий солдат, попробуй понять это...

Говорила она тихо, не хотела, чтобы слышал Иосиф. Но тот ее слов и не услышал бы, уже был в сенях.

Валик молчал, по-прежнему не отводил от нее глаз. Ноздри его тонкого, опаленного морозом носа дергались.

Катя понимала, что мальчик разочаровался в ней: да как она может жалеть деда Иосифа?!.

Она не мигая смотрела мальчику в глаза: неужели у него нет и капли сочувствия к старику?.. А этот же дедушка еще не так давно качал его на своих коленях да орехами угощал — любил Иосиф с чужими малышами возиться, своих внуков у него не было, соседи детишек ему доверяли: добряк... Хотя вряд ли помнит это мальчик, до войны было.

Нет, старика ему не жаль. Каким же Валик вырастет, коль сейчас такой? Знает же, что Иосиф одинокий, немощный. Знает, что бы ни говорили взрослые о Кучинском, но никто его даже пальцем не тронул.

Смотрела на мальчика и боялась, что не выдержит его взгляда, не по-детски полного ненависти. И попробуй сейчас понять, к кому эта ненависть: к ней или к Иосифу... Обжигает ее, а ненавидит, наверное, одинаково обоих.

И вдруг заметила, что в глазах мальчика встрепенулся еле заметный лучик света. Расслабляя свои пальцы, сжимающие в запястье его руку с кусочком льда, увидела, как из его покрасневшей ручонки на снег упала капля воды...

«Да, его, Иосифа, исстрадавшиеся глаза видела я сегодня! — в который раз пыталась убедить себя Катя и все равно продолжала сомневаться: — Хотя как сказать: а кто за войну не исстрадался?»

Конечно, за войну, да и после нее, не один Иосиф много чего пережил, вдоволь настрадался и душой, и телом. Горя всем с лихвой хватило, может, только кому больше, кому меньше.

Но уж очень несчастных людей, особенно пожилых и старых, сразу узнаешь, только загляни в глаза. Усмехнется он невзначай, а в глазах страдание. Что здесь скажешь. Наверное, человек — такое создание, что если ему плохо, а он пытается это спрятать от людей, все равно глаза выдают. Улыбается, а глаза — плачут без слез...

Без слез плакали глаза Иосифа и тогда, когда Валик бросал в него льдинку. Без слез плакали глаза и того человека, которого Катя видела в городе на базаре.

Впрочем, глаза-то похожие, а фигура у того, в ком она увидела бывшего соседа, не его. Иосиф, когда она видела его в последний раз незадолго перед исчезновением из Гуды (почему-то ходил по своему огороду вокруг увядшего после того, как сожгли деревню, куста сирени), был высокий и на удивление прямой. Издалека видела, но запомнила. А этот человек — сгорбленный, будто усохший, хромой. Левой подмышкой опирался на самодельный костыль, крепко держа рукой. Правая же рука — протянута к прохожим: подайте кто может... Как есть нищий.

Нет, не Кучинский. Иосиф с голоду умирал бы, а подаяния не стал бы просить.

Катя хорошо знала Иосифа еще задолго до того, как вышла замуж за Петра и перебралась из своего Забродья в Гуду, где жил ее суженый. Как не знать? Иосиф вместе со своим другом Ефимом Боровцом (тот, между прочим, хоть и был в колхозе при лошадях, но находил время плотничать и столярничать) в окрестных деревнях ставил людям избы. Их приглашали охотно: все делают на совесть и лишней копейки не возьмут.

Знала, Иосиф, как и Ефим, был немногословен, нежаден. Сказывали, если видел, что хозяин живет бедно и детишек у него много, получая за работу деньги, не пересчитывая их, сразу же какую-то часть возвращал хозяйке:

— Детишкам от нас что-нибудь купи.

Если женщина удивленно смотрела на Ефима, одобряет ли он Иосифа, тот говорил строже:

— Бери, бери! На детишек даем.

Ефиму перечить боялись: чародей! Такое за ним тянулось издавна. То забудут, что он владеет тайным словом, способным и добро нести, и карать, то вдруг вспомнят.

Конечно, никаким колдуном Ефим не был. Напраслина это. Когда-то сам ее на себя возвел — была ситуация, местные парни столярный инструмент воровали, надо было как-то их остановить, вот и придумал небыль: колдун, знали бы с кем связываетесь... Придумал — в детстве с нищими много по свету хаживал, всякого наслушался и насмотрелся — и о колдовстве тоже, так почему не припугнуть?

«Чародей!» — потом долго в деревне за ним тянулось...

А попал он сюда, в Гуду, можно считать, случайно. Уже парнем, в поисках заработка бродил по свету с товарищем. Где что-то строили, где пахали, а где убирали — коль здоров и силен, то в одном месте, то в другом можно найти работу.

Однажды объявились в Гуде. Деревня как деревня, люди живут, землю пашут, рыбачат, строятся... А пришлые, говорят, в этом деле мастера. Нашлись хозяева, кому они были нужны.

В деревне как: коль новые люди, так к ним — с вниманием, с присмотром, дескать, это хорошо, что мастеровые, а так что за птицы? Оказывается, холостяки, вечерами не прочь на гулянье прийти да с местными девчатами сплясать. А те нет-нет да и посматривают с улыбками на чужаков — ребята видные, при костюмах, в сапогах, не то что свои: в чем дома, в том и на вечерки. Вот и решили однажды гуднянские кавалеры проучить чужаков: увели инструмент. А инструмент дорогой, как у стоящих мастеров, где его здесь купишь?

Долго думал Ефим, как быть, и надумал: пущу слух, что колдовским словом владею. А что? По земле хожу, можно сказать, бродяга, черный, словно

смолье, видел, старые женщины поглядывают с опаской (как бы чего на живность не наслал). Вот и сказал однажды Ефим на вечеринке товарищу так, чтобы все услышали, дескать, слово тайное знаю, напущу на того, кто инструмент увел, он его назад в зубах притащит, да еще волком будет выть...

Вернули инструмент, подбросили под ворота сарая хозяина, в котором ночевали Ефим с товарищем. А чародеем еще долго Ефим значился. Тем более, и подтверждение этому было: знали сельчане, что вскоре после случая с инструментом Ефим своим только ему ведомым словом местную девушку чуть ли не с того света вытащил, а потом и в жены взял. (На ту девушку после испуга хворь навалилась, да такая, что и свои, и чужие знахари перед ней были бессильны, а он враз ее на ноги поднял.)

Сказывали люди, что тогда в молодые годы, после всех этих событий и подружились Ефим с Иосифом, а почему и как, никто не знал.

Много позже, когда Катя стала жить с Петром, она не однажды слышала, как женщины говорили вслед Иосифу: «Золотой человек. Никого не обидит. А если тебе что надо, так свое последнее отдаст и никогда не вспомнит об этом. Отдаст и Марии не побоится. Вот только горе ему с ней, и как только терпит такую жену? А ведь любил свою Теклюшку, да так, что когда Авдей вез ее под венец, упал поперек дороги, но она на него даже не глянула...

Откуда женщины все это знают, и спрашивать незачем: сказано, значит так и есть!..

Запало тогда Кате в душу: золотой человек...

Говорили также, что и через много лет после того, как Текля стала жить с Авдеем, Иосиф не мог забыть ее. Долго был холостяком. Поздно женился, и хоть девчат в округе было полно, почему-то взял Марию — ох как не любили ее женщины!.. А она, пока не умерла, поедом ела Иосифа.

Сплетничали, а языки у иных женщин уж больно ядовитые, будто не свое дитя растил Иосиф. Судачили, что Мария, прежде чем с ним сойтись, будто любилась с неким Матвеем, старовером из Нетомли. Только тот ее не взял — родители не дозволили — чужой она веры.

Удивлялись, почему Иосиф, терпя от Марии издевательства, ни разу не сказал о ней худого слова, никому не пожаловался на свою судьбу. А она оскорбляла Иосифа и дома, и при людях. Случалось, могла из-за пустяка наброситься на него с кулаками (корову в сарае не закрыл, воды вовремя не принес, дров не нарубил...). А он даже не пытался ее приструнить...

Набросится на него Мария, Иосиф отмахнется, как от назойливой мухи, повернется, уйдет куда глаза глядят, и на людях его неделю не видно.

Случалось, кто из мужчин посочувствует ему: «Пусть бы моя так попробовала со мной, я показал бы ей, где раки зимуют!»

Иосиф выслушает, потом тихо хрипловатым голосом ответит: «Показал бы... Ты что, хочешь, чтобы я на женщину руку поднял?»

Этот хриплый голос последний раз Катя слышала в войну, еще до того, как немцы сожгли деревню. Слышала, как Иосиф однажды, вернувшись от Стаса из гарнизона Борвице, предупреждал односельчан о том, что, наверное, немцы что-то плохое удумали: уж больно зашевелились...

Ефим тогда Иосифу будто под дых саданул: скулишь, как пес, когда ему хвост прищемят. Да пригрозил: дескать, смотри, нелюдь, захочешь о наших связях с партизанами немцам шепнуть — не успеешь...

Иосиф бывшему другу ответил тихо, таким же хрипловатым голосом: «Зря ты так, Ефимка. Я перед Богом чист». Было видно, как ему тяжело: лучше бы сквозь землю провалиться, чем вот таким униженным стоять перед людьми...

...А сегодня на базаре Катя услышала тот же голос — негромкий, хрипловатый, без всякого сомнения, его голос. И сейчас она его слышит — стоит в ушах. Да, да, тот издавна знакомый голос... Но вот загадка: униженности, чувства вины перед людьми в нем не было. Разве некая отстраненность от нее и отчужденность.

Отчужденность Катя почувствовала в этих словах: «Не кричите так, мальчика испугаете...» Казалось бы, сказано с заботой о ее сыночке, но как-то уж очень отстраненно: «Не кричите...», да на «вы» с ней — чужой человек, чужой.

Но разве она кричала? Увидев старика, просто спросила: «Дядя Иосиф, это ты?»

Катя уже в который раз думала об этом: он это был или не он? Сейчас, через столько лет после того, как исчез, попробуй сразу сказать. Эх, если бы тогда, когда она увидела нищего, с ней была Надя! Вдвоем не ошиблись бы. Но Нади рядом не было. (Катя хотела купить Петьке к школе одежонку, сынишка шел в первый класс, поэтому и приехала с Надей в город, чтобы продать ягоды.)

В город женщины прибыли утром. Сразу же, как только Ефим на лошади подвез их к шоссе, подвернулась попутка в райцентр. К полудню успели продать ягоды. Вот и появилось свободное время: до вечера, когда попутки идут назад, далеко. Ждать машину надо за мостом через реку, за городом, у развилки дорог. Их ветвь уходит влево: прямо — в другой облцентр, вправо — неизвестно куда.

Женщины решили походить по магазинам — деньги есть. Надя со Светкой пошли в магазин «Одежда». Он на соседней улице. Надя хотела купить дочке платье — вместе с Валиком, братом, она кончает школу в Забродье. Катя с сынишкой осталась на базаре. С малым далеко тянуться не хотелось, тем более что здесь можно было купить с рук костюмчик, и даже дешевле, чем в магазине.

Не успела Катя собраться с мыслями, как нашлось то, что Петьке нужно. Продавала какая-то женщина, ходила меж рядов, кричала: «Кому для ребенка недорогой костюмчик... Кому для ребенка недорогой костюмчик...»

Увидела Катю с Петькой, остановилась возле них: «Бери, мать, твоему мальчику впору и сейчас, и на следующий год будет. Бери, не пожалеешь. Недорого прошу».

Примерили пиджачок — полы и рукава длинноватые. Да и штанишки... Но подвернув их, можно будет ходить в школу и в этом году, и в следующим. Сынок, надев обновку, так и засиял от радости — костюмчика у него доселе не было, носил то, что сама из старья шила. А здесь — магазинный, как у Валика, хоть и купленный с рук.

Валик — уже взрослый парень. Умница. Науки, говорят, как репу грызет. Учителя им не нахвалятся: любую задачку мгновенно решает в уме. Даже такие, каких нет в учебниках, — иной раз учитель математики задает их ему.

Валик зовет Петьку братиком, и мальчик к нему очень тянется... В школу Валик ходит в костюмчике, Надя с Игнатием последнюю копейку на детей пускают, на Валика и Светку. Да и Ефим, если заимеет деньжат, им отдает: только учитесь, внуки.

Ефим говорил Кате, что к осени, к школе, даст денег на младшего внучонка, на Петрика, значит. А как же!.. Ефим Петьку от старших «внучат» не отделяет. Но Катя пока еще сама может заработать, продав грибы и ягоды. В колхозе заработок известно какой: палочки в Николаеву председательскую тетрадку... Катя говорит Ефиму: «Отец, ты свою копейку побереги, она тебе еще ох как понадобится, когда сыновья придут».

Ефим, слыша такое, только тяжело вздыхает: война вон когда окончилась, а о сыновьях вестей нет...

Ну что ж, костюмчик примерили, рассчиталась. Катя повернулась, чтобы пойти к лавке со сладостями, она рядом, в пяти шагах, и чуть не лишилась чувств: дядя Иосиф!.. Стоит (откуда взялся!) возле входа на базар, считай, рядом. Худой, сгорбленный... Борода длинная, седая... Голова непокрыта, редкие седые волосы ворошит ветерок... Опирается левой подмышкой на самодельный костыль...

Стоит, вытянув правую руку, чуть согнутую в локте, и молча просит подаянья. А возле него взад-вперед ходят люди с корзинками, ведрами, рюкзаками. А кто и без ничего, налегке. Одетые по-разному, от бедно до богато, и кажется, никто не обращает на него внимания.

В первое мгновение у Кати закружилась голова. В висках часто-часто застучало, перед глазами заиграли звездочки...

Держа Петьку за руку, не дожидаясь, пока в голове прояснится, бросилась к старику. Спросила, он ли, Иосиф... А может быть, — закричала, люди удивленно посмотрели на нее. А она, не обращая на них внимания, потащила за собой Петьку, приблизилась к нищему и сразу же будто наткнулась на стену: «Обознались, гражданочка...»

И не столь важно, какие слова он произнес, важно, что услышала Иосифов голос, увидела его глаза, а все остальное в старике было для нее совершенно незнакомое, чужое...

Растерялась, опешила, на сыночка взглянула. А он испугался то ли ее крика, то ли старика. Подхватила Петьку на руки, обняла, стала успокаивать. Успокоившись, повернулась — нет старика, как ветром сдуло...

2

Надя, вернувшись с дочерью из магазина, застала Катю растерянной и расстроенной. Она стояла возле базарных ворот и крепко прижимала к себе испуганного Петьку. Мальчик тихо плакал, вытирая кулачками глаза.

— Что, деньги украли? — спросила Надя.

— Хуже...

— Как хуже?! — испугалась Надя.

— Кажется, видела дядю Иосифа.

— Тьфу ты! Так бы сразу и сказала. А то — словно кипятком в лицо: «Хуже!» А Петьку кем напугала, Иосифом? Где он?

— Да не пугала я его Иосифом! Как-то странно вышло. Исчез.

— Исчез?.. Говорила с ним?

— Нет. Я к нему: «Дядя Иосиф...» А он: «Ошиблись, гражданочка...»

— Значит, ошиблась. Не Иосиф это, вишь, городской, «гражданочка», да на «вы». Наверное, с антиллигентов.

— Может, и ошиблась. Но похож. Глаза его и голос, кажется, его.

— Странно, — пожала плечами Надя. — Эх, была бы я рядом!

Пока женщины выясняли, что и как, Светка взяла из рук у Кати Петрика, поставила на землю, присела возле него на корточки, дала конфету, начала успокаивать.

Мальчик вскоре перестал плакать, но время от времени, ничего не понимая, посматривал то на мать, то на Надю.

— Тебя кто-то обидел? Ты испугался? — спросила Светка, когда мальчик успокоился.

— Никто, — ответил Петька. — Само испугалось. Мама чужого дедушку увидела, бросилась к нему, начала кричать, я и испугался.

— Дедушки?
— Не знаю.
— Если это тот дедушка, о котором твоя и моя мамы говорят, так его не надо бояться. Он безобидный. Его самого обидели.
— Такого большого? Кто?
— Да мало ли кто? Может быть, когда-то и мы с Валиком. Мы тогда маленькими были, почти такими, как ты. А может, и взрослые.
— За что?.. Дедушка Ефим говорит, обижать никого нельзя.
— Мы этого еще не знали. Нам тогда никто об этом не говорил.
— А как вы его обидели?
— Валик бросал в этого дедушку... снежки, а я не остановила братика.
— А дедушка не хотел играть с вами в снежки?
— Не хотел. Вот мы с Валиком уже выросли, и нам стыдно. Этот дедушка одинокий, у него никого нет.
— И внуков нет?
— И внуков... — Светка вздохнула, помолчала, потом продолжила: — Его зовут Иосифом. Когда-то он дружил с нашим дедушкой Ефимом и жил в нашей деревне.
— А почему я его не видел?
— Тебя тогда еще не было. Уехал он куда-то из нашей деревни, и никто не знает куда. А твоя мама говорит, что видела его здесь.
— И я видел.

Света разговаривала с Петькой и думала: если это действительно Кучинский, то почему не признался, ушел?.. Мог же поговорить с тетей Катей, хотя бы поинтересоваться, как там, в Гуде. Значит, не он. Вот и Катя сомневается. Впрочем, соседка напомнила о несчастном односельчанине, и Светке стало не по себе: жаль его, жаль человека, которого и она знала, и которого взрослые считают погибшим. Если это был он, Иосиф Кучинский, значит, вопреки всему...

Тем временем Надя, укоряя себя, что задержалась с дочерью в магазине «Одежда» и не видела старика, который показался Кате похожим на Иосифа Кучинского (пять платьев Светке примерили, прежде чем нашли подходящее), напомнила односельчанке, что пора идти за город, к шоссе, да ждать попутку.

— Пошли, — согласилась Катя, взяла в одну руку корзинку с завернутым в газету Петькиным костюмчиком, другой — ручонку сына, сказала: — Если это был Иосиф да скрылся, значит, не простил нас.

— Вряд ли он, — сказала Надя. — Вишь, какой городской! Иосиф, как и дядь Ефим, простой человек. На «вы» и тебя, и меня может назвать, а чтобы «гражданочка» — нет. Молодичка, женщина, девонька — такое за ним случалось в довоенные годы... А то, что не простил нас, так чем мы виноваты перед ним? Тогда, в паводок, со взгорка взашей его никто не гнал. Хотя, как знать, может, мужчины что-то недоговаривают...

С попуткой им повезло. Только вышли с развилки за городом на свое шоссе, как сюда, к ним, повернул грузовик.

Остановились, не успели проголосовать, как машина съехала на обочину, затормозила.

— Студер! — закричал Петька.

Машины он знал. Гуда все еще строилась. В сорок пятом те, кому посчастливилось выжить, вернувшись с войны, начали возрождать деревню. Время шло, обзаводились семьями, приезжали сюда люди и из других мест, Гуда разрасталась, укреплялся колхоз, здесь создали лесничество, собирались организовать лесоучасток.

Грузовики приезжали сюда часто и разные. Привозили лес, доски, кирпич, иной стройматериал. Мальчик вместе с Ефимом встречал машины, в такие минуты старик не выпускал из своей руки его ручку, объяснял Петьке, что привезли, называл марку авто.

Случалось, и нередко, просил кого из водителей прокатить «внучонка». Шоферы охотно выполняли просьбу старика, подсаживали его и мальчика в кабину, катали по отстраивающейся деревенской улице, вдоль плотины, вновь насыпанной военными в сорок шестом году, проезжали даже по мосту через реку, ехали почти до Забродья и назад...

Открыв дверцу кабины, на шоссе спрыгнул водитель. Это был пожилой мужчина в поношенной военной форме без погон. На голове — форменная, но без кокарды фуражка, на ногах — кирзовые сапоги.

Посмотрев внимательно на женщин и детей, сказал:

— Я — в область. Если по дороге, садитесь. Мальчик с девочкой — в кабину, а вы, женщины, в кузов.

Шофер подождал, пока Петрик со Светкой забрались в кабину, а Надя с Катей расположились за ней в кузове на лавке, спросил:

— Женщины, вы, часом, не видели здесь старичка?.. Такой седой, сгорбленный, с самодельным костылем под мышкой.

— Нет, а что такое? — насторожилась Катя.

— Да знакомы мы с ним. Не скажу, что близко, но знакомы. Я дважды в неделю, в понедельник и пятницу, езжу сюда из области и назад. Обычно в одно и то же время. Порядок у меня такой. А тот старичок знает, когда приблизительно проезжаю возле дороги к его хутору. Если ему надо в город, ждет меня там, и я забираю его. Едем в город, договариваемся, когда ему вот здесь стоять, чтобы назад я его подвез. Сегодня он сюда со мной не ехал, а на базаре я его видел. Зашел в магазин, в тот, что недалеко от базарных ворот, хотел своим гостинцев купить, в очередь стал. Невзначай глянул в окно, смотрю: стоит возле ворот мой старичок. Мать честная!.. Меня даже передернуло — подаяния просит. Да такого быть не может!.. Думаю, что же с ним случилось? Какая беда? Возил сюда грибы, ягоды, рыбу, орехи, а теперь... Взял я гостинцев да быстрее назад, а его — нет. Я — туда, сюда, весь базар обошел. И здесь его нет. Удивительно как-то.

— И я его на базаре видела, — вздохнула Катя. — А когда опомнилась — нет его, словно испарился. Если б сюда направился, догнали бы. С базара мы пошли почти сразу, как он исчез. Спешили, боялись, что позже попуток не будет, ведь все стараются выехать из города засветло. Так что спасибо вам, подобрали нас с детишками, а то думай, как домой добраться, жди, когда кто остановится.

Она на мгновение замолчала, словно что-то вспоминала, потом сказала:

— Говорите, дедок просил подаяния. Если это тот старик, так он и нам очень нужен.

— Вам? Знакомый? — удивился шофер.

— Мне показалось, что этот нищий — наш бывший односельчанин. Конечно, если мы говорим об одном человеке. Но мы давно его в деревне не видели. Скажите, возле какого хутора вы его подбираете? По дороге от нашей деревни до города и справа, и слева по лесу, наверное, хуторов с десяток наберется. И часом его не Иосифом зовут?

— Нет, не Иосифом, — сказал шофер, — Антоном. Во всяком случае, он мне так назвался. А подбираю я его у Кошарской дороги. Этой весной мы с ним познакомились. Раньше я его не видел, хотя езжу здесь с сорок пятого. Но и вас я ни разу не видел, а вы же, думаю, в город время от времени ездите.

— Ездим. Не совпадало, вот и не видели, — сказала Надя. — Так бывает, годами ходишь с кем-то по одной тропке, а не встретишься до поры до времени.

— Бывает, — согласился шофер. — Я сразу, как демобилизовался и домой вернулся, устроился на автобазу, с тех пор так и езжу по этому шоссе. Рейсы у меня такие: область — район, район — область. И продукты, и стройматериалы, и бочки с горючкой, словом, вожу всякое. Бывает, и порожняком назад еду, как сейчас.

— А как вы познакомились со стариком? — спросила Надя.

— Как познакомились... — словно удивился шофер. — Случайно. Однажды утром еду в райцентр. Не спешу, недавно снег сошел, моросит мелкий дождик, на дороге ледяная корка, скользко.

Я в кабине поеживаюсь, можно представить, как холодно за кабиной. Еду, смотрю, справа от шоссе у сосны стоит человек. Стоит и не двигается, даже руки не поднимает. Я остановился. Дверкой стучу, кричу: «Чего стоишь? Коль ехать нужно, садись!»

Вижу, просыпается, медленно идет к машине. Присмотрелся — а он какой-то крученый! Под мышкой у него самодельный костыль.

Помог я ему забраться в кабину. Едем. Я — так и так, хочу его разговорить. Я человек разговорчивый. У меня даже фамилия разговорчивая — Говор. Это уже в армии переписали — Говорков.

Кое-как растормошил его. Спрашиваю: кто, откуда, зачем? Человек в такую погоду, имея крышу над головой, без особой нужды из дома не выйдет, а ты вон куда выбрался...

Молчит, чувствую, душа у него окаменевшая. А коль так — неспроста.

Тогда я начал ему о себе рассказывать. Говорю, до войны баранку крутил. Войну шофером от звонка до звонка прошел: и передовая, снаряды подвозил, и тыл — раненых. Да мало ли что, в каких только переплетах не был, а бог миловал, даже не зацепило.

Вернулся с войны — дом цел на окраине облцентра, жена детишек сберегла: сына и дочь. Сын уже жених, доченька меньшая.

Вновь шоферить пошел, вот баранку кручу. А у тебя, дядя, есть кто?

А он мне: «Один я...»

— Один? — воскликнула Катя.

— Ну да, один. Говорит, хозяйка его умерла. Вчера похоронил, а сегодня — в город собрался. Одному — хоть в мешок завяжись, чтобы ничего вокруг не видеть и не слышать.

Говорит, долго без людей был, пока она вернулась. Откуда, я не спрашивал. Как-то неловко было, мало ли что. Может, из Германии. Туда на каторгу немец столько людей вывез! Конечно, больше молодых, но и пожилые были. Да еще сколько! В концлагерях... А может, еще откуда вернулась, как знать... Война людей вон как по земле разбросала!

Говорит, одному жить — нет мочи. Говорит, посмотрю, что да как в городе, может, там где и пригожусь.

А я думаю, где же ты такой пригодишься? Кому ты там нужен? И без тебя в городе хватает бездомных поздоровей, чем ты, и те без дела.

Ладно, промолчал я: собрался так собрался. Подвезу, коли так. Походи среди людей, развейся, если сможешь. А вечером, если захочешь назад вернуться, выходи на развилку за город, покажу куда. Подберу, подброшу до твоей дороги. У тебя же, говорю, есть где жить? Отвечает, что есть, но... Говорю, тогда тем более обмозгуй все хорошенько да реши, как тебе дальше быть и где.

Сказал, а сам думаю, что за этим «но» какая-то пропасть, дна не видно. Дальше спрашивать не стал, а сам он не сказал.

Вот так и познакомились. Больше я ему в душу не лез. Он неразговорчивый. Наверное, натура такая. Хотя чувствуется, душа вроде и окаменела, но в ней все же что-то такое теплится. Думаю, разжечь бы ее, но как?

Сегодня, когда ехал сюда, а он знает, что мой день, его у сосны при дороге из хутора не было. А на базаре — был. Да еще просил подаяния. Непонятно мне. Неужто одинокая жизнь так прижала, что вынужден стать с протянутой рукой?

Бедолага, стоит перед глазами. Жаль его. Решил, если встречу сегодня, поговорю с ним, как он собирается дальше жить. Скоро осень, потом зима ляжет. Как он один, немощный, переживет ее?

Думал, скажу ему: дядя Антон, мол, так и так, в облцентре есть дом для стариков. Управляет им мой товарищ, бывший фронтовик. Поехали со мной, помещу тебя. Будешь досмотрен, сыт, в тепле... Не хочешь? Ладно, я силой не потяну, права у меня такого нет, чужой я тебе. Чужой-то чужой, а судьба твоя мне небезразлична, тогда поехали на зиму ко мне. Не стесняйся, я со своими потолковал, говорят, места хватит, не обидим: нельзя человеку одному. Значит, не видели, — подытожил шофер и посмотрел на часы. — Половина шестого. Я изрядно задержался. Пока разгрузился, пока то да се, наверное, не дождался он меня, с кем-то другим уехал.

— Не мог он уехать, — сказала Катя. — Мы же его на дороге не видели. Разве кто в городе подобрал. Нас несколько машин обогнали.

— Все может быть, — сказал Говорков. — Говорил он как-то, что от шоссе до его хутора верст десять: попробуй добраться засветло, если чуть ходишь... Как-то хотел я подвезти его на хутор, так он махнул рукой: «Там такое болото, что, если не знаешь, пешком не пройдешь, не то что на машине».

Ну что, женщины, поедем?

Если подумать, выходило, что старик, о котором рассказывал шофер, и тот, которого Катя видела на базаре, одно лицо. Но — загадка: похож на Иосифа Кучинского, а зовут иначе. И еще: у Иосифа не было хозяйки, и возраст такой, что если ее нет, так кто за тебя пойдет?

Дальше: живет тот старичок где-то возле Кошары или в самой Кошаре. Слыхали о таком хуторе, затерянном среди леса. Слыхали, что там еще до коллективизации жил с семьей один человек. То ли беглый неизвестно с каких времен, то ли хозяин-единоличник.

Имел тот человек неплохой клин пашни да сенокосные угодья. Держал много овец, построил большую кошару. Отсюда и — хутор Кошара.

Ефим говорил, когда женщины сетовали, что в лесу возле Гуды мало черники, да и та мелкая, он знает места, где когда-то ее было черным-черно. За Кошарой. Правда, хутор очень далеко отсюда. Затерян в густых лесах, среди непроходимых болот. Но там есть возвышенность, и хутор на ней, как неприступная крепость. Недалеко течет Дубосна, их, гуднянцев, река...

Еще говорил Ефим, коль место неприступное, так и сейчас там должно быть много ягод — куда они денутся. А что возле Гуды изводится ягодник, так неудивительно: в войну лес вона как пылал!.. А ягоднику, чтобы возродиться, нужны годы да годы.

Далее Ефим сказывал, что к хутору, коль не знаешь как, не доберешься. От шоссе, если идти-ехать со стороны Гуды, дорога к нему вправо. А до дороги верст тридцать. Какое-то время дорога идет по твердому, изрядно петляя по лесу. Там можно смело ехать по ней на телеге. Но километра через три-четыре дорога постепенно начинает спускаться в низину, густо поросшую лозняком.

Вскоре сужается, превращается в тропинку, по которой вообще трудно идти: грязь, лужи. И скоро воткнешься в болото, с краю поросшее багульником, голубикой. Ягоды, как желуди. Словом, там ягодное царство.

Дальше мох, все в кочках, трясина... И ягода есть на болоте, но оно какое-то гнилое, повсеместно усохшая сосна, попадается мелкий березняк. Загадка: деревья растут, но стоит им только более-менее вытянуться — как вянут.

Птиц там не слышно, стороной облетают они те места. Но от мошкары, комарья, овода спасу нет. А на кочках, на солнце — гадюки. Ужас! Перекрестись да прочь оттуда!

Если не знаешь хода через болото, не лезь туда, засосет трясина и — поминай как звали. А хозяин там с закрытыми глазами пройдет. Когда-то еще его отец через болото проложил к хутору потайной путь, и тайна его никому не известна. А вот как с другой стороны, от реки добраться до хутора, Ефим знает. Он и сегодня прошел бы там без особого труда: хозяин раскрыл ему тайну, не раз вместе ходили.

Говорил Ефим женщинам, что мог бы по реке на лодке завезти их туда по ягоды. Но чтобы добраться до хутора, нужно потратить день, день собирать и день назад. А потом, переночевав дома, надо ехать в город. Ягода за это время скиснет, ее не продашь. Нет, не с руки туда плыть.

Соглашались, оно так... Но интересовались, как он туда попал. Оказывается, случайно и неслучайно: хозяину как-то понадобился работник. А Ефим тогда в городе при базаре состоял грузчиком, разгружал мужикам телеги с зерном, мешки носил, куда укажут.

Молод был, здоров, забросит мешок на плечи и несет будто играючи. Люди удивлялись: силен!

Однажды его и увидел хозяин хутора. Присмотрелся, подошел да говорит: «Пошли ко мне лес корчевать. Хорошо платить буду. И стол мой».

Согласился Ефим. В городе что? Своего угла нет. И работа — сегодня есть, завтра нет...

Посадил его хозяин в лодку, приплыли они по Дубосне против течения к тому месту, где за старицей, за болотом, за гривой темного леса стоял его хутор, да и говорит: «Здесь у меня свой ход к моему стойбищу, коль привез тебя, покажу. Но не хочу, чтобы кто чужой о нем знал, жизнь такова, что иного человека пуще лютого зверя берегись. А ты, вижу, парень не из злобных. Мы с тобой, может быть, даже в дружбе сойдемся. Мало ли что бывает, ты мне поможешь, я, случись что, — тебя выручу. А как же? Так издревле добрый люд промеж собой жил, поэтому и не вывелся он, сколько ни истребляли и чужаки, и свои. Так мне отец сказывал, когда я еще мальчишкой был и мы бежали сюда, когда там, где жили, все наше порушили люди иной веры».

И повел тайным путем к хутору. А там у него — хозяйка да маленькие дети, тогда их еще двое было, мальчик и девочка.

Хозяйство он держал большое, крепкое оно у него было. Но пашни на то время — маловато, вот и отвоевывал у леса.

Так вот, от реки, через старицу, в болото тянулась узкая, поросшая травой коса. Местами она была специально порушена хозяином. Там, где порушена, в трясине припрятаны плахи, но на шаг в стороне. Человек идет по косе, а она вдруг кончается — поворачивай!.. А ты, если знаешь, жердью ткни в одну сторону, в другую — нащупаешь твердь. Вот и ступай на нее.

Тропа узкая, двоим не разминуться. Сперва, как живность на хутор переправлял, была шире. Потом хозяин за ненадобностью убрал несколько плах, сузил дорогу.

По косе, по этим плахам, лежащим в болоте, нужно подняться на взгорок, он недалеко от хутора. Подойдешь к нему — и справа межою ступай этак с полверсты. А там — не порушенный человеком бор. А где бор, там и черничник. И местами разливы вереска. Вот тебе и ягода, вот тебе и гриб. Ягода боровая — твердая, крупная, налитая соком — сахар. Известно, вызревшая на сухом — это же не болотная, кислая. И белый гриб по вереску...

Вспоминал Ефим того хозяина добрым словом: не жадный, жил с работника не тянул, сам горб гнул не меньше, чем он, и кормил до отвала. Да и хозяйка его была тоже двужильная. И был он ненамного старше Ефима.

А что потом?.. Жаль человека, жаль... Почему жаль, Ефим не говорил, думая о чем-то своем. А коль не говорил, не спрашивали: значит, есть причина.

Катя ухватилась за эти Ефимовы рассказы о некой неизвестной ей Кошаре. Еще бы!.. Конечно, Иосиф мог знать о хуторе, они же когда-то дружили, держались друг друга. Пусть не так, как братья, но все же... А что, если...

Как же того хозяина звали?.. Катя как ни старалась вспомнить, не смогла. Кажется, Ефим не называл его имени. Только — хозяин, хозяин... Ну и то, что крестился он не тремя пальцами, как мы, а двумя.

Как же она не запомнила, как перекрестился нищий, которого встретила на базаре? Кажется, после того, как сказал, чтобы не пугала ребенка, перекрестил и ее, и Петьку... Но как?..

Водитель говорит, что старик назвался Антоном. Может, и так. Зачем человеку врать? Нет, как ни думай, все же, наверное, это был хозяин хутора. И по возрасту подходит, говорил же Ефим, что тот ненамного старше его. А что похож на Иосифа, так все старики чем-то схожи.

И все же Кате очень хотелось верить, что она видела Иосифа. И Надя хотела верить в это. Сидит, внимательно слушает Говоркова, наверное, тоже хочет ухватиться за какую-то ниточку, чтобы размотать клубок из жизни гуднянцев.

А клубок этот очень непростой, его нить всех крепко опоясывает. И не столь важно, кого больше, кого меньше. Важно, что очень крепко, воедино соединяет их всех, кому суждено было выжить. Касается она и Иосифа Кучинского, их бывшего односельчанина...

— Ну что, поедем? — спросил шофер, убедившись, что женщины как следует разместились в кузове на скамейке за кабиной. — Антона уже не будет, это ясно. Да и дорога мне предстоит неблизкая, все лесом да лесом. Вдруг поломка какая, тогда загорай среди ночи, сегодня уже вряд ли кто будет ехать.

— Это как вы хотите, — сказала Надя. — Мы что — пассажиры, нам не так уж и далеко, каких-то верст тридцать. Да и ждать нас будут возле дороги в нашу деревню.

Шофер забрался в кабину, оттуда послышалось:

— Возьми, девочка, мальчонку на руки. Вишь, носом клюет. Братик?

— Хорошо, — ответила Светка, — возьму.

3

Город быстро удалялся. День клонился к вечеру. Над землей еле заметно сгущалась желто-сизая пелена. За машиной, выехавшей на шоссе, тянулся шлейф тяжелой серой пыли.

Женщины сидели на лавке спинами к кабине. Отсюда, с высокого кузова американского грузовика, доставшегося с войны (союзники поставляли такие машины нашей армии), был хорошо виден город. Прежде всего — река. Их река, Дубосна. К городу она выходила из леса, пробежав от Гуды среди

лугов, болот, лесов многие и многие версты. Довольно извилистая, здесь, среди длинных луговин, она казалась трепещущей широкой серо-синей лентой, очерчивающей правый песчаный берег на окраине города, и, уходя от него, сужалась, прячась под высоким деревянным мостом. Выбежав из-под него, уходила влево от райцентра, скрывалась в таком же густом, как и справа, где подходила к городу, лесу.

Сейчас лента реки казалась золотисто-голубой. Утром, освещенная лучами невысокого солнца, была золотисто-коричневой. Луга за ней и перед ней, с разбросанными по ним озерцами, казались изумрудно-зелеными, хотя хватало на них и желто-коричневых земляных заплат. Были видны фигурки коров, лошадей и людей. Оканчивались луга на той стороне реки, за ними начинались городские постройки. Первая гряда — деревянные домики. Было их, уцелевших во время войны, немного.

Между ними, за ними виднелись желтые новые строения. Дальше, на возвышенности — белые, серые, рыжие двух-трехэтажные кирпичные здания, построенные пленными немцами. А еще дальше все сливалось в однообразную серость, среди которой возвышались грязные заводские трубы...

Теперь женщины ездили в город не так часто, как сразу после войны. Тогда выбирались сюда почти каждую неделю: нужно было как-то жить. На базаре меняли на еду, а то и на одежду, самотканые ручники, скатерти, покрывала.

После войны первое время, впрочем, как и в войну, сельчане недоедали. Колхозные земли пустовали, их не было чем и как засевать. И свои огороды пустовали. И живности здесь, кроме одной козы, не было. Деревня сожжена, большинство жителей уничтожено — горе невиданное... И это горе навалилось на горсточку сельчан: сперва на Ефима, Надежду с дочерью и сыном да тогда еще одну, без Петьки, Катерину (в тот день, как уничтожили Гуду, Ефим на рассвете повел их в лес собирать малину, поэтому и остались живы), а после освобождения и на Николая с Михеем.

Ефим, Надежда, Катя — по существу, чужие люди, не связанные между собой кровно, сроднились в один день, в ту лихую годину, когда из леса увидели, как горит Гуда, когда услышали крики односельчан, загнанных немцами в колхозный клуб на погибель. Слышали и ничем не могли помочь своим людям...

Когда же после освобождения в Гуду вернулись сначала Михей, а потом Николай (их дома сгорели, родные погибли), то так сблизились с ними, словно были кровно родными: общее горе соединило всех...

В первый день после трагедии, настигшей деревню, Ефим, Надя с детишками и Катя остались в лесу. Жуткий был час, не по-земному жуткий, который нужно было пережить каждому... Плакали, голосили, места себе не находили, а когда каратели съехали, пришли на еще дымящееся пепелище, упали перед ним на колени. Казалось, уже никогда ни к кому из них не вернется радость, уже никогда ни у кого не высохнут слезы и никогда воздух не станет легким, прозрачным и чистым, и эти люди навсегда забудут, как улыбаться друг другу.

Ефим Боровец был самый старший из тех, кто выжил. Когда-то чужой здесь, не знавший отчего корня, в детстве поводырь старцев, которые не дали ему сгинуть на крутых и жестких дорогах жизни, как никто иной знал истинную ценность некровного родства. (Старцы взяли его в одной деревне у какой-то старухи, то ли родственницы, то ли просто сердобольной женщины, к которой он неизвестно как попал. Многому они его научили за те годы, пока водил их, вырос, окреп, да по их же благословению ушел к людям.)

Тогда у пепелища он первый поднялся с колен, долго смотрел на черные угли, оставшиеся от здания клуба, в который изверги согнали людей, сказал:

— Теперь всем нам нужно держаться вместе. Иначе не выжить...

Это он сказал позже и бывшему партизану Михею Михасеву, и бывшему фронтовику, одноногому Николаю Безродному, и они восприняли эти его слова как отцовский наказ. Ефим, по возрасту отец им, в сорок первом, провожая на войну своих сыновей Никодима и Ивана, провожал и их, как и остальных гуднянских мужиков и парней...

А тогда Ефим, Катя и Надя с детишками вновь ушли в лес, где до освобождения прятались от немцев. Жили в куренях, детишек берегли, победы ждали, ждали тех, кто был на войне, — своих родных и односельчан.

Когда наши пришли, вернулись в свою деревню. А там, что и раньше: на месте домов — черные угольные заплаты да обожженные печные трубы. Чуть в стороне от деревни, ближе к бору — такая же черная площадка на месте колхозного клуба.

Выкопали землянки там, где раньше стояли их дома или дома родителей, и решили, что здесь должны жить, что со своей земли идти им некуда.

А чтобы жить, нужно строиться. И когда вернулись с войны Михей и Николай, начали с Кати: ей как никому горе — полицай Стас Кучинский убил ее мужа, фронтовика Петра Журовца, который на несколько дней пришел домой на побывку.

И вот уже почти семь лет как Катя не одна, а с сыном...

В первый послевоенный год в город ездили, если случалась попутка, втроем: Ефим, Надя и Катя. Одних женщин мужчины не отпускали: всякое может случиться, это же город, базар — чужое. Там немало разных людей. Среди них могут быть воры и даже разбойники.

На базаре могут обокрасть, могут отобрать вещи, взятые женщинами для обмена на продукты. Ко всему, случалось, из леса, через который проходило шоссе, стреляли в машины. Кто стрелял? Неизвестно. То ли недобитые полицаи, то ли немцы, попавшие в окружение и не сдавшиеся, или еще кто.

Ближе к осени в лесах стало тихо: выловили нечисть, а может, и перебили тех, кто не сдался. На базаре стало спокойнее. Но Ефим еще долго ездил с женщинами. Они знали, почему ездит и теперь: вдруг возвратятся домой сыновья...

Приедут в город, женщины идут на базар, а он — на вокзал. Идет туда взволнованный, а возвращается потемневший, угасший.

Вскоре Надя, как старшая, запретила Кате ездить в город: «Дитя береги... Одна».

«Одна» можно было и не говорить. Это пока одна. А «дитя береги» — и так понятно: близится время, когда беременной женщине нужно своих людей держаться.

Ефим слышал, что сказала Надя Кате, увидел, как та смутилась, по-своему утешил:

— Ты мне внучонка или внучку роди, натешусь и помру.

— Я тебе, дядя Ефим, помру! — вступая в разговор, возмутилась Надежда. — Ты еще должен Катино дитя покачать на коленях, зыбку смастерить, кое-чему научить да в жизнь направить. И своих родных внучат должен дождаться, выпестовать их да тоже к жизни наставить. А потом — как бог даст... А то сразу — помру!.. — Надежда напускала на себя строгость и нарочито возмущалась. — А мои, дядя Ефим, тебе что, уже и не внуки, а?

— Внуки, а как же, — словно удивлялся ее вопросу старик. — Но твои уже, считай, выросли. Тоже страшно за них: как жизнь сложится у Валентина

и Светланы? Не затеряться бы им меж людей: хорошие, открытые, таким всегда трудно. С малолетства столько всего видели, пережили самое страшное, что только может быть в человеческой жизни, а нет у них злобы. Я это вижу, при мне росли. Смотрю и думаю: у них нет злобы, а у меня, старого, есть.

— Об Иосифе вспомнил? — спросила Надя.

— О нем, дорогая моя Надежда, и говорю тебе это открыто, как сказал бы дочери. Не было у меня дочерей, но жизнь повернулась так, что дочери появились, вы с Катей. Наверное, такое за страдания дается: отца-матери не знал, даже не знаю, каких я кровей...

— Не надо так, — перебивала его Надя, — каких, каких — человеческих, у всех людей кровь и есть кровь.

— Да, да, верно, это так говорится, мол, каких кровей: кто, откуда. Так вот, все вы — мои.

— Вот это верно, — говорила Надя. — А то...

— Мне бы только Никодимушку с Ванюшей дождаться, дождаться того часа, когда все вместе в одном доме за стол сядем, чтобы насмотреться друг на друга, наговориться, успокоить сердце — уж очень оно трепещет с тех времен, когда ребят своих на войну выправлял. Потом, конечно, женить их, внучат от них дождаться, тогда — уволь, и помирать дедушке не грех, и ты, Надежда, мне это дело не запретишь!

— Вот это другой разговор, — сказала Надежда. — А то: «Помру, помру...» Сразу-то зачем? Так что смотри, отец, не вздумай прежде времени лезть куда не следует, у тебя еще на этом свете дел невпроворот, и всем нам ты ох как нужен!..

— Ладно, нельзя так нельзя, — соглашался старик, словно от него зависело, когда умирать. — Конечно, надо сыновей ждать, вас смотреть да внучат баловать. Нельзя так, чтобы не ждать не вернувшихся. Они, те, кого не ждут, чувствуют это. Худо тогда их душам, живых или из жизни ушедших. Пусть это мои ребята или чьи сыновья, дочери, отцы, мужья — нельзя, чтобы их не ждали. Много еще на земле не вернувшихся, всех ждать надобно.

— Мудреные твои слова, отец, — говорила Надежда.

— Может, и мудреные, — соглашался старик, — только и на них, как на многих иных словах, в жизни многое крепко замешено... Не ждешь человека — себя теряешь, и ему нет света...

— Ну, отец, — встрял в разговор подошедший к ним Николай, — ты прямо как в одном стихе, что на фронте промеж нас летал:

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди...

— Праведные слова, вот и летали меж вас, — говорил Ефим. — Слыхал я их, помню, ты сам как-то их сказывал. Может, слова эти тоже осели в моей памяти, что так говорю. Только есть в них одно, что ставит меня в несогласие.

— Это что же? — ломал брови Николай.

— Что, дескать, жди, когда уже не ждут даже сын и мать. Мать, она не может не ждать, сын — не знаю. И то разве что несмышленыш. Если уж отец не может не ждать, так каково матери, а, Николаюшка?

— Ну ты, дядя Ефим, уж так буквально понимаешь, — говорил Николай. — Все ждут. Что это мы вдруг...

— Ждем, а как же!.. — обветренное, изрезанное глубокими морщинами, покрытое сединой лицо старика светлело, в глазах появлялся слабый блеск, они оживали. Какое-то время он молчал, думая о своем, потом заговорил об

ином: — Надобно нам немедля деревню отстраивать! Ребята придут, и мои, и все остальные, посмотрят, что ничего не сделано, не поймут нас... Эх, нам бы еще один топор да ловкие руки, как у Иосифа, мы бы ох как разогнались!..

— Так в чем дело? Зовите его, — осторожно советовала Надежда.

— Нет, нет, нет! — махал руками старик. — Ты что? Это я так, к примеру. Умом, может, и мог бы позвать, а сердцем... Придут мои сыновья, твой Игнатий, что скажут, узнав что его сын творил? Что к врагу на поклон пошли?..

Надежда пожимала плечами: только бы Игнатий вернулся, а что скажет, так пусть то и скажет... Но и от него, и о нем пока — никаких вестей. Сыновья... Это Ефимова неутихающая боль: сколько времени прошло — сами не отзываются и никакой казенной бумаги о них нет... И об Игнатии Саперском — тихо...

Знали гуднянцы, что Ефиму ждать вестей от сыновей вдвойне тяжелее, чем иному отцу. Он, провожая Никодима и Ивана на войну, своим напутствием словно закрыл им дорогу к дому. Тогда, упав за деревней на колени, Ефим то ли благословлял, то ли предостерегал сыновей, перекрестив, молвил: «Пусть не тронет тебя, Никодим, и тебя, Иван, пуля. Пусть огонь и меч обойдут вас... благословляю вас на ратное дело... и нет вам пути назад без победы».

Победа пришла, а сыновья не вернулись. И в тот год, как она покатилась по земле, и сейчас, через семь лет, о них по-прежнему ничего не известно. Об остальных гуднянцах, кто не вернулся с войны, — сколько же их полегло! — давно уже ясность есть: где, когда, при каких обстоятельствах. И в каких землях лежат — в своих ли, чужих...

4

К дороге, ведущей от шоссе в Гуду, приехали засветло. Еще не доехав до дороги метров сто, постучали по кабине, чтобы шофер остановил машину: увидели Ефима.

Старик стоял у огромного старого дуба, росшего у дороги близ шоссе. Рядом — запряженная в телегу лошадь.

Ефим, увидев машину, съезжающую на обочину, а в кузове женщин, направился к шоссе. Шел он быстро, словно ему надо было сообщить им какую-то важную весть, и когда Надя, подав ему с кузова корзины, спросила, не случилось ли что, сказал:

— Наконец-то дождался. Жду битый час — ни одной попутки ни туда, ни сюда. Думал, в городе заночевали. Каково с детьми... Но где? Знакомых там нет.

— Ничего, добрались, — сказала Надя, первой ступая на землю и придерживая Катю, спускающуюся за ней с высокого кузова. — Добрый человек подвез, спасибо ему.

Ефим посмотрел на шофера, вылезшего из кабины. Тот кивнул ему, будто старому знакомому, обошел грузовик спереди, открыл дверку, помог Свете и Петьке спуститься на землю и, уже обращаясь к Ефиму, сказал:

— Твои, отец?

— Мои, — ответил Ефим.

— Тогда принимай, как говорят, в целости и сохранности.

— Спасибо, — ответил Ефим и сунул руку в карман поношенного галифе. — Сколько вам дать?

— Ничего не надо, — замахал руками водитель. — Я не беру. Спрячь, отец, свой рубль, он у тебя не лишний.

Ефим пожал плечами: один берет, другой — нет, попробуй вас понять. Знал, бывшие фронтовики денег не берут, а молодежь, правда, не все, так и норовит...

Шофер и Ефим разговаривали, а тем временем Катя и Надя подошли к ним, хотели поблагодарить, но водитель опередил их:

— Женщины, в следующий раз, собираясь в город, метьте на понедельник или пятницу. Уже говорил, в эти дни проезжаю здесь где-то часов в шесть утра. Будете стоять — заберу.

— Спасибо, добрый человек, — сказала Катерина. — Таких, как вы, сейчас мало. И взял, и рассказал, и привез, и денег не берете. Вас нам сам бог послал.

— Бог не бог, а помогать друг другу надо. Не мне судить, какой я. Но знаю, хороших людей много на земле. И я их немало повидал. Думаю, вы — тоже. Правда, отец? — шофер вдруг обратился к старику.

Ефим, соглашаясь, кивнул.

— Бывайте, — сказал водитель и легко для своих далеко не молодых лет вскочил в кабину, посигналил, поехал.

Света и Петька помахали машине вслед.

— Познакомились? — спросил Ефим, подойдя к телеге, подсаживая на нее Петьку, и словно подтвердил слова Катерины: — Сразу видно, хороший человек.

— Еще бы! — согласилась Надежда. — И хороший, и говорит, что какого-то старика часто подвозит в город, забирает его возле кошарской дороги. А потом из города везет назад. А тот старик, чтобы ты знал, дядя Ефим, похож на Иосифа Кучинского.

— Что ты говоришь?! — воскликнул Ефим. — Вы его видели? Говорили с ним?.. Значит, жив Иосиф, жив...

— Видели. Я-то его не видела, — сказала Надежда. — Катя видела. — И обращаясь к ней, будто потребовала: — Говори!

— А что говорить? — вздохнула Катерина. — Видеть-то видела, а толку? Ну, похож на дядю Иосифа. Подаяния просил. Я к нему: дядя, дядя!.. А он: «Ошиблись...»

— Так, может, ошиблась?

— Может быть. Шофер говорил, что того старика Антоном зовут.

— Антоном? Ну, тогда ошиблась, — тяжело вздохнул Ефим. — Никак это Антон, хозяин Кошары. Но если не Иосиф, так пусть бы Антон. И тот, и этот мне ох как нужны! Даже не знаю, кто больше. Кажется, я вам про него, хозяина Кошары, как-то рассказывал. В молодости я у него работал. Стоящий человек. Крепкий был хозяин. Но раскулачили, сослали вместе с семьей. Детишек у него было много. Двое первенцев старше, чем мои ребята, а за ними — целый выводок, мал мала меньше. Наверное, с дюжину... Знать, выжил, вернулся.

— А еще говорил шофер, — продолжала Катерина, — а он человек разговорчивый, и фамилия у него Говорков, — что у Антона умерла хозяйка. Вернулся, говоришь... А потом Говорков сказывал — года два тому откуда-то вернулась его хозяйка. Может быть, из Неметчины. А может, еще из каких мест.

— Да, была у Антона хозяйка. Но здесь что-то не вяжется. Получается, что жил без нее два года? Хотя всякое может быть: сослали, жили в ссылке, затем оправдали, он поехал посмотреть, стоит ли домой возвращаться, а она там от него вестей ждала. Но все же, наверное, обозналась ты, Катенька.

— И я говорю, наверное, обозналась.

Не спеша разместились на телеге. Женщины и Света сели сзади. Ефим пристроился впереди, посадил на колени Петьку, сказал:

— Нокать, внучок, будешь.

— А хворостинка? — спросил тот.

— Хворостинки не надо. Тихо поедем. Вечереет. В колее корни переплелись, узлов не счесть. Не надо, чтобы Буланчик ноги поранил.

— Но, но! — крикнул Петька.

Конь легко тронулся, колеса громко застучали по сухим корням.

Молчали. Все думали об одном: неужто Катя видела Иосифа? Если его, значит, жив! А это круто меняет жизнь сельчан.

— Вот что, девчата, — вдруг сказал Ефим. — Не я буду, если не узнаю, Антон это или Иосиф. Вы мне будто факел в душу бросили. Все пылает, спасу нет. Об Антоне подумаю — не становится легче. Хотя, вряд ли это он — еще никто из тех, кого раскулачивали и кого я знаю, назад не вернулся. Не слышно пока, чтобы их простили.

— Успокойся, дядя Ефим, — сказала Надя. — Волнуйся — не волнуйся, ничего не изменишь. Нам тоже не по себе: он — не он. Мы не хотели, чтобы ты расстраивался. Что, нужно было молчать?

— Нет, правильно сделали, что сказали, — глухо проговорил старик. — Догадка одна у меня возникла насчет Иосифа. Я когда-то ему о Кошаре рассказывал. Намного раньше, чем вам. В коллективизацию, тогда мы с ним дружили.

Он умолк, задумался, что-то вспоминал.

— Вон оно что, — сказала Надежда. — Может быть...

— Нет, кажется, я не говорил ему, как звали хозяина хутора. Тогда Иосифу было не важно, как зовут человека, которому нужно помочь. И мне тоже. Тревожило и меня, и его, что многодетную семью сняли с места, лишили крова да за ее труды вона куда погнали — на край света. Мы уже знали, куда гонят раскулаченных — в гиблые края... А может, и говорил, ведь Антон близок мне был. И детишек его я знал. И хозяйку. Словом, мне обязательно надо добраться в Кошару.

— Ну да, доберешься ты. Как? Один? Кто туда с тобой пойдет? Мужики заняты — и сенокос, и стройка. Нет, одного мы тебя не пустим, дядь Ефим, — сказала Надя. — Потерпи малость, осенью вольней будет. Да и захотят ли мужчины об Иосифе слышать...

— Пустим, не пустим, пока помолчите, — раздраженно сказал старик. — Захотят ли? Я — хочу! Конечно, надобно все хорошенько обдумать, прежде чем пойти туда. Дело непростое, но и медлить нельзя. Мало ли что может быть. Вишь, подаяния просит. Кто? Иосиф? Антон? Кто бы ни был — неспроста просит. — И вдруг, обращаясь к Петьке, добавил: — Нокай, внучок, нокай!..

5

Обдумать, конечно же, было что...

Иосиф Кучинский исчез из деревни в начале мая 1945 года. Исчез именно тогда, когда взорвалась дамба, отделявшая деревню от реки. А эта насыпь из цемента, песка и щебня несколько лет надежно сдерживала весенние паводки, отбрасывала от Гуды большую воду, приходившую сюда из далеких и ближних возвышенностей, рек и речушек, выше деревни впадающих в Дубосну. И взрыв дамбы был покрыт тайной...

Дамбу перед войной на правом берегу реки, возле деревни, возвели военные. Возводили ее в том месте, где высокий берег круто спускался к реке, образовав впадину, а потом, пробежав почти у самой воды метров двести, вновь высоко поднимался над Дубосной.

Вот и закрыли вечно зияющую перед глазами впадину, соединив береговые возвышенности, по обе стороны поросшие старыми деревьями.

Дамба была довольно высокая, ее плоский широкий верх за несколько лет успел прочно покрыться травой...

Военные, возводя дамбу, деревья не тронули: крепко стоят. За свой век деревья прочно переплели корнями почву, укрепили ее множеством побегов — в этих местах берег не могли разрушить ни острые весенние льдины, ни разъяренные талые воды, сбегающие по его склонам в реку, никакие паводки. И если бы не эта, когда-то созданная природой впадина, дамба была бы не нужна.

И вот дамба исчезла.

А было так...

С утра Ефим, Михей и Николай запрягли в телегу парку лошадей и съездили в лес за жердями. Мужчины рассчитывали, что через неделю-две будут ставить стропила на Катин сруб, а пока нужно было отесать жерди, высушить их на весеннем солнце. Со срубом они справлялись неплохо: начали на исходе зимы, а уже положили последний венец.

Порожняком в лес можно было добраться без особых трудностей, лошади шли мерно, хотя местами колеса до осей проваливались в грязь. А вот назад, с возом сырых жердей — тяжело. И лошади, и люди выбились из сил, пока привезли к срубу жерди. Сложили их, осмотрелись — порядок!

Мужчины рассчитывали, что к осени, к наступлению холодов Катерина с дитем (оно должно вскоре появиться на свет) переберется из землянки в свой дом. Знали, она хочет, чтобы вместе с ней в новую хату вошла Надежда с детьми, дескать, пока ей построят дом, пусть живут. «Иначе порог не переступлю!» — говорила Катя мужчинам.

Дом Наде собирались поставить на следующий год. Ей надо жилье попросторней — сама, да двое детей, Игнатий вернется с войны...

Постояли, покурили, полюбовались срубом. Строение неплохое, пять на пять метров, но пристройки требует — позже сладим.

Дом без глухой стены. Свет с трех сторон: с востока, с юга, с запада. В таком доме жить да жить...

Ближе к вечеру мужчины посоветовали Ефиму вывести лошадей на дамбу на первую травку. В лесу местами уже хорошо разлилось зеленое разнотравье, и плоский верх дамбы тоже весь день на солнышке — со сруба видели, покрыт сочной зеленью.

Коли так, надо вести лошадей. Сено кончилось, до травы дотянули, еще день-два — и не будет никаких забот с кормом.

Лошадей — не табун. Две. Все нынешнее богатство колхоза. Берегли их сельчане пуще зеницы ока...

Вот и повел их Ефим на дамбу. Спутал. Пустил, посмотрел, как они начали жадно щипать мягкую травку, да направился в деревню. Отошел недалеко, как вдруг что-то сильно толкнуло в спину, сорвало с головы шапку, покатило по дороге, обожгло шею, перекрыло дыхание, словно переломило пополам. Упал... В то же мгновение услышал взрыв и, кажется, потерял сознание...

Сколько времени ничего не видел и не слышал, он не знал. Наверное, с минуту. Не более. Ибо, очнувшись, поднимаясь с земли, повернув голову туда, где оставил лошадей, еще не видел надвигающейся на него волны. Видел, что исчезла дамба и лошади... И только потом, став на ноги, увидел, что от реки, через зияющий разлом среди берега, там, где должна была быть дамба, сюда катится высокая, в рост человека волна...

Ефим не помнил, кто к кому прибежал тогда: мужчины к нему или он к ним. Но когда сошлись, Николай с Михеем подхватили его под руки, потя-

нули в конец деревни, к взгорку, на котором стоял сарай, к самому высокому месту во всей округе. Знали, что туда вода не дойдет, никогда еще, даже в самые страшные паводки, его не затапливало...

Они спешили изо всех сил, вода настигла их только в середине деревни. Но здесь волна осела, ослабела и доходила всего лишь до колен, хотя пыталась сбить с ног.

Бежать было тяжело, в сапогах хлюпала вода, да и Николая нужно было тащить за собой, деревяшка ему мешала.

Добежав до Катиного сруба, приостановились, чтобы осмотреться, какова опасность, ведь вода обогнала их еще на подходе к деревне.

Пока ничего особо страшного не заметили: первая волна, захлестнувшая Гуду, уже выдохлась, расползлась окрест. Но позади, там, где еще недавно была дамба, поднималась новая волна, катилась сюда. И хотя она была не в рост человека, как первая, вдвое меньше, но все же страшная. Катилась она с глухим гулом, казалась свинцово-темной, вязкой. Надвигалась сюда не спеша, расползаясь по деревне, будто нехотя, била в печи, оставшиеся от сожженных хат, двигалась за мужчинами, а они вновь бросились бежать к взгорку. Не дойдя до него метров двести, так и не настигнув мужчин, волна повернула влево за деревню, где за довольно широкой, гектара в три-четыре впадиной начиналась гряда бора, острым клином спускающаяся к Гуде.

Знали, что через час-другой или ближе к ночи вода будет пытаться взобраться на взгорок, окружит его со всех сторон, превратит в остров.

А на взгорке стояли женщины и дети, махали руками, что-то кричали... До взрыва они уже вычистили лошадиные стойла, сгребли остатки сена с площадок, на которых раньше стояли стога, и разожгли печку — она недалеко от сарая.

Печку, как только сошел снег, из обгоревшего кирпича сложил Ефим. На ней грели воду животным, случалось, готовили ужин для всех. Сегодня вечером женщины собирались варить уху — рыба у них была, Ефим на ночь поставил на реке верши, а утром, пока ехать в лес, притащил мешок рыбы.

Старик знал рыбные пути, и даже по большой воде его верши никогда не пустовали. Сейчас, в бесхлебицу, сельчане в основном питались рыбой.

Женщины и дети, стоя на взгорке, все махали и махали руками, звали мужчин к себе.

— Слава богу, всех уберег, — прошептал Ефим. — Всех...

Он не подумал, что в деревне есть еще один человек — Иосиф Кучинский...

...Когда взорвалась дамба, Иосиф был в своей хате. Обычно он не выходил из нее без какой-нибудь особой надобности. Он давно уже держался в стороне от людей: добра они ему не желают, так зачем мозолить глаза? Знал, односельчане облегченно вздохнули бы, если бы его вообще здесь не было.

Но знать, что ты здесь нежеланный человек, одно, иное — уйти куда подальше, чтобы тебя не было ни слышно, ни видно. Уже было, однажды уходил из деревни, думал, что надолго, думал, пока его не будет здесь, людская ненависть к нему хоть немного, да уляжется.

Уходил, и что с того?.. Не улеглась, и легче ему не стало. Пожил, поработал в городе какое-то время, даже на станции, на угольном складе заимел отдельный уголок. И хотя никто его там не знал, никому не было до него дела: где много людей — каждый сам по себе, — а покоя не было.

Ужасно, когда ты никому не нужен. Иосиф это хорошо прочувствовал. А не нужен, так зачем живешь?.. Чтобы пить да есть? Даже собака живет не только для этого: служит человеку да свой собачий род продолжает. А ты

человек. Какая польза от тебя?.. Для людей ты в лучшем случае пустое место. Или — враг...

Было бы у тебя продолжение рода, наверное, люди прокляли бы его до седьмого колена. Но твой род на тебе и окончится. И через некоторое время никто не вспомнит, был ты или не был на этой земле. Разве что когда-то твоим именем будут пугать непослушных детей. Так случается: за какую-нибудь провинность обозлятся люди на человека или, не очень-то разбираясь в сути дела, припишут ему какое-то злое деяние, а потом несмышленых детишек им пугают, мол, не будешь слушаться, заберет...

Между прочим, так было и в его детстве: сделает ребенок что-то не так, пугают каким-то Филиппом. Дескать, подожди, вот придет Филипп, он тебе покажет...

И только взрослым узнал Иосиф, что Филлип — конокрад и однажды люди порешили его. Радовались, что лошадей больше не будет уводить. Да рано радовались, через какое-то время вновь начали исчезать лошади. Долго следили, наконец взяли вора. Оказалось, что Филлип здесь ни при чем. Вор на него указал. На своего дружка. Вместе водку пили. А Филлип был обычным пьяницей, бездельником, ни больше ни меньше...

Наверное, и его, Иосифа, односельчане, была бы их воля, сжили бы со свету. А может, когда втихаря так и сделают — не любят они его, особенно Ефим.

Их сыновья вместе на фронт шли. Ефимовы где-то там остались. Живы ли — неизвестно. А Иосифов дезертировал, да — к врагу...

Впрочем, было бы более понятно, если бы от него так же, как Ефим, Николай и Михей, отвернулась и Катя. Так нет... Катя однажды даже заступилась за него — дети обижали. Ну что же, наверно, женская природа иная, чем мужская. Хотя и женщины бывают разные. И не все такие, как Катя. Вот она Иосифом дитя пугать не будет...

Не смог Иосиф жить в городе — чужое. Не смог без земли, на которой родился и вырос, на которой полюбил, да так, что и сейчас, на исходе жизни, душа горит, когда Теклюшку вспоминает...

Только любовь его оказалась горше самой горькой полыни... И вообще, где сейчас Теклюшка? По какой земле ходит, в каких краях кручинится?.. Жива ли?.. Ведь раскулачив ее Авдея, их сослали неизвестно куда. Какие там люди?.. И есть ли возможность возвратиться?

Это он из города вернулся, не спрашивая ни у кого разрешения. Возвратился к тем, кто считает его врагом. Вернулся, не имея зла на односельчан. Но с обидой, с болью: никто его не хочет выслушать.

Хотя, чтобы он им поведал, если бы пришли и предложили: «Выкладывай, Иосиф, что ты хотел нам сказать в свое оправдание».

Да ничего не сказал бы. В чем оправдываться?.. В том, что Мария была ему чужая, а жил с ней? Или тем, что не своего отпрыска как родной отец принял, а вот человеком вырастить не смог? Или тем, что после того, как немцы уничтожили людей и деревню, не посмел нажать на курок, лежа, избитый сыном, в кусте сирени и целясь в него из винтовки? Целился в Стаса, а Марию видел — сын как две капли воды похож на мать...

Да здесь не рассказывать надо! Здесь, чтобы понять Иосифа, нужно почувствовать все, что у него на душе... А как почувствуешь, если у тебя самого, у всех своего горя — за век не сносить?..

Вернулся из города, повидав многое. Наверное, это и подтолкнуло к возвращению: там горе чужое, хоть и обжигает, да все равно не так, как свое, — мимо скользит. Да и от чужого горя можно укрыться, а от своего нигде не спрячешься. И ожог от него вечный, незаживающий...

Вернулся, думал, рано или поздно в своей деревне, на своей земле вновь, как когда-то, пригодится. Думал, как бы там ни было, со своими людьми найдет лад, ведь когда-то вместе жили: и одно поле пахали, и общий хлеб ели, вместе свадьбы играли, вместе на похоронах печалились. Но не случилось...

Вернулся не с пустыми руками, приобрел там мешок зерна (где ты его сейчас найдешь? кто тебе его даст?..). Надеялся, наступит весна, земля очистится от снега, позовут сельчане: «Давай вместе сеять, Иосиф...»

Пока не позвали. И, наверное, не позовут ни пахать, ни сеять, и дом Кате ставить не позвали... Не нужен он никому в отдельности и всем вместе...

Так часто думал Иосиф, когда был один в хате и тайком, из-за занавески, смотрел, как мужчины возили бревна Кате на сруб, а потом возводили его...

Так думал он и в тот вечер, когда взорвалась дамба. Тогда, услышав страшный взрыв, от которого задрожал дом, да так, что, показалось, вот-вот рассыплется, погребет его под собой, не сразу понял, что случилось. А когда понял, вновь, как не раз случалось за его одинокую жизнь, многое передумал о себе, о Марии, о Стасе и о людях... Понял: во всем, что с ним случилось, сам виноват. И ключ той жгучей вины в том, что когда-то в молодые годы сам себе не поверил, а не Теклюшке: ее надо было выслушать да понять, почему с ней так случилось... Выходит, он от веры своей отрекся, изменил чувствам своим, оскорбил любимую и от людей отвернулся.

С собой все понятно, с Теклей — также, а вот с людьми...

И то, что он ближе к полуночи оставил свой дом, поплыл к людям, было не что иное, как попытка к ним возвратиться... А возвратившись, можно было многое в своей жизни исправить, хотя бы в мыслях, коль ничего былого в реальности не вернешь.

Вот только люди не знали о его стремлении... А если бы и знали, так что, приняли бы?..

6

...Мужчины, добравшись до взгорка, выйдя из воды, поднявшись на вершину, долго не могли отдышаться и вымолвить слово, растерянно глядели на Надю и ее детишек, на Катю. А они, ничего не понимая, испуганно смотрели на Ефима, Николая и Михея, ожидая, что скажут.

Вид у мужчин был жалкий: мокрые, забрызганные грязью, из сапог через голенища, когда двигались по взгорку, выливалась вода.

Надежда, глядя на них, всплеснула руками, пронзительно, как на похоронах, запричитала:

— А мои вы ро-о-д-ненькие-е...

От неожиданности дети втянули головы в плечи, Катерина зажала руками уши.

Собака, лежавшая у сарая, прижала голову к земле, протяжно и тихо заскулила.

— А ро-о-дненькие-е... — продолжала Надя.

Николай, еще как следует не отдышавшись, будто давясь словами, остановил ее:

— Надежда, ты это что?! Живы мы, живы!.. Погоди раньше времени причитать.

— Да нет, да нет, я так... — Надя так же неожиданно, как и начала, утихла и уже спокойным голосом продолжила: — Мы, как рвануло, очень испугались за вас. А вы здесь... Давайте быстрей к печке, грейтесь. Или в сарай, одежду снимите да накройтесь, там в углу возле полатей тряпье есть, а мы вашу одежду просушим.

— Погоди, — сказал Михей, — дай в себя прийти. Дай отдышаться, потом уж все остальное...

Мужчины подошли к печке, повернулись к деревне, чтобы посмотреть, что там происходит. А там ничего особенного и не происходило: паводок как паводок, все затоплено, из воды возвышаются печные трубы да серая хата Иосифа Кучинского, в ее окне — красные отблески заходящего за бор солнца.

Николай и Михей посадили Ефима на колоду спиной к печке. Затем возле него присел Михей, показал рукой Николаю, чтобы сел рядом, — место есть. Тот, будто не зная, как быть, прыгал возле них на деревяшке, колол ею землю, было видно, как ему тяжело. Станет на самодельный протез и морщится, будто в тело вонзается шило. Наконец и он сел на колоду, отставив деревяшку.

Мужчины долго молчали. Молчали и женщины. Дети испуганно посматривали то на взрослых, то на деревню, залитую водой.

— Ничего, выбрались, — сказал Ефим. — Здесь и переживем паводок. Вода пошалит, пошалит да и отойдет.

Он замолчал, задумался, ему никто не ответил. Все думали о паводке. И взрослые, и дети.

Ефим осторожно повел головой, посмотрел на Катю. Она молча стояла у ворот сарая. Он видел, что чувствует она себя плохо, морщится, сутулится, но старается не показывать, что ей тяжело.

Катя еще утром поняла, что не сегодня завтра будет рожать. Это знала и Надежда. Когда встретились, придя сюда утром, чтобы навести порядок в сарае, Катерина подробно рассказала ей, как себя чувствует. Надя, выслушав ее, предупредила:

— Смотри, от меня — ни на шаг! И ничего не делай, не волнуйся, рожать здесь будешь. Все вычистим, мужчины полати сделали, сена на чердак забросили. Даже если бы не было паводка, не в землянке же рожать. В землянке нельзя, сыро. С ребеночком, особенно первые дни, нужно быть очень осторожной. Не бойся, я от тебя ни на шаг не отойду, своих двоих подрастила, и твоего вместе выпестуем. Вон Света — какая няня!..

Катя поняла, Ефим знает, что ей нехорошо. Ну что ж, нечего скрывать, не чужой, заботится о ней, как отец родной. Впрочем, он обо всех заботится...

Ефим, всматриваясь Кате в лицо, понял, что паводка она не испугалась: морщится от боли, а страха на лице нет. Это хорошо. Нельзя, чтобы женщина на сносях пугалась. Слышал, старухи всегда предупреждали беременных женщин: «Чтобы ни случалось вокруг тебя, пугаться не надо. А если, не дай бог, какой испуг — от пожара ли, от собаки, коровы, лошади или человека злого, так нельзя хвататься руками за тело — чтобы на ребенке никакого знака не было...»

Пустое? Брехня?.. Кто знает...

Тогда, в самом начале беременности, когда Ефим сказал об этом Кате, она недоверчиво посмотрела на него, но он заключил: «Не нами сказано...» — и этим все поставил на место. Посмотрела на него недоверчиво, а запомнила навсегда...

Чувствовала Катя, что вот-вот начнутся роды. Но как это не ко времени!.. Сейчас здесь такое делается!..

Когда взорвалась дамба — сначала на взгорок метнулась сжатая волна горячего воздуха, и только через какое-то мгновение прикатился оглушительный, словно рядом разразился гром, звук взрыва, — Катя подумала, что вновь кто-то чужой глушит рыбу, такое бывало. (Но почему так близко, кажется, у самой дамбы...)

— Деда, лодку снесло, — поведал Валик, подойдя к старику. — Как бабахнуло, так здесь, — мальчик показал рукой на ту сторону возвышенности, к реке, где Ефим к врытому в землю столбику привязывал свою лодку, — вода зашумела, вытащила столбик и потянула его с лодкой.

Старик не ответил, отвел взгляд от Кати, молча погладил мальчика по вихрастой голове. Да, его лодку, которую он привязывал недалеко от сарая, чтобы всегда была под руками, снесло, он это заметил еще раньше, как только взобрались на взгорок, но никому не сказал. Наверное, паводок также смахнул и две другие лодки, Николаеву и Михееву, они их привязывали за дамбой — удобно, отвязал и выходи на русло, плыви в Забродье или еще куда надо...

Впрочем, не наверное, а наверняка снесло их суденышки, и Николай с Михеем, как и Ефим, в этом не сомневались, но ничего не говорили, не хотели, чтобы женщины и детишки еще больше расстроились: сейчас без лодки будет очень непросто...

Хорошая лодка было у Ефима, хоть и старая. Двухвесельная. На ней он когда-то возил сено. Ладную копну набросает — дно широкое — да с лугов везет сюда, к этому берегу. Ефимова хата стояла недалеко от него, и сарай рядом.

— Ничего, челнок выдолблю. Смотри, какое бревно, — старик показал мальчику на длинный, метра три, толстый, в обхват, сосновый чурбан, который мужчины еще зимой привезли сюда из бора, чтобы заменить прохудившееся нижнее бревно сарая. — Оно, конечно, лучше смастерить долбленку из осины, но и сосна сгодится.

Что без лодки будет тяжело, знали даже дети. А челн... Его еще нужно смастерить. Чем?.. Одним топором?.. Больше здесь инструмента нет, все осталось возле Катиного сруба. Николай и Михей, как услышали взрыв, все бросили да побежали к дамбе.

Нет, без лодки при большой воде очень плохо, тем более при такой, как сейчас. Но самое страшное, что паводок затопил землянки, а в них одежда, еда. Ужасно, что разрушена дамба. В войну простояла, а теперь... Кажется, в войну ни партизанам, ни немцам не мешала — подумаешь, объект: пять землянок...

Кто ее заминировал и когда? В войну? После войны? Немцы или кто другой?.. Наши, когда пришли сюда, проверили дамбу и мин не обнаружили. Плохо проверяли, в спешке?.. Кто знает... Может быть, ее заминировали те, кто по лесам прятался да постреливал? Возможно, все возможно. Что сейчас гадать? Главное, что спаслись. Тем более дети. Валик и Светка, когда Ефим собирался вести лошадей к дамбе на траву, могли увязаться за ним, конечно, если бы тогда были возле сруба, где часто играют.

Могли быть на дамбе или возле дамбы и женщины. Мужчины когда-то устроили там мостки, на них было удобно стирать белье.

Также и Николай с Михеем могли оказаться рядом с Ефимом: впервые после зимы он вел лошадей в ночное, а это для крестьянина праздник!.. Не пошли. Катин сруб их спас. А от детишек и женщин, как подумал Ефим, сам Бог беду отвел, хотя во Всевышнего старик не очень веровал. А если и верил, то как большинство мужчин: когда страшно — есть Бог на свете, перекрестись, рука не отсохнет. А как все хорошо, так не до Бога.

Сейчас было страшно. Сейчас верилось, что кто-то свыше отвел гибель, спас этих шестерых гуднянцев. Вообще-то сюда нужно добавить и еще одну жизнь, которая вот-вот должна явиться на землю...

Значит, можно считать, что кто-то, кому подвластно все происходящее на земле, спас от гибели семь жизней. Хотя был в деревне и еще один человек — Иосиф Кучинский. Но гуднянцы его в расчет не брали: у Иосифа своя

хата, его и спасать не надо, сам выживет. В тепле да с едой (знали, что еда у него есть) он сейчас как у Христа за пазухой.

Ко всему, у Иосифа под навесом новая лодка! А это при такой воде — спасение. Раньше в паводки люди плавали на лодках от двора ко двору, помогали друг другу, сейчас же помощи не жди...

Вечерело. Угас красный блик в окне избы Иосифа Кучинского. Издалека она казалась пепельно-черной. Вода быстро почернела, казалась вязкой. У взгорка, покрытая темно-коричневыми пятнами кудрявой пены, она попрежнему время от времени накатывалась на него, пытаясь взобраться на вершину. Но тут же под своей тяжестью сползала назад.

Зубчатая стена бора в том конце деревни, все еще тронутая багрянцем последних лучей завалившегося за него солнца, казалась опрокинутой в бездну темно-красного зеркала, тяжело покачивалась в его глубине.

И сруб, и изба еще долго отражались в воде, покачиваясь в ней, и исчезли только тогда, когда угас последний луч уже невидимого солнца и ночь опустилась на землю, окутывая ее холодом и кажущимся спокойствием, — утих гул волн, словно его и не было...

...И на взгорке уже было спокойно. Потрескивая, в печке горел яркий огонь, дрова были сухие, береза да осина. В огромном чугуне варилась уха: беда бедой, а есть надо — Надя готовила ужин.

Кажется, спокойна была и Катя, словно показывая всем, что ничего особенного не случилось. Паводок? Ну и что? Сколько их, тех паводков, прошло по этой земле, а люди жили и живут...

Всегда было так: придет паводок, но скоро выдохнется, утихнет и через некоторое время вовсе сойдет. А земля будет держать в себе ровно столько влаги, сколько нужно для хорошего урожая.

Вот и селились люди с незапамятных времен возле рек, большой воды не боялись: река кормит...

— Дядь Ефим, — сказал Николай, — днем все же надо будет посмотреть, может, лодку под какой куст прибило, недалеко отнесло. Тогда свяжем плот, достанем. А если нет — смастерим челн, на плоту будем плавать, коль такая случится надобность.

— Какая еще надобность? — сломал седую бровь Ефим.

— Ну, сельсовет или район...

— Пока большая вода, нечего туда наведываться. Забродье само в воде. Может, не все, а этот край, от нас, уж точно весь затоплен. Он низкий. Будто тебе это не известно. Там сейчас свой переполох. Кто выше живет, помогают сняться тем, кто пострадал, детишек в лодки садят, вещи, харч грузят и живность, коли она у кого имеется. Да и фермой заняты, как-никак коровы у них есть, несколько лошадей. Что после немца осталось, а что в районе дали.

— Да знаю, знаю, — сказал Николай.

— А район далеко, — продолжал старик, не замечая его раздражения. — Чем он сейчас может нам помочь? Лошадьми? Так уже дал двух, а я не уберег, нет их, нет! Еще спросят за них, ох как спросят!.. Ну, разве что кто с войны будет идти, так поможет и район, и сельсовет: на лодке подвезут. К фронтовику повсеместно уважение имеется, особенно у власти. Тот же Савелий, участковый наш, коль надо, поможет.

— Жди, поможет. Считай, два месяца, как участковый, а к нам глаз не кажет.

— А зачем? — удивился Ефим. — Он тебе здесь нужен? У нас — порядок. Он это знает. Ты же ему сам говорил, что и как у нас, когда на собрании был. У него участок большой, почитай, два десятка деревень. У нас тихо, а там,

случается, и постреливают, особенно ближе к городу, да если в лесу... Сейчас мы как никто отрезаны от всего мира, кто из недобитых сюда сунется?

— Что верно, то верно — никто.

— Так что, Николаюшка, получается, плавать нам некуда, разве что к бору, когда дровишки окончатся. — Старик посмотрел на сухие жерди возле сарая, прикинул: на неделю хватит... А сельсовет, Забродье — так все же должен кто-то не сегодня завтра явиться сюда: взрыв не могли не слышать. А вдруг... Если что — помогут, детишек заберут. Может, и женщин. Катю так обязательно надо туда переправить.

— Никуда мы от вас не поплывем! — сказала Надя. — Я своих детей в жизнь никому не отдам даже на день! А Катерину как в лодке везти? Мало ли что... Это же — вода. А здесь худо-бедно — сухо, тепло. Сами же полати сладили, на чердаке сено разостлали, постель я ей сделала. Да и я при ней. А там кто?

— Да помогут, говорю. Чай, и там люди. Да власть...

— Помогут, помогут... — словно передразнила она Ефима. — Кому там до нас дело? Там своего горя хватает. И в Забродье много дворов выгорело.

— Если надо будет, помогут, — попытался сгладить резкий тон разговора Николай. — Там же, говорят тебе, — власть.

— Не спорьте, — встрял в разговор Михей. — Все оно так. Только я вот что вам скажу: беда наша, сами ее и одолеем. — Он немного помолчал и добавил: — Сейчас нужно, чтобы все были на виду. За детишками глаз да глаз нужен. А чтобы их в Забродье отдать — нет! Даже будь у нас лодка, я ни за что по такой воде, когда все крутит, крошит, рвет, никого никуда не повез бы. Ни Надежду с детишками, ни тем более Катерину. Надо совсем умом тронуться, чтобы на такое решиться: впереди ночь, туман ложится, а там, где Забродье, ничего не видно.

— Нет, Михейка, конечно же, никто никуда не поехал бы и не поедет, — сказала Катя. — Это просто такой разговор. Мол, могло быть так и этак. Это...

Она не договорила, ойкнула, сжалась.

— Наверх! Быстрее наверх! — приказала ей Надя и добавила: — Дядь Ефим, ты уж сам смотри здесь. Воды нам согрейте. В сарае в углу, справа от двери, на полке чистая посуда. Я сама песком вычистила.

— С Богом, — еле слышно, будто сам себе, молвил старик и, отвернувшись от мужчин, тайком перекрестился.

7

Конечно, все ждали, когда Катя родит. И даже Виталик со Светкой знали, что вскоре у тети Кати будет мальчик или девочка. Мать не однажды говорила им об этом, подготавливала. И сейчас, когда Катя ойкнула, а мать повела ее в сарай, на чердак, дети насторожились, не зная, что делать. Ефим же, по существу самый главный из сельчан, был вовсе растерян: не случилось бы чего, не захлестнула бы волна взгорок да не снесла бы сарай — всякое может быть, воды-то как никогда много держала дамба. Он молча стоял возле печи. Отблески огня освещали его темное, изрезанное глубокими морщинами лицо, на котором нервно дергалась острая седая бороденка.

А то, что Ефим, будто стыдясь, перекрестился, мужчин не удивило — в последнее время за стариком такое хоть изредка, но замечается...

Как только женщины вошли в сарай, Ефим, словно что-то вспомнив, поспешил за ними.

В сарае уже было темно, слабый вечерний свет даже через приоткрытую дверь не проникал туда. В углу, за лошадиными стойлами, мекала коза. Ни женщины, ни Ефим на нее не обращали внимания, хотя старик подумал, что нужно было бы какую-то горсть сенца бросить ей. Но потом, потом...

Слева от двери на стене на гвоздях висели два фонаря. Ефим взял один, зажег его, чтобы светить женщинам. Они подошли к лестнице на чердак. Ефим с волнением наблюдал, как Катя осторожно поднимается по лестнице, как Надя осторожно поддерживает ее.

Когда женщины забрались на чердак, Ефим подал Наде фонарь, попросил:

— Надька, доченька, ты уж смотри сама, мы ничем не можем тебе помочь.

— Да не надо, дядь Ефим, — сказала Надя. — Сама справлюсь. Какая в этом деле от мужчин помощь? Не мешать. Воду согрейте. Когда скажу, подадите. Да не волнуйтесь, я знаю, что надо делать. Меня мама научила, когда я еще и замужем не была.

— Все будет хорошо, — в свою очередь попробовала успокоить старика Катерина.

Как и всякая женщина, рожающая первый раз, она очень боялась. Боялась не боли: сколько женщин на земле рожали до нее, кто с криком, кто со стонами, а кто и звука не проронив... Назначение такое женщин — рожать, чтобы жизнь не прервалась. Боль она выдержит, будет делать все, что ей скажет Надя, доверится старшей подруге, как могла бы довериться матери, сестре. Боялась иного: здоровенький ли будет ребеночек — вынашивала его не в тепле и не в сытости, часто слезами умывалась, Петра вспоминая...

Она должна родить. Пусть девочку, пусть мальчика, но — ее и Петрову кровиночку...

Надя от своей матери, известной во всех близлежащих деревнях повитухи, научилась помогать роженицам.

Надина мать (с незапамятных времен меж людьми заведено передавать из поколения в поколение жизненно важные знания) от своей матери научилась принимать новую жизнь. Состарившись, она начала брать с собой к роженицам свою заневестившуюся дочь Надю. Не сосчитать, сколько детишек в окрестных деревнях, а также в Гуде, с надеждой на добро, с вечной женской нежностью и заботливостью приняли руки Надиной матери...

Ефим еще немного постоял в сарае, снял со стены второй фонарь, но не зажег его, только качнул: есть ли еще керосин. В колбе весомо плеснуло — есть, не выжгли, почти полный.

Этот фонарь Николаю дал участковый Савелий Косманович. Как-то Николай по председательским делам был в сельсовете на сходке, рассказал местному активу, как гуднянцы живут.

Сказал, что зерна нет, что живут в землянках. Поведал, что ставят дом вдове-солдатке, что имеют двух лошадей, их осенью дали в районе — дескать, живут его односельчане, как и все люди, не хуже и не лучше.

Савелий, бывший фронтовик, только что демобилизованный по ранению, как и Николай, после совещания завел его к себе в боковушку, в «кабинет» (сельсовет располагался в уцелевшей избе), при слабом свете фонаря, стоящего на столе, налил стакан первача, посетовал, что пока ничем не может помочь.

Николай выпил, «прикусил» рукавом, не торопясь ответил, что помочь он может, и показал на фонарь:

— Вдова Петра Журовца, Катерина, на сносях, живет в землянке. Свет у нее такой: коптящая снарядная гильза.

— Жаль Петра, жаль Катерину, — вздохнул Савелий. — Такая пара была! Он — богатырь, она — красавица. По ней, пока с Петром не сошлась, многие наши ребята сохли. Сейчас у нее — ни мужа, ни родителей. Конечно, поможем чем только можем.

Прощаясь, Савелий молча подал Николаю фонарь с керосином...

Катя от фонаря отказалась, сказала, что гильзу зажигает редко, пусть фонарь будет в сарае, там он нужнее: при хозяйстве.

Старик повесил фонарь на место, подошел к полке, приделанной к стене, взял огромный чугун и, помня Надин наказ согреть воды, вышел из сарая.

Уже хорошо стемнело. В печке по-прежнему метался огонь, освещал небольшую часть островка, людей, собравшихся на нем. У подножья, на воде колыхались длинные мягкие сполохи.

Ефим торопливо спустился к воде, сбросил тяжелые сапоги, не закатывая мокрые брюки, зашел в нее почти до колен, опустил чугун, набрал. Холода он не чувствовал, хотя ступни покалывало.

— Деда, ее надо обязательно процедить, — сказала Светка, когда он подошел к печи. — У меня платок чистый. А вот другой чугунок. Я все сделаю.

— Ну да, — согласился старик, — только я тебе помогу, чугун тяжелый.

Светка молча сняла с головы платок, подала Ефиму пустой чугун.

Воду процедили. Ставя чугун в печку, Ефим сказал:

— Большая уже. Скоро мать заменишь. А сейчас идите с Валиком да прилягте на полатях. Умаялись. Отдохните. А я кликну, когда помощь потребуется, особенно твоя, Светка.

— Хорошо, деда, — ответил за себя и за сестру Валик, он стоял рядом, не зная, что делать. — Только ты разбуди нас, когда помощь потребуется, ладно?

— А как же! — ответил старик, подбрасывая в печь дрова...

...А тем временем, когда дети улеглись на полати и вскоре уснули, утомленные за день, Катя лежала на грубом солдатском одеяле, разостланном на тонком слое сена. Ей было плохо, и она боялась, что закричит, боялась всех напугать, сжалась, тихо стонала. Фонарь Надя повесила на стропило, он слабо освещал Катино лицо, перекошенное от боли.

Надя видела, как непросто ей сейчас, наклонилась над Катей, начала шептать:

Праз поле чыстае, праз мора быстрае ішла маць прачыстая.
Там яна траўку рвала, вадзіцу брала, рабе божай Кацярыне
Усё цела падмывала і ў мора спускала.
Як па мору вадзіца разыходзіцца, так штоб у рабы Божай
Кацярыны косці разыходзіліся.
Я не знаю, сам Гасподзь Бог знае і нам памагае.
Я са словам — Гасподзь Бог з помаччу і Святым Духам.

Этот заговор Надя шептала трижды. Затем читала молитвы, которые когда-то слышала от своей матери. И вскоре Катей овладело какое-то удивительное, похожее на сон состояние, хотя понимала: все, что с ней происходит, происходит наяву, и явь эта какая-то туманная, на грани, за которой исчезает сознание.

Наяву — лежишь на чердаке. Над головой фонарь. Она видит склонившуюся над ней Надю... Надя по-прежнему шепчет какие-то таинственные, успокаивающие слова...

...И грезится: Петро перед ней... Ласково улыбается, протягивает к ней руки, хочет обнять, то ли зовет к себе, то ли за собой...

Она улыбается в ответ, но не соглашается и вместе с тем не сопротивляется: будто раздумывает, как быть, при этом понимая, что грезится... И вдруг наяву чувствует, что уже не одна на этом свете, а если так, то ей нельзя в тот мир, где сейчас Петро... Хочет сказать ему это, но губы не слушаются, не может... И чувствует, что и он понимает — нельзя ей идти за ним, — так же неожиданно исчезает, как и появился...

Через щели в крыше Катя видит — какие-то слабые то ли сполохи, то ли вспышки огня, будто где-то далеко в небе занимается зарница... Слышит мужские голоса возле сарая, разорванные ветром, да так, что непонятно, просто разговаривают или о чем-то спорят. Слышно одно: «...у-у-ии...», да «...няйте... няйте... няйте двер... ...ер...» И — сухой скрип двери.

— Надя, что это? — спрашивает Катя.

— Ничего, мужчины о чем-то своем шумят. Лежи. Скоро уже. Кричи, плачь, легче будет. Чего молчишь?

— Не плачется, не кричится, — слабо говорит Катя. — Посмотри, сполохи какие-то.

— Сполохи, говоришь? Где-то что-то горит. Может, кто в лесу костер развел. Может, пошел человек в лес, да оказался отрезан от всех — потоп-то какой! А с огнем ему все нипочем. А утром... Ты на это не обращай внимания, расслабься да слушай, что я тебе буду говорить...

Не помнит Катерина, что после этого говорила ей Надежда, вновь впала в забытье. Себя она уже не контролировала, не помнила себя...

Очнулась от неизвестного ей доселе своей теплотой, своим родством, своей кровностью пронзительного, беспомощного детского крика, требующего всего ее существа, тепла, ласки, заботы. И этот крик наполнил ее неизъяснимой, ни с чем несравнимой материнской радостью, теплотой и нежностью. Она поняла: сыночек, и осторожно приложила его к своей груди...

Крик ребенка слышали и мужчины. Перед этим они тоже заметили отблески огня. Но не в небе, а там, где стояла Иосифова хата. Были они пугливые, слабые, мелкой россыпью дрожали на черной воде, то вспыхивали, то исчезали. Но сейчас мужчинам было не до них — здесь такое делается, а это, наверное, Иосиф вздумал растопить печку, согреться, вода-то в его избу вряд ли забралась, фундамент высокий...

— Слава тебе, Господи! — не то простонал, не то произнес Ефим, поднимаясь на чердак, держась одной рукой за ступеньки, а другой прижимая к себе завернутый в тряпье чугунок с теплой водой.

Воду, пока Катя рожала, успели прокипятить, еще раз процедить, остудить, чтобы подать матери, пустившей на свет ребеночка, своим криком оповестившего людей о том, что в этот горестный, страшный и жестокий мир пришла новая человеческая жизнь...

8

Имея мешок зерна да лодку у крыльца, Иосиф без особых забот мог переждать паводок. Но тем не менее, не мог оставаться здесь.

Ему и раньше жутко и одиноко было в своем доме. А после того, как пожил и поработал в городе, повидал разных людей, понял, как огромен мир человеческой жизни. Вернувшись домой, почувствовал себя вконец раздавленным этими серыми стенами, закопченным лучиной потолком. Захотелось вырваться из-под удушающего гнета некогда построенного

им же дома. Здесь он давно уже чувствовал себя не то что за решеткой (за решетку ветер врывается, принося свежий воздух), здесь он, как в наглухо заколоченным гробу...

Вообще-то, если откровенно признаться, его дом, его хата была своеобразной западней для Иосифа столько, сколько жил в ней с Марией. Разве только с той разницей, что раньше, когда хотел пойти к односельчанам, — шел, ничего не боясь и ни у кого не спрашивая разрешения.

Приходил к людям, говорил с ними, забывал о своих печалях и даже, кажется, ощущал радость от общения с ними. Хотя радость была с примесью горечи, потому что, сколько себя помнил, вся его жизнь проходила хотя и с людьми, но все же будто в отдалении от них. А горечь — знал, что многие ему сочувствуют, жалеют его, — стыдно было... Еще бы, видят, что не клеится у него с женой — она, не таясь людей, брезгует им и, как сказывали, за драное лыко не считает...

Иногда и горько было, ощущал себя последним негодяем: знал же, что между Марией и Матвеем любовь, так зачем взял ее в жены, зачем обрек и их, и себя на страдания.

Верно говорят люди, что на чужом несчастье свое счастье не построишь.

Не построил...

Совсем опостылела ему хата после возвращения из города, после того, как сам заточил себя в ней, сторонясь людей, не выходя к ним: боялся — не примут, по-прежнему будут мстить за сына-изверга.

И одному ему не было покоя в своем доме (не говоря уже о счастье), и с Марией. Одному вроде должно быть просторно, но — нет, все давит!.. И вдвоем с Марией было уж очень тесно. Не было здесь места и рядом с сыном-полицаем.

И сейчас ему страшно здесь: не дом, а гнездовье адского зла. Да, да, много здесь собралось зла, много... И, может быть, если бы оно касалось только одного его, еще выдержал бы. Но после того, как немцы, уничтожив деревню, вместе со Стасом пиршествовали здесь, — зло стало адским... О нем Иосиф не забывал ни на минуту. Он чувствовал его днем и ночью, каждое мгновение. Ночами его мучили кошмары. Он просыпался в холодном поту и, когда открывал глаза, во тьме рядом с собой видел (грезилось?) какие-то тени. Казалось, они вглядываются в него, казалось, это Мария и Стас преследуют его, тянутся за ним, не отставая ни на шаг, — дальше такое невозможно было терпеть...

В тот вечер, когда взорвалась дамба, Иосиф пытался очистить свое жилье от темной силы. Как это сделать, он знал: нужно зажечь свечи. Если свеча потрескивает, а язычок пламени бросается из стороны в сторону, значит, в доме нечисто.

Свечи у него были, еще довоенные, церковные. Иосиф зажигал их, ставил в стакан на столе — одну, другую, третью — свечи трещали, язычки пламени метались...

Он никогда не желал Марии зла. За что ему было на нее злиться? За то, что был немил? Так и она была немила ему. Сам виноват, что все так произошло.

Умерла Мария рано, как рано умирали все ее сестры, дочери Варивончика... А Стаса, сына своего, когда сидел он здесь с немцами за столом, Иосиф хотел порешить... Тогда, после трагедии, он лежал в кусте сирени, куда его, избив, затащил сын, — пожалел, от немцев спрятал.

Некоторое время Иосиф был без сознания, а когда очнулся, достал из-под крыши сарая еще с начала войны припрятанную винтовку, навел на сына, но

не выстрелил. Почему? Может быть, потому, что образ Стаса раздваивался: Мария — Стас, а может, за себя испугался: возьмут ведь немцы...

Поставив в стакан очередную, четвертую зажженную свечу, Иосиф снял из красного угла икону, осторожно завернул ее в чистое полотенце, некогда доставшееся ему от мачехи и к которому с тех пор, кажется, ни разу не прикасался, положил под рубаху на грудь. Затем сунул в карман брюк коробку спичек, подошел к печи, достал из печурки завернутые в тряпочку камешки кремня, также спрятал в карман.

Потом собрал в вещмешок еду (несколько банок тушенки, кусок сала килограмма на два, десяток горстей пшена, завязанного в узел, с полведра картошки, хорошую горсть соли). Поднял — весомо, занес в лодку. Перед этим, вечером, по еще небольшой воде сходил под навес, где она была привязана, пригнал к крыльцу, привязал к столбу, как делал в прежние паводки.

Затем вернулся в дом, зашел в кладовую, притащил оттуда мешок зерна и положил в лодку на переднее сиденье.

Это зерно он выменял за золотой червонец царской чеканки. Выменял зимой в городе у знакомого мужика из Забродья Михаила Калистратова, человека жуликоватого, принимавшего в войну и партизан, и немцев, а после освобождения не пошедшего на фронт.

Иосиф в высоких, до паха, сапогах немного постоял на крыльце — вода сжимала ноги выше колен, прислушался к тому, что делается вокруг. А вода волнами накатывалась на избу, угрожающе била по стенам, трещал навес, сарай. В огромном старом усохшем кусте сирени, черневшем среди огорода, завывал ветер.

Все эти звуки были слышны только здесь, возле дома, или недалеко от него. А дальше — тишина, ни человеческих голосов, ни воя собак (в половодье они всегда воют), вот только вода все так же накатывалась не только на дом, навес, сарай, но и на печные трубы бывших соседских изб.

«Прибывает вода, — подумал Иосиф, глядя в темноту. — Поднимется еще на локоть и, как было всегда, растечется окрест, утихнет, успокоится. Но только на несколько дней. А потом вновь захлестнет деревню — придут новые паводки с возвышенностей, среди которых где-то далеко на чужих землях протекает Дубосна, прежде чем прийти сюда.

Обычно большая вода, пока не было дамбы, держалась пару недель, может, чуть больше, в зависимости от погоды. И начинала постепенно убывать. Так было испокон и так будет, если вновь не сладят дамбу. А кто ее сладит и когда, если по земле прокатилась такая опустошительная беда?»

В стену ударила новая волна. Дом задрожал, зазвенели окна, но устоял. «Ничего с ним не случится, разве что повыбивает окна. Но это не такая уж и беда, починить можно. На чердаке доски про запас, двойные окна, как и должно быть у хозяина, живущего в зоне паводков. Что же я стою?» — спокойно, как о чужом, подумал Иосиф и решительно ступил в лодку. Она закачалась, Иосиф сбалансировал руками, устоял, потом опустился на сиденье на корме, взял весло, лежавшее на дне суденышка, оттолкнулся от крыльца и поплыл.

Путь у него был один — туда, к взгорку, к людям.

Он плыл, а на землю все глубже и глубже опускалась холодная майская ночь. Ее темный, усеянный крупными мерцающими звездами полог трепетал от порывов колючего ветра. Казалось, местами этот полог протерт и через слабо освещенные дыры к земле спускаются космы сизого тумана. Ближе к воде туман слоился — вверху казался шершавым, а у самой лодки — вол-

нистым и мягким, тянулся в направлении взгорка, где трепетали красные языки пламени.

Иосиф знал, что топят печь, повернутую чревом к деревне. Подумал, что огонь могли разжечь специально для него: вдруг вздумает плыть к односельчанам, так вот тебе ориентир... Огонь, трепетавший в печи, и был ориентиром, на который он плыл, иначе в темноте мог бы сбиться с пути.

Иосиф уверенно подсекал под кормой лодки воду, старался держать нос своего суденышка прямо на огонь. Но вскоре огонь ослабел, будто в печь плеснули воды, а еще через минуту погас.

Однако ему, человеку, который с детства знался с водой, которому были известны все ее нравы при всех здешних ветрах в любую погоду и в любое время суток, управлять лодкой было несложно, и вскоре он вновь обрел уверенность. Ему не пришлось прикладывать особые усилия, чтобы плыть дальше: время от времени слегка подсекай веслом под кормой, волна сама принесет тебя к взгорку. Да и если внимательно присмотреться, впереди заметны очертания островка, сарая на нем, гряды кустов, пробегающих через весь взгорок от воды до воды.

Лодку несло в нужном направлении. С каждым взмахом весла ее нос все дальше и дальше легко вспарывал густую ночную тьму, но когда временами в облаках исчезали луна и звезды, трудно было определить, где вода, а где небо.

Когда же луна выскальзывала из-за туч, слева и справа от суденышка бледно-желтыми тенями проплывали печные трубы. Иосиф безошибочно определял, где чья: вот Ивана, а это — Кириллы, а та — Федора... Катерины... Тодоры... И каждая труба, оставаясь позади, была как напоминание о своем хозяине или хозяйке, которых уже нет на земле. И каждый раз у Иосифа возникало такое ощущение, будто кто-то из этих людей вонзает ему меж лопаток острый нож, да не так, чтобы насмерть, а на страдания: смотри, запоминай — и твой сын приложил руку к нашей гибели...

Иосифу не хватало воздуха, и он, словно рыба, выброшенная из воды, только обессиленно открывал и закрывал рот. Так было, пока не проплыл мимо последней трубы — Ефима, оставшегося в живых, друга молодости, а нынче недруга, к которому он плыл, надеясь на сочувствие в его страданиях... Исчезла труба, а на душе легче не стало, даже подумал: не повернуть ли лодку назад, к дому?..

Подумал, и все внутри сжалось: дома-то у него не было, хата была, стены были, крыша над головой была, а дома — нет.

Дом там, где тебя ждут. А его никто не ждет. Да и никогда никто не ждал, ни Мария, ни Стас...

Что сейчас там?.. Разве что их привидения, да зло, которое даже церковные свечи не изгнали.

«Нет, не вернусь, — твердо решил Иосиф. — Пусть даже сгинет без меня моя хата, сгорит, рассыплется под ударами волн, вообще исчезнет без следа, — все равно назад не поверну. К людям надобно, туда, на взгорок, без них невмоготу».

Тем временем позади на воде заметались слабые отблески света. Иосиф заметил их, когда очередной раз подсек веслом воду под кормой, когда нос лодки взял вправо, заметил боковым зрением. Но странно, не придал этому никакого значения — скользнули и исчезли, — волна вновь повернула нос лодки влево, поставив его в направлении взгорка, где неожиданно заметался желтый огонек, — фонарь, понял Иосиф.

Он быстрее заработал веслом, уже гребя справа и слева, даже начал бить им по воде, надеясь, что его услышат.

Но похоже, никто его не слышал. Никто не окликнул. Тогда, подплыв еще ближе, Иосиф закричал:

— Люди!.. Люди!..

Ответа не было...

«Неужто что случилось?..» — в отчаянии простонал Иосиф и вновь хотел крикнуть: «Люди!..», но из груди вырвался хрип...

Тем временем Ефим, заметив лодку, закричал, чтобы греб на него, стал подсвечивать фонарем. Иосиф облегченно вздохнул, начал причаливать... А когда причалил, разговор между ними был только им двоим известный. И этот разговор некогда бывших друзей оказался совсем не дружелюбным...

А перед тем, вглядываясь в темную фигуру Ефима, Иосиф кричал ему, что у него есть харч, что хата его еще теплая и что сейчас односельчанам, особенно детишкам, — туда надобно...

Охладил его разговор с Ефимом, словно плеснул в душу ледяной водой, от радости ничего не осталось. Растерялся Иосиф, не зная, что делать, а тут еще услышал из сарая: «Да закройте вы дверь!..»

Эти слова повергли его в шок, стыд обжег душу, и он понял, что должен сейчас же, немедленно уйти прочь от этих некогда близких и дорогих ему людей... Понял, что отныне между ними — непреодолимая стена...

...Односельчане не приняли его, а он-то думал, что новая общая беда если не примирит их, то хоть чуть-чуть сблизит.

Иосиф надеялся, что время, прошедшее после войны, надоумит односельчан посмотреть на него как на человека, не имеющего перед ними никакой вины: он никогда никому не причинял никакого вреда.

Да, он отец изменника. Но кто из родителей знает, каким станет его дитя? Случается, и родители хорошие, а ребенок, как его ни воспитывай, вырастает плохим человеком. Наверное, не зря в таких случаях говорят: «И в кого он такой?..»

Так в кого Стас? В бабу с дедом, которых все считали кровопийцами, и не без оснований, — на людей зверьем смотрели, никогда никому не помогли, не посочувствовали...

В мать, в Марию? Мария была такая, как и ее родители. В него, Иосифа? Но он до сих пор сомневается, он ли Стасов отец: только начали жить с Марией как муж с женой, а она — уже с животом.

Сплетничали женщины, что Мария понесла от Матвея. Коль жизнь так повернулась, да все по-хорошему было бы, пусть бы и так. Дитя при чем? Невинным оно рождается, но коль ты его принял, воспитывай, ответ за него держи, отец или нет. Получается, люди правильно считают: он в ответе за злодеяния сына. Поэтому как не принимали они ранее Иосифа, так не приняли и сейчас. Им нипочем, что он отрекся от сына, хотя и знают об этом. Знают, что он не пускал Стаса идти служить врагу. И еще много чего знают и о Стасе, и о нем, а что с того?

Нет ему места среди людей, которые когда-то были своими. Сейчас он в очередной раз убедился в этом.

Значит, прочь отсюда!.. Нужно как можно дальше держаться от них. Прочь, прочь!.. Но куда? Да куда глаза глядят!..

Иосиф вышел из лодки, волна толкнула ее к сараю, повернулся и решительно двинулся к противоположному краю островка.

Он шел и не видел, что Ефим смотрел ему вслед, не зная, как быть. Впрочем, Иосифу это уже было не нужно. Он знал, чего хотят от него люди: чтоб быстрее сгинул с глаз, исчез с их островка, на котором они нашли спасение от паводка.

Но если так, этот островок такой же его, как и их. Он знал это место с детства. Знал, может быть, даже лучше, чем Ефим, неизвестно откуда пришедший когда-то в Гуду. Знал лучше, чем Николай и Михей, тем более, чем женщины и детишки.

Этот островок среди воды был самым высоким местом во всей округе. Небольшой, метров пятьдесят в длину, почти наполовину меньше в ширину, он стоял слева от деревни, за которой начинался клин бора.

Этот взгорок всегда жил сам по себе: и в паводок, и в засуху, и зимой, и летом. Еще бы, все вокруг связано с водой. И деревня, находящаяся в пади, и бор, и заливные луга на той стороне реки, и стежки-дорожки, ведущие в Гуду из далеких и близлежащих деревень. Здесь всегда все было прочно связано, переплетено между собой. А взгорок, погорок, гура, гора — просто возвышенность за деревней у реки, — как кто хотел, так и называл это место. Ведь в Гуде до того, как ее уничтожили фашисты, жили не только белорусы, но и несколько семей староверов, пришедших сюда откуда-то из России в далекие времена, спасая веру свою, семья переселенцев из Украины, польская семья, поселившаяся здесь неизвестно когда... Ладом жили, сберегая свое и уважая чужое, помогая друг другу и в радости, и в горе...

В былые времена взгорок был как некая особая часть суши на этой земле, таившая в себе неразгаданную животворящую силу.

Сколько себя помнил Иосиф, здесь в паводки находили спасение зайцы, косули, дикие кабаны, а то и лоси, убегающие от большой воды со своих лугов, лесов, перелесков, полян, находящихся на этой стороне от Гуды, в направлении Демковских болот. Зверье, отрезанное от бора и не имеющее возможности добраться до него, пережидало здесь паводок. В былые времена зверя никто не трогал. Когда, случалось, какой озорник говорил: не взять ли ружьишко да поплыть туда, — старики тут же осаживали его:

— Только попробуй!.. Мы с тебя самого шкуру снимем: живое спасения ищет, и походя лишать его жизни — большой грех.

Словно родниковой водой окатывали разгоряченный умишко — утихал молодец, со стариками шутки плохи:

— Да ну вас! Пошутить нельзя...

Никто не осмеливался в такую пору с ружьишком и шага ступить на островок, возвышающийся среди бескрайнего моря воды.

...Размышляя так, он остановился у кромки воды, зная, что будет делать дальше... Снял фуфайку, свернул, перевязал рукава, сжал как смог — меньше набухнет. Остался в рубашке, нащупал на груди булавку, снял шапку. Затем стянул сапоги, ноги были сухие. Свернул портянки, воткнул в сапоги и, плотно перевязав голенища ремнем, перебросил через плечи, как коромысло: сейчас можно и в глубину, обувка цела, в ней худо-бедно держится воздух.

Иосиф не оглядывался, хотя и заметил, что по кустам на гриве островка, справа от него скользят отблески света. Подумал, что, наверное, Ефим при свете фонаря повыше затаскивает лодку. Это хорошо: в лодке еда, зерно, икона.

Не смотрел он и по сторонам. Если бы глянул туда, где стояла его хата, увидел бы, что внутри, пытаясь вырваться наружу, мечется огонь.

Иосиф на шаг ступил в воду — у самого взгорка по колено. Значит, дальше глубоко. Впрочем, это он и так знал, дальше начинается впадина.

Отметил, что особого холода не чувствует, но понимал, что это обманчивое ощущение, что вода довольно холодная. Постоял, всматриваясь вперед и определяя, куда спускается темный клин бора, — его верх был потянут узкой ломаной полоской света. Небо очистилось от туч, и луну закрывал только легкий туман. Иосиф перекрестился и бросился в черную воду...

Вода обожгла лицо холодом, потянула вниз, сжала, через мгновение вытолкнула на поверхность и опять попыталась поглотить его. Но он не поддался, перевернулся на спину, широко раскинув руки, взмахнул ими, поплыл.

Плавать он научился в раннем детстве, жизнь его прошла на реке, и он хорошо знал, что на спине плыть легче: слегка греби руками, отталкивайся ногами, шевелись — и будешь держаться на воде. Однако вода весенняя, талая, еще не прогрелась, и продержится он в ней не более получаса. К бору, если не собьется, доплывет минут за десять-пятнадцать. Главное, чтобы не свело руку или ногу. Впрочем, если сведет руку, нужно прокусить ее до крови — отпустит. Если же ногу — немедленно отстегивай булавку да коли как только можешь...

Это он знал с детства. Старики учили несмышленых мальчишек, что делать, если вдруг перевернется лодка, а ты не успеешь ухватиться за борт и тебя снесет течением, а потом сведет руку или ногу.

Старики многому учили ребят. И конечно же, передавали свой опыт выживания на воде, в лесу в разные времена года, когда помощи ждать неоткуда.

С пути он не свернет, плывя на спине, видит, как над гребнем бора колышется все та же желтая нить. Она не исчезает, хотя вокруг посветлело — туман заметно поредел, будто прохудился, стал почти прозрачным, так что и луна светит, и звезды видны.

Плыть было тяжело, хотя голову и спину поддерживали наполненные воздухом, пережатые в голенищах сапоги. Да и фуфайка поддерживала, лежал на ней, как на подушке. Тяжело, наверное, потому что состарился, износился. Это в молодые годы, когда еще не сойдет паводок, он мог напрямик доплыть до Забродья, да не отдыхая — назад. Перед Теклюшкой хвастался: дескать, смотри, какой я, — она стояла на мосту и с замиранием сердца наблюдала за ним.

И, наверное, сейчас, если бы не сапоги, наполненные воздухом, поддерживающие его на плаву, уже давно пытался бы достать ногами дно. И уже проплыв не менее половины пути, увидел, что желтая нить на вершине бора отяжелела, разорвалась, сползла в воду, но не погасла в ней, а вспыхнула пламенем — какой-то огонь отражался в ее глубине.

Иосиф повернул голову влево и увидел, что горит его дом...

«Ну, вот и все, — почему-то с облегчением подумал он. — Нет мне пути назад. В лес, в лес, подальше от людей!..»

Перевод с белорусского Ольги НИКОЛЬСКОЙ.
Окончание следует.





ВАСИЛЬ МАКАРЕВИЧ

И хоть глазам своим не верь

Триптих

*

Изяславу Котлярову

То события сумбурные,
То расчеты снова с охами.
Вырастает время бурное
И — становится эпохою.

С неба сеет кашу манную,
Что имеется в наличии.
Не страдает время манией
Ни снобизма, ни величия.

*

Давай прихватим зонт
И в этот дождь с порога
Уйдем за горизонт
По столбовой дороге.

За бором, за горой,
Расправив смело плечи,
Дни школьной детворой
Нам ринутся навстречу.

*

Погляди-ка, небосвод —
Нет, он не прикинулся! —
В золотое лоно вод
Смело опрокинулся.

Рядом с тихою вербой,
В древнем поселении,
Надо мной и над тобой
Вся почти вселенная!

* * *

Когда-то гнездо тут свило,
Глаза протирало порошею.
Сейчас в приднепровье село
Молчит, тишиною обросшее.

На ветке по сорок щеглов.
Колодцев десяток под воротом.
И днища в луске у челнов,
Отчаяньем вверх перевернутых.

* * *

Жил и дружил он всегда с музыкантами,
Жег, как огонь.
Бельма под лоб, словно луны, закатывал
Шут-самогон.

С беса повадками, с клоунской мимикой
Сколько веков
Верным подручным служил у алхимиков
И скорняков.

Хоть и сидел он за праздничной скатертью,
Но полагал —
Аресту все ж подлежит с конфискацией,
Полулегал.

Мог он послать прямо к чертовой матери
Даже царей.
Сам он считал, всем назло, императором
Алчный пырей.

В жизни, цыганской примерки и вытачки,
Как бедокур,
Капал, цурчал он в сосуд, как по ниточке,
Цур-р да все цур-р!

В землю стучал то киечком, то посохом,
Мол, отзовись!
Собственный был интерес к философии
Или каприз?

Просьбой старушек и дедов не брезговал —
Утром иль днем
Воз где с дровами тянул, где с обрезками
Вместе с конем.

Нет, не стеснялся, и в патлах с соломою,
Франт и бунтарь,
Крался под утро то в спальню салонную,
То в будуар.

Кто замолчать и скрывать там пытается?
Разве забыл? —
Для партизан при сплошной ампутации
Морфием был!

Знался с больницей, коврижками житними
И чердаком.
Ходит, слывет средь людей долгожителем
И чудаком!

* * *

Как будто сыплется сухой горох
Или из топки спекшиеся угли, —
Когда полесский слышу говорок
С невозмутимым оканьем округлым.

И, видя леса ближнего зубцы,
Где пахнет и дождями, и грибами,
Ядреных слов орехи-лузганцы
Я в торбу то гребу, то загребаю.

* * *

А деревья, что стужей застигнуты,
В спешке зимней накинув доху,
На сто пуговиц тесно застегнуты,
Что не могут совсем и вздохнуть.

И рябина, поземкой обвитая,
Хочет выудить, видно, секрет, —
Собрались ли посольскою свитою
В гости тронуться цугом карет?

А дохнет пуща давней былиною —
И пойдет в кронах треск да и щелк.
На плечах всех меха соболиные,
А под ними — атлас или шелк.

И хотя ветры-братья буянили,
Наломали тут щепок, там дров —
Перед пущей, как перед боярыней,
На колени стать каждый готов.

А под вечер метелица-скромница
На стогорлой дуде запоет, —
Будто саваном, ельник укроется
Да и вовсе из глаз пропадет.

Дым поднимется, будто над броваром,
Стежки все перевьет и шляхи.
А над ними — иль шапки бобровые,
Иль деревьев пущанских верхи?

* * *

Да! Вырастали крылья,
Дыханьем жил одним,
Когда провидца крыли
Сплошь матом площадным.

И разве только дерзость
В житейской суете
Годами душу держит
На жуткой высоте?

* * *

Был опрятно нерадивый,
Но прилежный ученик.
Начертил до середины
Жизни разной черновик.

Думал взяться за фуганок —
Пусть душа переболит!..
Не успел после Афгана
И строки перебелить.

* * *

Эти ягоды в глубинке,
Где багульник не исчез,
Костянику с голубикой
Поднесет в кошелке лес.

И тропинкою тенистой
Понесешь, как из гостей,
Будто россыпь аметистов
Иль агатов сто горстей.

* * *

Твоя звезда средь звезд
Горит и не забыта.
Она, как будто гвоздь,
Надежно в небо вбита.

Проходит бытие
Не в стороне, а рядом,
Цепляясь за нее
Прямым и жадным взглядом.

* * *

Бываю очень груб,
Неподотчетен, ибо
Уходит часто вглубь
Эпохи вещей глыба.

Она скале под стать
И светится, как домна.
Ну как ей воссиять
Из глубины бездонной?

Пожар

Пожар, как ярмарочный торг, —
То вверх рванет, то вниз опустится.
А пламя сплошь глотает торф
Возле ольхи — сиять искусницы.

Горячим дымом среди дня
Сосна укроется, как тогою.
И, будто в прорву, что без дна,
Летят коряги осьминогие.

И хоть глазам своим не верь, —
Неужто ведьмою подкупленный,
Огонь взлетит, как хищный зверь,
И оголит деревьев куполы.

И брагой — вот он, чертов дух! —
Дохнет трясина, будто бражница.
Сплошь голосами молодух
Перекликается и дразнится.

Торф ветры гонят, как помет,
С березы лист слетает брошкою.
Глядишь — как будто артналет
Прошелся с яростной бомбежкою.

И пустошью, где куст, как тень,
Стоит с обугленными пальцами,
Бежит босой, в ожогах, день,
Покуда в бездну не провалится.

И там, как черт или изгой,
Без препирательства малейшего,
Не жар, а жемчуг кочергой
Берется с ходу перемешивать.



СЕРГЕЙ ЛАПЦЕВИЧ

Два рассказа

Прогресс

Он возвращался в город, в котором не был двадцать лет. Умиленно глядел из хорошо протопленного мягкого вагона на желтые леса. Выпив чаю, съев бутерброд с румяной бужениной, прилег на уже заправленную постель (все же СВ!). Прикрыв глаза, попытался вспомнить что-нибудь особенно важное о городе, в который ехал, — в предвкушении колокольчиком затрепыхалось сердце, — но ненароком уснул, а проснулся от стука в дверь. Проводница: «Подъезжаем, я заберу стакан». Вместо мелочи сунул бумажную купюру, махнул рукой — сдачи не надо.

Чувствуя бодрость и пружинистую силу (от интриги, ожидания, от нежелания пока формулировать), с удовольствием умылся и, взяв сумку, тщательно проверил документы, деньги, обратный билет (это он делал скрупулезно, по многолетней привычке командированного с подчеркнутым вниманием к каждой бумаге), что тоже придало настроения, снова уселся у окна. До прибытия было еще минут пятнадцать, и поезд, раскачиваясь и грохоча по лабиринту путей, ехал мимо расписанных граффити унылых бетонных заборов и прочей грязноватой железнодорожной местности, за которой — поверх, будто прямо с небес, грянул шпиль горделивого собора на холме, затем еще один, затем с моста (уже на другой плоскости и ниже) — целая улица, еще грустная, привокзальная, с простенькими кафе и не особенно яркими магазинами, рассчитанными на поток, а не на индивидуальность, но с мощенной булыжником мостовой, с лепниной, с завитками железных балконов, обреченная терпеть спешку, но все же ведущая к куполам. Чудесным образом стало распогаживаться, и когда он ступил на перрон, над ним, как на рекламном плакате, уже было пронзительно голубое небо.

Еще в вагоне, прогоняя сентиментальность, которая неизвестно куда могла завести (да, собственно, уже вела), он построил план этого дня: сейчас в гостиницу, бросить вещи, потом в офис — сначала работа, если надо, допоздна, сегодня все успеть, а завтра в город. Поначалу так все и шло, его встретил улыбчивый молодой менеджер, которого он не знал в лицо, но помнил голос из телефонных разговоров, и еще тогда усвоил, что говорить быстро с ним не стоит. Он из того поколения, которое плохо знает русский, но шутки понимает, и это не от знания языка, а из-за общего «профессионального» менталитета, который, видимо, имеет свое эсперанто и не зависит от географии. Заехали в гостиницу, она располагалась как раз на той улице, которую он разглядывал, подъезжая к вокзалу. Несмотря на внешнюю неумытость, внутри гостиница оказалась вполне сносной: трехэтажное здание, все перестроено, от прежней планировки только высокие потолки, теперь они обшиты пластиком,

в них празднично, даже днем, сияют многочисленные лампы. Три звезды, в холле — платный интернет, бара нет — кофейный автомат, зато включен завтрак в старинном ресторане напротив. Большой номер с двуспальной кроватью, на стене новый телевизор, в ванной фен, отопление еще не включили, но в шкафу запас одеял. Из минусов — окна выходят во двор-колодец, там парковка и мусорный контейнер, в котором копаются бомжи, поэтому шторы лучше закрыть.

Снова улыбчивый менеджер, по дороге в офис он попросил его проехать через центр:

— Не был здесь двадцать лет, а когда-то бывал чуть ли не каждый месяц, — сказал громко и разборчиво, как на диктанте для школьника.

— О, теперь это другой город! — отозвался молодой менеджер. Гордость в его голосе задела.

Но то ли город и впрямь так изменился, то ли память подводила, но он действительно мало что из него помнил. Хорошо помнил друзей, разговоры, события, а вот дома и улицы напрочь забыл. От всего города в целостности сохранилось лишь несколько зданий, из которых от силы можно было составить небольшой квартал. Но куда подевалось остальное? Где, например, вот этот дом — сгорбившийся рыцарь-старичок под массивными латами черепичной крыши, с крохотным флигельком-головой? Где эта улочка, которая начинает, как золушка, в копоти и на задворках, а заканчивает, как принцесса, в золоте и почете? Их нет. Память ничего не сохранила, подменила какими-то другими. За двадцать лет выстроила собственный город, который был лишь собирательным заповедником его архитектурных приоритетов. Или в молодости ничего из этого вообще не важно, а важны только люди. Их он помнил очень хорошо. Часто беседовал, до сих пор продолжал споры, прерванные уже много лет как. Почему? Тут он знал наверняка. И в этом была его доктрина. В соответствии с ней с какого-то возраста он стал систематически делать вылазки в свое прошлое. Где-где, а в нем он теперь ориентировался куда лучше. Посещая его, обходя его закоулки, в которых, кстати, жил не только он, а еще масса других людей (и это очень важно в понимании прошлого — понять, что не только ты его хозяин, а еще и все эти люди), он хотел избавиться от тайн и неясностей. И делая это, он избавлялся от мучительной, иногда даже непереносимой грусти по прошлому, от недовольства днем сегодняшним, так как в прошлом, по пристальному рассмотрению, он находил не меньше изъянов; опять же, ответы давали возможность поверить в прогресс, в то, что его жизнь обогатилась новыми ответами.

Мудростью? Хотелось бы и так.

Машина въехала в тоннель, которого точно раньше здесь не было. Не длинный — может, на минуту езды. Вряд ли он был нужен здесь, в небольшом городе, а если и нужен, то скорее для какой-то иной, чем обычная функциональность, цели. Потому что проходил он отнюдь не под какой-то огромной горой (гор тут никаких не было), а под холмом, на котором располагался старый городской парк. Вековые деревья, дорожки, скамейки — раньше дорога плавно огибала его, делая при этом небольшой крюк, а теперь протыкала, как игла в коллекции протыкает муху.

Ответ он нашел сразу по окончании тоннеля. На выезде открывался вид на городскую реку и несколько небоскребов нового сити, частью урбанистического пейзажа — его входом, вратами — и являлся сверхсовременный тоннель. Что касается прямолинейных черно-зеркальных истуканов-небоскребов, то их расположение рядом с кружевами церковных куполов и неровностями покатых крыш старого города было уже не раз им виденной

новомодной традицией европейских городов. Эдакое подчеркнутое соседство старого и нового. Преемственность? Нет, скорее сосуществование. Попытка примирения непримиримого.

— Нам туда? — спросил он про небоскребы.

— Нет, там дорого, — отозвался с улыбкой менеджер. Вместе с негативной оценкой в его интонации бесспорно звучало уважение. — Мы снимаем офис в другом районе. Тоже престижном, но дешевле.

Провожая взглядом оставшийся в стороне сити, он поймал себя на том, что ему тоже нравятся эти небоскребы, но нравятся не за то, за что их, должно быть, ценил молодой менеджер. Для того они явно были символом капиталистического настоящего его страны и открывшихся возможностей. Для него же эти небоскребы были символом времени вообще. Любых изменений. И ему нравилось сейчас, после двадцати лет отсутствия, сравнивать город новый и город старый. Сравнивать, как сравнивают современные глянцевые фотографии с померкшими давними. Опять же сравнивать себя теперешнего и себя тогдашнего. И при этом он чувствовал себя, как путешественник во времени из фантастического романа. Так, словно то время, которое он вспоминал — время его молодости, — никуда не ушло, и те люди, что в нем были, так и остались там, а он смог заглянуть за завесу времени.

Машина какое-то время ехала по бурелому эклектики 60-х и 70-х, въехала в район, стирающий само понятие архитектуры — в спальник 80-х, тут же свернула к новенькому торгово-офисному центру, как две капли воды похожему на десятки своих собратьев. Подземная парковка, первые этажи — кафе, боулинг, магазины, выше, этажей на семь-восемь — офисы.

Уже в лифте начали разговор о работе. Как и должно, молодой менеджер плохо отвечал на его вопросы и знал только о своей роли в проекте, не касаясь всего, что выходило за пределы его полномочий. Наличие множества подобных специалистов, не видящих, да и не стремящихся знать ничего, кроме своей специфики, — вот оно, капиталистическое настоящее. Матрица.

Глядя на менеджера, он подумал, что он такой, каким и должен быть. Джемперок в клетку, тоненький черный портфель с массивным замком в форме подковки, зауженные брючки, дорогие остроносые туфли. Наверное, два высших образования, во всяком случае, в его офисе молодежь была укомплектована именно так. Плюс кроме русского — один-два иностранных языка, какие-нибудь прослушанные семинары, диплом MBA II ступени, активные продажи и т. п. и т. д. Таких, как он, — миллионы. Везде. Любит поговорить о развитии, но на деле видит лишь то, что перед носом. Или современный мир так перегружен, что это нормально? Что даже еще совсем молодой человек устает в нем так, что уже ничего не хочет знать, найдя сравнительно спокойное для себя место?

Почему-то вспомнился разговор недельной давности с приятелем. Приятель был старинный, по сути единственный, который остался у него с молодости. Говорили об индивидуализме. Приятель сетовал на современность. Замечал, что индивидуальность еще не значит личность, а индивидуальное не означает талантливое, и как быстро индивидуализм пророс в нашем мире. Все стремятся сейчас быть личностью, но выходит одна только индивидуальность. И явно, индивидуализм — это некая форма свободы, но как ни крути, он не счастье, а одиночество. И получается, что за это боролись реформаторы?

В оправдание он ответил, что одиночество все же сытое, а это не так плохо.

В офисе его уже ждали. Пока они шли к директору через большой зал, разделенный стеклянными перегородками на ячейки, он заметил, как его рассматривают, заметил, что не все из этих взглядов приветливые. Послед-

нее как раз было понятно: кому нравится новое начальство? А именно его после покупки компании он представлял. Новые задачи, новые проблемы — они всегда только раззадоривали его! Уже знакомясь с директором офиса, с ключевыми менеджерами, которых ему собрали в единственном непрозрачном кабинете, он чувствовал, как просыпается в нем азарт, как, оказавшись в новом кругу, он начинает свой ритуальный танец — танец бойца, вожака, лидера. Правда, с учетом некоторых языковых трудностей танец этот оказался тоже чуточку замедленным, словно вместо искрометной джиги ему пришлось танцевать романтический вальс. Это несколько раздражало, но в целом он остался доволен и собой, и новым коллективом. По крайней мере, на контакт сотрудники шли. Некоторая натянутость была, но она естественна, тем более что офис все же нуждался в определенной перестройке. Это он понял, когда подошло время обеда, который он попробовал отменить, но прочел по лицам, что делать этого не стоит. Обед для сотрудников офиса был частью статуса и был так же важен, как одежда (с некоторыми вариациями все они были одеты в том же духе, что и встречавший его менеджер, — с иголочки). И хоть проходил обед здесь же, несколькими этажами ниже, в кафе, занял он, наверное, больше времени, чем того стоило. Менеджеры внимательно и долго изучали меню, за едой неторопливо беседовали на отвлеченные темы, над чем-то иронизировали, в конце со вкусом потребляли десерт. А потом еще какое-то время после — каждый на своем рабочем месте доделывали какие-то дела, и это был своего рода саботаж, и никто из них явно не спешил продолжить прерванное совещание. Ожидая, он понял, что так они цеплялись за свой уклад, подсознательно демонстрировали нежелание нового.

В результате продолжили уже ближе к четырем, а к пяти он признал, что окончательно выбился из графика и всего ему сегодня точно не успеть, и завтра, невзирая на планы, все же придется вернуться. Посему — сегодня можно уйти вовремя. Да он и сам хотел этого. Оставленный где-то там город звал, сулил, что-то нашептывал полузабытыми голосами...

Отказавшись от помощи, он доехал до отеля на такси, умылся, сменил майку и, спросив у портье о самом коротком пути к ратуше, но вместе с тем отказавшись от карты — не хотел походить на туриста, — отправился пешком в указанном направлении.

Как никакой другой, этот город был поделен на две части: одна уже отреставрированная, открыточная и рафинированная, другая — совсем ветхая, накренившаяся и поблекшая. Гуляя, он попадал то на типично туристические улочки, окрашенные в яркие цвета, с сувенирными магазинами, с битком забитыми кафе, в которых туристов было куда больше, чем местных (и тогда ему чудилось, что он перенесся совсем в другой город — какой угодно, и таких он повидал не один десяток), то в город, отдаленно похожий на город его молодости. Тот город, если бы не черепичные крыши, был бы совсем черно-белым.

Сейчас он скорее ютился рядом с первым и уже ждал своего часа, чтобы исчезнуть навсегда. Стать таким, как был когда-то? Возродиться? Конечно нет. Ведь когда его выровняют, побелят и покрасят, то сделают больше похожим на сувенир в сувенирной лавке, только в большем масштабе. И со временем всегда так: одно уходит, другое приходит, и то, что ушло, восстановить уже никто не может. Воссоздать — это пожалуйста, но уже как маскарад. Даже не музей. И это, наверное, правильно. Ведь музей состоит из экспонатов, уже проживших свой век вещей, бесполезных по сути, если закрыть глаза на их историческую или культурную ценность. А город быть музеем не может уже потому, что должен служить домом для людей, должен давать им кров

и хлеб, словом, должен заботиться о живущих в нем. Посему город обречен быть комфортным, и стало быть, обречен на прогресс. А это значит — изменения, смену поколений, смерть старого и рождение нового. Зачем же тогда он держится за воспоминания? (Даже доктрину себе придумал.) Что ему до его молодости? Ведь ее не вернешь! И не вернешь тех людей, с которыми он продолжает для чего-то говорить. Но, может, там осталось что-то важное, что понадобилось ему сейчас?

Уже несколько раз выйдя на ратушную площадь, он вновь уходил на опоясавшие ее боковые улочки и, пока бродил, обрел вполне конкретную цель — теперь он искал улицу Б... Хотя, кто такой этот Б...? Может, сейчас из героя он сделался антигероем, и улице дали другое имя? Собственно, из-за опасения оказаться посмешищем, эдаким пугалом из прошлого, он не спрашивал прохожих, а просто бродил и, когда попадалась очередная табличка на доме, задирая голову, пытался самостоятельно разобрать название улицы.

На той улице жил тогда их общий приятель, и они приезжали туда больше двадцати лет назад, и чтобы навестить, и чтобы переночевать. Приятель учился в его родном городе, но на лето возвращался к родителям. Лето. Собственно, в одно лето все и поместилось.

Кто они? О, их было много. Все разные, но одновременно — схожие.

Мишка Ионов — начинающий фотограф. Белла — художник. Стас Климов — трудно определить кто, всего по чуть-чуть, в большей степени, наверное, концептуалист, поэтому и художник, и скульптор, и поэт, и искусствовед — во всяком случае, все это переплеталось в его перформансах. Фил — музыкант. Леха Тритон — торчок, вовремя соскочивший с иглы, в то лето рисовал какие-то готические комиксы. Брат Лехи Андрей, самый младший из всех, не определившийся акселерат-бездельник, кое-как окончил девятый класс, впереди ждал десятый, и поэтому торопиться ему было некуда. Плакс — еврей, белорусский националист. Егор Милашевский — из высокопоставленной чиновничьей семьи, модник, весельчак, знаток анекдотов, любимец девчонок. Цапля — студент актерского факультета, депрессивный и молчаливый. Коля Лао-Дзы — филолог-востоковед. Гена Хайдеггер — философ, болезненно переживающий трагедию своей непохожести с прочими людьми. Он, много читающий, ироничный, думающий, наверное, в перспективе — писатель, но тогда он шутил, что до тридцатилетнего возраста никто из писателей ничего путного не написал, вот и он пока не пишет. Девчонки — Лада, Оля и Львова — студентки художественного училища. Лада была чрезмерно возвышенна, и явно за этим скрывался какой-то подвох. Оля — настоящая красавица, ухаживать за ней боялись, и, видимо, от этого она всегда была на взводе, на грани очередной истерики, которые часто бесконтрольно закатывала прилюдно. Львова — за ней как раз ухаживали все, и он в том числе в то лето был на какое-то время ее парнем. Львова, смуглая еврейская барышня, никак не могла остановиться на ком-то надолго. Заводя отношения, она в скором времени их разрывала, иногда и то и другое помещала в один день. Виной тому, видимо, являлись ее завышенные критерии, которые в том возрасте были, пожалуй, чересчур преждевременными. Уже тогда, в семнадцать лет, она, скорее всего, искала себе мужа, и он должен был понравиться не только ей, но и ее родителям. Венера, Динка и Кенгуру — хиппи. Окончив школу, они не стали продолжать учебу и вовсю наслаждались свободой. Кроме того, Венера писала похожие на Гребенщикова стихи, Динка любила секс и переспала со всеми, кто только этого хотел, а Кенгуру — о ней отдельно. Некрасивая, полненькая девочка, она жила в каком-то своем мире. Этим миром была вся огромная европейская часть СССР, по которой она непрерывно колесила

автостопом и, не задерживаясь нигде подолгу, за один месяц могла побывать в Киеве, Львове, Питере и где-нибудь еще. Везде у нее были друзья. Везде ее ждали и радовались ее приезду, а когда она уезжала — грустили. Но при этом она не связывала себя ни с кем из этих людей, и даже когда с кем-то держалась, то находилась на каком-то отдалении.

В то лето он тоже сдружился с ней и понял, почему она боится задерживаться где-то подолгу. Кенгуру была максималистом — требовательным, последовательным и бескомпромиссным. Жить рядом с ней было практически невозможно, посему, то ли ограждая себя от людей, то ли убегая от преследовавшего ее чувства неудовлетворенности, она и снималась с очередного места через два-три дня по приезде. У нее был свой метод, своя мудрость, свой ответ на множество вопросов — он сводился к перемене мест.

Ах, как легко ему давались сейчас характеристики! Какое поистине королевское преимущество он сейчас чувствовал! Прошлое, будто написанная книга, предстало перед ним, и он мог читать ее с какого угодно места.

Обдумывая их общность, он вдруг подумал, что та их компания никакой компанией не была. Тусовка — вот что это было.

Чем отличается тусовка от компании и зачем вообще понадобилось это новое слово, он тоже сейчас мог легко сформулировать. Компания — это несколько связанных очень личными отношениями друзей, а вот тусовка — нечто гораздо более широкое. Это общество, во всяком случае, попытка создать общество, альтернативное тому, что имелось вокруг.

И как просто и дивно тогда было все устроено, и не было более полного мира, чем тот их мир! И каждый вне его был малостью, одиночкой, по мнению другого, официального мира, — неполноценным обреченным отщепенцем. Но вместе — они были силой и, пожалуй, стаей (или стайкой?), во всяком случае, когда они были вместе, тот большой, официальный мир особенно к ним не совался.

Свобода — вот дар, который они получали, пока были вместе. Эдакое «Магдебургское право», дарованное их миру от мира большого в знак признания их общности.

Как они распоряжались ею? Щедро разбазаривали. Проводили время в разговорах, кафе, болтании по городу или уезжали сюда. Этот город, несмотря на то, что тогда они жили с ним в одной стране, был все же иностранным. Иностранным в прямом смысле: говорил на чужом языке, одевался, ходил — все не так, как у них. И, приезжая в него, они тоже становились чуточку иностранцами — подражали, хотели понравиться? — нет, скорее здесь им больше позволялось. Можно было, когда устал, разлечься в парке на травке. Можно было, сидя в кафе — скажем, в полдень, — хором спеть песню, и за это не только не быть препровожденными в ближайшее отделение, а еще получить поддержку от окружающих в виде улыбок или даже аплодисментов. Здесь даже их одежда — «прикид», их длинные волосы — «хаера», браслеты из бисера — «фенечки», самодельные значки — «пацифики», не притягивали косых взглядов. На них не показывали пальцами, им вслед не качали головами. И главное, в этом городе, во всяком случае лично его, отпускал страх. Страх, что ты индивидуален, что жизнь твоя пока не расписана на годы вперед, что рано или поздно тебе все же придется держать ответ.

Чаще всего они приезжали сюда по выходным.

Он тогда еще нигде не учился. Работал лаборантом в школе: нагло опаздывая каждый день, являлся на службу в десятом часу и в два уже был свободен. Но ему все сходило с рук из-за того, что устроен он был по протекции из гороно, где его мать занимала какую-то должность. Тогда он не поступил

с первого раза в институт, и понималось, что на такой несложной работе ему будет проще подготовиться на следующий год. Поступать же было необходимо, потому что в противном случае ему грозила армия, а о «закосить» не было и речи — путь к «белому билету» лежал через психушку, а это для него было уже слишком. Но одновременно, для того чтобы поступить, он тоже ничего не предпринимал, разве что раскладывал в своей комнате перед приходом матери учебники и с легким чувством исполненного долга уходил. А возвращался поздней ночью или даже утром.

С вокзала, а тогда их города еще были связаны электричками, шли до центра пешком.

По дороге обязательно пристраивались в какое-нибудь недорогое кафе на завтрак. Брали сосиски с горчицей — местный деликатес. В их городе сосиски были в дефиците, имелись только вчерашние заварные пирожные да бутерброды с позеленевшей вареной колбасой.

Запивали кофе. Его подавали в пузатых чашках в цветочек. Столы в том кафе были накрыты льняными скатертями. Ничего такого в их городе тоже не было. Во всяком случае, за ту скромную плату, что это стоило здесь.

...В разрозненных, будто сшитых из лоскутков, воспоминаниях он идет рядом с Кенгуру. Впереди — далеко обогнавшие их друзья. Должно быть, все вместе они идут на улицу Б...

Он рассказывает Кенгуру о фильме, который посмотрел неделю назад. Кенгуру как всегда внимательна, не перебивает, дает выговориться. Он чувствует, как дрожит его голос. В присутствии Кенгуру он всегда теряется, и это оттого, что она для него самый что ни на есть авторитет. Она — настоящая. Настоящая потому, что живет так, как считает нужным.

Слушая, Кенгуру улыбается лишь краешками губ. Эта ее, как у Джоконды, полуулыбка ему непонятна: то ли она улыбается его рассказу, то ли собственным мыслям.

Он старается говорить, как киновед, — логично и весомо. Говорит об идеальной свободе, которой, по его мнению, посвящен фильм. Подбирая слова, чтобы продолжить и чтобы связать этот фильм с другими картинами снявшего его режиссера, начинает говорить дальше, но Кенгуру перебивает его.

— Это говоришь не ты, — вдруг заявляет она.

«Она не слушает меня, — решает он, — или слушает так, как никто еще не слушал».

— А кто? — спрашивает он.

— Так говорят многие. — Продолжая улыбаться, Кенгуру дополняет: — И ты говоришь так, потому что так говорят многие.

— Я не понимаю, — делая вид, что злится на то, что она перебила его, отвечает он.

Тем не менее внимательно ждет продолжения. Все те, вроде бы очень важные, рассуждения о фильме становятся для него вдруг совершенно не важными. А важно лишь то, что дальше скажет Кенгуру.

— Не пугайся... Просто сейчас это не ты. И говоришь ты другим голосом.

«Как она догадалась? — в смятении думает он. — Это ведь и правда не я! А кто? Я не знаю. И всегда только ищу. И будто перебираю чужие интонации, чужие слова и мысли. И она права: что мне до этого фильма? Ведь я всегда мечтаю только о своем. И думаю только о своем».

Кенгуру внимательно следит за ним и видит, как прямо физически бегут по его лицу мысли. Так в солнечный день бегут по земле тени от плывущих по небу облаков.

— Ты такой... — она перестает улыбаться и замолкает. — Ты очень, очень хороший, — так и не найдя других слов, заканчивает она.

«Значит, я тоже настоящий?!»

Он счастлив. Он благодарен ей.

Как ни в чем не бывало он возвращается к фильму, и теперь говорит куда как весомее и увереннее. Даже Кенгуру больше не перебивает его, и хоть это она придала ему уверенности — теперь она слушает его чуть ли не восхищенно, и улыбка с краешков губ теперь заполняет все ее лицо.

Подходя к улице Б..., он под каким-то предлогом отстает. Украдкой рассматривает фигуру Кенгуру: ее полные короткие ноги, расширяющуюся книзу линию майки от плеч до бедер, давно не мытые русые волосы странницы, забранные на затылке в косу.

...В тот вечер компания отправилась гулять в город. В планах было посетить заброшенный монастырь, который предполагался как место для проведения очередного перформанса Климова. И все кто желал могли стать не только его соавторами, но и актерами.

Перформансы Климова имели одну особенность: они грешили абсолютной непродуманностью. Это и обсуждала по дороге компания, предварительно выслушав то, что Климов предложил как концепцию.

— Начинать надо, когда стемнеет. Зрители войдут в ворота почти в полной темноте. Фонарь у входа не горит, и мы дадим им ручной фонарик. Но только один на всех.

— Можно, я буду среди актеров?! — спросила Львова.

— Ты сначала узнай, что будут делать актеры, а потом напрашивайся, — вставил Милашевский.

Терпеливо дождавшись (а что ему еще оставалось?), пока тусовка закончит зубоскалить, Климов продолжил:

— Когда все окажутся внутри, в небольшом дворике их встретит черный монах. Он заберет у них фонарик и удалится, оставив всех растерянно ждать в темноте... ОЖИДАНИЕ В ТЕМНОТЕ! — восторженно и скорее для себя подчеркнул Климов.

Заинтригованная тусовка не перебивала.

Климов медлил, перед тем как рассказать про новую сцену, ему, казалось, не хотелось расставаться с предыдущей.

— Потом вокруг ожидающих одна за другой вспыхнут несколько бочек. Их бросили работавшие в монастыре строители. В них еще осталась смола... Яркий огонь осветит полуразрушенные стены храма и часовни. Будет ништяк, так как будет казаться, что развалины тянутся к небу. Стены ожили и в мольбе тянутся к небу. Ну а дальше вступит со своей группой Фил.

— Что мне играть? — спросил Фил.

— Ясно что — «Лестницу в небо», — ответил Климов.

— Я буду монахом... — предложил Милашевский.

— Нет, монахом должен быть Хайдеггер. А из тебя монах, как из Динки Джульетта, — заявила красавица Оля, на которую давно не обижались и скорее оберегали, позволяя ей многое.

— Согласен, — откликнулся Климов.

Мнение самого Хайдеггера не спросили, так как были уверены, что тому попросту безразлично. Не участвуя в обсуждении, он шел рядом, уставившись себе под ноги, и был целиком поглощен своими мыслями.

— Кем же я тогда буду? — спросил Милашевский.

— Ждущим в темноте! — съязвила Львова.

Тусовка заулыбалась.

— Все опять слишком абстрактно, — вступил Плакс.

— Ну да! А ты хочешь в конце размахивать белорусским флагом? — являясь его вечным оппонентом, ответил Климов.

— Пусть тогда девчонки будут у раскрытых этюдников! — пошутил кто-то.

— А Лао-дзы пусть читает вслух Дао!

— А Венера сыграет на свирели!

— А я буду фотографировать один и тот же ракурс!

— А Ольга пусть расчесывает волосы!

— А я буду Курящим в темноте!

— А я — Выпивающим!

Кроме Плакса и Климова, все вновь хохотали.

Пропустив шутки, Климов заметил, что идея с флагом — неплохая. Но пусть только Плакс размахивает белым флагом.

— Почему белым? — возмутился Плакс.

— Потому что белорусский здесь ни к чему.

— Может, и так, но зато это не так общо, как у тебя.

Между ними разгорелся спор. Тусовка вновь улыбалась.

Когда добрались до монастыря, выяснилось, что проводить в нем перформанс совершенно невозможно. Весь монастырский дворик мало того, что был завален остатками строительного мусора после начатого и так и не оконченного, явно брошенного ремонта, был облюбован местными алкашами. Под ногами хрустело битое стекло, у дерева мочился мужик. Хохоча и прикрывая носы, тусовка выскочила наружу.

— Не понимаю. Как я мог этого не заметить? — всю дорогу назад удивлялся Климов. — Хотя в этом тоже что-то есть?

Опять хохотали. Хохотал и Климов.

...В тот приезд родители их приятеля с улицы Б... уехали в отпуск в Крым.

По случаю того, что квартира оказалась свободна, решили закатить вечеринку. Ионов, Белла и Тритон были отправлены в магазин за вином. Девчонки — на кухню, где из заготовленной родителями на две недели провизии им предстояло приготовить роскошный ужин. Фил у проигрывателя рассматривал пластинки. Плакс и Климов демонстративно сидели по разным концам комнаты, листали какие-то выуженные из родительской библиотеки толстенные фолианты.

Он и Кенгуру говорили на балконе. Точнее, говорил только он, а Кенгуру слушала.

— Хочешь, поехали со мной? — вновь, как и в прошлый раз, перебила она его...

Разглядывая очередную табличку в начале узенькой улицы, одна сторона которой была монастырской стеной, а другая начиналась реставрационными лесами, опасаясь идти под ними, он ступил на проезжую часть и чуть было не угодил под автомобиль. Привыкшие к езде по извилистым тесным улицам старого города, водители здесь лихачили.

Виртуозно, за мгновение до наезда водитель успел нажать на тормоз и, терпеливо ожидая, пока турист уйдет с его пути, не выглядел ни испуганным, ни разозленным и, как только дорога освободилась, надавив на газ, умчался прочь. От этой самоуверенности водителя он тоже не испытал страха, но в этот момент словно проснулся и вдруг понял, что совершенно устал. Что никакой улицы Б... он сегодня не найдет, да ему и не надо ее искать. Ни сегодня, ни завтра. Потому что ее в этом городе нет. Потому что даже если и найдет, то не узнает. Или скорее не примет...

Развернувшись, он вернулся на ратушную площадь по дороге, которую теперь уже хорошо знал. Он больше ничего не вспоминал, а только любовался окрестностями. И его вдруг охватила беспечность, такая, какой он давно не знал.

На площади, устроившись в плетеном кресле у такого же плетеного стола в открытом кафе, он заказал себе пива и стейк. Пока дожидался, заметил, что на площадь стекается народ. Вскоре в кафе, в котором он сидел, были уже заняты все столики, и в кафе рядом было то же, и в кафе напротив. Даже за его столик, вежливо уточнив, не занято ли и можно ли присесть, подсела нарядно одетая молодая пара.

Поначалу удивившись такому столпотворению в обычный будний вечер, он, наконец, вспомнил, что сегодня — отборочный тур конкурса Евровидения, что, проходя несколько раз за этот вечер через площадь, видел, как посреди нее рабочие монтируют сцену с экраном. Сейчас рядом с ней появилось несколько угрожающе огромных, стоящих друг на друге и похожих на какое-то инопланетное оружие динамиков.

Как он забыл про конкурс!

Он пожалел, что пришел на площадь. Но перебираться куда-то в другое место уже не было сил. Да и выпитый им второй бокал делал свое дело. Конкурс для домохозяек — так, кажется, называли это мероприятие. «И сколько же их здесь собралось!» — оглядывая все прибывающую толпу, думал он.

Где-то на третьем или четвертом бокале он вдруг сформулировал, почему не уехал тогда с Кенгуру. Побоялся. Как и всегда, побоялся завтрашнего дня. И боялся и до этого, и после. И всю жизнь потом потратил, чтобы перестать бояться. Много работал, разбогател, получил независимость, но страх, выходит, остался. Только теперь он еще смешался со стыдом. Стыдом от того, что жизнь он потратил на то, чтобы оказаться сейчас тут (так получалось!), пить хорошее пиво, жевать хорошо прожаренный стейк и раздраженно глазеть на конкурс для домохозяек, обильно перча сарказмом и еду, и окружающих.

Где-то на шестом бокале, когда толпа вокруг, слившись в едином порыве, стала подпевать невнятной и смазливой конкурсантке, он решил, что первым в офисе уволит встречавшего его молодого менеджера.

Ах, как ему понравилась эта идея! Правда, утром, когда тот же менеджер вез его на работу, он вспоминал об этом опять же со стыдом.

Федор Михайлович

1

Федор Михайлович мне кого-то напоминал. Профессорский вид, белоснежные пышные кудри, бородка-копытце, чуть припухшие глаза. Это потом я узнал, что зрение у него отличное, а тогда решил, что он забыл очки.

Поначалу, по просьбе Нади, я стал его «поводырем». Предложил место рядом с собой. Отдал свой буклет. Указывая на присутствующих, перечислил имена и заслуги. Наша встреча проходила на открытии выставки известного художника, которого Федор Михайлович не знал, как, собственно, никого не знал в нашем городе и, вынужденно переселившись к дочери, которая водила его по врачам, даже в таком положении искал общения и не мог оставаться в одиночестве.

Представлять его самого кому-то не пришлось. После коротких вступительных слов, когда посетители рассыпались по залу, а я помахал приятельнице, которую не видел минимум год, он, к моему удивлению, уже оживленно беседовал с автором выставки.

Скорее довольный, я не стал ему мешать и, поглядывая со стороны, понял, кого мне напоминал Федор Михайлович.

Он походил не на одного конкретного человека, а на целую группу людей — людей известных, ярких, уже вошедших в историю и основательно в ней завязших. Было ли это сходство с ними нарочито с его стороны подчеркнутым, т. е. цитировал ли он их? Не думаю, скорее это было сходство внутреннего родства. Подбородок вверх, осанка, грудь расправлена, как бы с вызовом, а еще — руки. И хоть они у Федора Михайловича были совершенно обычные — ни жилистые, ни какие-нибудь особенно красивые и совсем не музыкальные, какая-то сила в них была. Я бы назвал ее артистической. Они то дирижировали, то грозили, то взывали, то, даже находясь в покое, завершали собой позу, как у памятника самому себе.

Пока я разглядывал Федора Михайловича, его и художника обступили посетители. Теперь, бегло обошедшие и сложившие собственное мнение о выставке, они с удовольствием готовы были слушать. Мы с приятельницей тоже подошли.

В тот момент говорил художник. Говорил, чуть заикаясь, с большими паузами, с трудом подбирая слова. Было понятно, что он растерян и в таком тоне говорить сегодня вряд ли собирался. Стоя под внимательным и требовательным взглядом Федора Михайловича, под его добродушной и какой-то милосердной улыбкой, казалось, что он отчитывается перед учителем. И было забавно, что он знаком с ним всего несколько минут. Я понял, что не только мне Федор Михайлович напоминает своих знаменитых прототипов.

Вдобавок к этому, наблюдая, как он слушает собеседника, мне вдруг подумалось, что одного содержания слов для Федора Михайловича мало. И он основательно, как следопыт, прислушивается и приглядывается к другому. К тому, что очень важно для него: в должной ли степени уважителен его собеседник к самому Федору Михайловичу? Понимает ли, кто перед ним? И это — не требовательность к почитанию его лично, а скорее искусства, которое он здесь представляет.

Наконец Федор Михайлович, отыскав в речи художника то, что хотел, уже куда как благосклоннее улыбаясь, перевел взгляд на его картины.

Выбрав момент, когда он остался в одиночестве, и скорее всего, ненадолго, я подошел к нему и поинтересовался, до которого часа он планирует находиться на выставке, и если надо, я могу подбросить его домой на своей машине. Должно быть, это было грубостью с моей стороны, потому что, задавая эти вопросы, я не задал промежуточных. Как ему здесь и что он думает? И получается, меня не интересовало его мнение. Это явно задело Федора Михайловича, и он глянул на меня так, будто я был лишь гидом принимавшей его стороны.

— Нет, спасибо, — отозвался он. — Вы езжайте. Когда надо, я вызову такси, — он показал мне свой мобильник.

Попрощавшись, мы расстались, и уходя, я ругал себя за резкость.

Уже в машине, наверное, из чувства вины за не выполненную до конца просьбу, я позвонил Наде. Иронизируя над отцом, она выслушала мой рассказ. «Что поделаешь, он такой, — подытожила она. — Спасибо, что помог. Ты не представляешь, как сейчас ему это нужно».

2

Впервые о Федоре Михайловиче я услышал два года назад, когда Надя только устроилась в нашу компанию и уже буквально через неделю попросила меня подменить ее в отделе на несколько дней. Она сказала, что ей

нужно срочно лететь к родителям, чтобы забрать сына. Вид у нее при этом был нерадостный.

— Что-нибудь случилось? — спросил я.

— Родители не отдают мне его.

— ???

— Такое уже было, они считают, что сейчас мне не до него.

— Может, они правы? — Зная, что Надя только-только вышла замуж второй раз и всего месяц, как переехала в наш город к мужу, я попробовал успокоить ее, предложив взглянуть на ситуацию с житейской точки зрения. — Обживись, освойся, а потом привезешь его.

— Нет, ты не понимаешь, он его потом уже не отдаст.

— Кто — он? — я с удивлением посмотрел на Надю.

Она стала рассказывать.

3

Имела бы история Федора Михайловича для меня такое значение, если бы не Надя? Скажем, узнай я о нем вне связи с ее историей. Вряд ли. Наверное, как и раньше, когда я слышал подобное, она вызвала бы у меня лишь восхищение и некое традиционное преклонение перед внутренними качествами Федора Михайловича. И, должно быть, взятую в отдельности, я бы ее попросту не понял. Да, именно присутствие рядом Нади меняло все. И пожалуй, эти два года я только и делал, что выбирал, чью сторону мне занять — отца или дочери. Отчего-то это было важно. Но, несмотря на внутренние колебания, понять Федора Михайловича мне было легче.

Поначалу Надя рассказывала историю отца и одновременно свою, потому что ей надо было кому-то выговориться, а кроме меня, в нашем городе у нее не было друзей. Затем — потому что говорить у нас вошло в привычку и ее история стала частью наших отношений, будто еще одним лицом, которое мы непременно должны были упомянуть.

Посвящая меня в подробности, Надя даже не столько советовалась, сколько проговаривала ключевые моменты, пытаясь, наконец, взглянуть на все со стороны.

4

Федор Михайлович не был злодеем, когда не отдал дочери сына. Его, как и меня, раздражал ее выбор. Талантливый художник, она уже имела в своей творческой биографии несколько персональных выставок, одна из которых проходила в Париже, вполне определенные перспективы продаж и даже московскую прописку, доставшуюся ей от первого мужа, когда случайно познакомилась с провинциальным доктором и, бросив все, в одночасье переехала в наш город.

Но вовсе не этот переезд задел Федора Михайловича, потому что он в свое время так же, как и дочь, бежал из столицы, а откровенное, прямо-таки страстное стремление дочери к незатейливому, на его взгляд, женскому счастью. И, переживая за дочь, опасаясь последствий этого шага, он хотел хотя бы спасти внука (уберечь от заразного счастья матери!). И таким образом повлиять на дочь. Так уж вышло, что личный след, который намеревался оставить Федор Михайлович, как ни странно, был связан не с его полотнами (в их жизнь после своей смерти он не верил), а с настоящим талантом, который он мог взрастить и оставить цвести и плодоносить после себя.

Долгое время он верил в дочь, а к моменту нашего знакомства стал возлагать надежды на внука.

5

Вместо игрушек в детстве у Нади были карандаши. К чести Федора Михайловича, лучшие карандаши — мягкие, отлично затачиваемые.

Вместо подружек — краски. Не какие-нибудь, а «Нева». Вместо вкусных конфет — книги. Часто в оставшуюся до зарплаты неделю семья ела один картофель и все, что можно было из него приготовить. Но в это время в доме, несмотря ни на что, могла появиться новая книга. Все понимали, что деньги на ее покупку Федор Михайлович занял.

Вместо летних поездок к морю были этюды. Вместо кинофильмов — альбомы с репродукциями.

В девять лет у Нади была первая выставка. Местное телевидение приехало снять репортаж, который затем перерос в короткометражный фильм.

Режиссерское открытие — чередование черно-белого кино с цветными детскими рисунками. Под приглушенную классическую музыку разговор журналистки с юной художницей. Журналистка шпарит по написанному. Черная водолазка, стилизованные под африканские глиняные бусы и прическа «а-ля Мирей Матье» — все это выдает в ней особу из сферы культуры. Ребенок одет по контрасту: теплые колготки, поверх дурацкая плиссированная юбочка, чуть коротковатый свитер с оленями. Патетический тон журналистки мешает разговору. Ребенок отвечает в том же духе. Вскоре устает от вранья и замолкает. Блуждает по комнате взглядом, убегает в окно. Камера устремляется за ним. Музыка становится громче. Осень. Прозрачный парк у Дома пионеров. Цвет.

«Надя, откуда ты берешь сюжеты?» — «Они мне снятся».

Это была неправда. Сны Надя видела другие. Обычные тягучие кошмары и еще — как летает. Про последние папа говорил: «Растешь». Однако ни тех, ни других она особенно не запоминала. А свои сюжеты придумывала, как придумывает профессиональный художник. Вживалась в пейзаж, тосковала в его скудности, чувствовала одиночество, и тогда просыпалось воображение. Воображение явило ангела.

Девочка-ангел трубила в дудочку. Девочка-ангел парила над шаром, внутри которого были деревья, дождь и башенка Дома пионеров. Лишь только ангел босыми ступнями касался шара, как в нем, будто в калейдоскопе, все смешивалось, и возникала новая картинка.

Что могла Надя рассказать журналистке про свои рисунки? Что они случайны? Или, напротив, что в них совсем нет случайного? И это — не игра неуловимого сна. А просто грусть, совершенно взрослая печаль по тому, чему пока не дано сбыться.

Наконец, уже в конце интервью, журналистка не выдержала, решила начистоту: «А тебе не хочется, как всем детям, играть и шалить?»

Надя осталась взглядом в парке. Она и не ждала, что ее поймут. При том, что, может, она и желала того детства, на которое намекала журналистка, она должна была теперь считаться с ангелами.

6

— Как ты могла все бросить? Зачем? Ради человека, который никогда не поймет тебя? Который и жертвы не видит в твоем поступке. Борщи варить и прозябать в офисе? — я не скрывал злости.

Надя улыбалась.

— Ты даже не представляешь, как мне хорошо. Мне впервые так хорошо! — Надя путалась в потоке неточных слов. Вила пантомиму руками. Рисо-

вала в воздухе брюхатые шары, наполняла их чем-то теплым. — Я чувствую себя такой живой. Понимаешь?

Тогда я еще не знал Надю. По-настоящему меня удивили эти ее слова позже, когда я связал их явный романтизм с прагматизмом, который наравне был важной частью ее характера.

7

Однако история Нади начинается вовсе не с ангела. Отсчитывать время следует с момента, когда Федор Михайлович, будучи сорокалетним, вполне состоявшимся человеком, бросил должность директора небольшой обувной фабрики и, разойдясь с первой женой, которая больше не желала мириться со странностями мужа, оставив ее с двумя детьми, перебрался из столицы в крохотный городок, где начал жизнь, противоположную той, что была у него до этого.

В течение первого года, сняв комнатенку на окраине, живя на остатки сбережений, львиную долю которых он оставил жене, Федор Михайлович писал. Потом, когда деньги закончились, устроился в расположенную неподалеку школу учителем рисования. Через год добился открытия в ней художественного класса. Еще через год был назначен ее директором. К тому времени он женился во второй раз. Его женой стала молодая художница, которая по распределению на три года приехала в этот городок, а встретив Федора Михайловича, осталась там навсегда.

8

Я часто размышлял над тем, был ли тот поступок Федора Михайловича таким уж вопиющим для него самого. Для меня и для всех посторонних — конечно. Ведь чтобы целиком посвятить себя живописи, в тот момент он бросил все: жену, детей, должность. И, променяв устроенный быт, любовь близких и уважение коллег на непонятно что, был, в моем представлении, чуть ли не мучеником от искусства, а для кого-то — форменным мерзавцем или сумасшедшим.

Но ведь Федору Михайловичу были свойственны подобные поступки, и никакими исключительными они для него не были. И те двадцать лет, когда он занимался живописью как хобби (теперь в это трудно поверить!), а в остальное время растил детей, отдавал себя работе: фабрике, на которую пришел рядовым художником-оформителем, а впоследствии дорос до руководителя, и прочее и прочее, — тоже являлись следствием некоего поступка. Давным-давно, когда Федор Михайлович был еще студентом художественного вуза, где-то на последнем курсе он сформулировал, что только художником ему быть мало, и он хочет, и это куда как важнее, быть творцом не только в мастерской, но и во всей жизни. Будучи сыном своей эпохи, а молодость Федора Михайловича пришлась на шестидесятые, он считал крайне важным участвовать в преобразовании окружающего.

9

— О чем ты мечтаешь?

— Об ангелах.

На этот вопрос Надя тогда тоже соврала журналистке. Она не мечтала об ангелах. Она жила среди них. Целыми днями они, как ласточки, кружили над ней. Были такой же реальностью, как листья и лужи. Она писала ангелов с натуры. А вот мечта у нее была другая — она мечтала о шторах.

Дело в том, что дом, который приобрел Федор Михайлович, был самой обычной деревенской избой. Узкие сени, большая горница, крохотная, без окон спаленка, она же детская. Чтобы играть или читать, Наде даже днем приходилось зажигать в ней свет, а играть при электрическом свете в комнате без окон — грустно. Поэтому все время Надя проводила с родителями в большой горнице. Ее Федор Михайлович превратил в мастерскую.

Через всю комнату по одну ее сторону тянулся сбитый из досок стол с лавками. На нем — забытый с вечера альбом с репродукциями, чашка с остатками чая, на газете — банка скипидара, в бутылке — букет отмокавших в воде кистей, кучкой дохлых рыбок — мятые тюбики из-под краски. Стены горницы украшали часто меняющиеся картины без подрамников, а еще — набухшие книгами тяжелые полки. Федор Михайлович гордился не только картинами и книгами, но и полками, потому что смастерил их сам. Посреди, занимая остатки свободного места, сводя с ума старенькую избу, как стадо африканских жирафов, паслась семейка этюдников. По другую сторону возвышалась русская печь, на которой спали Федор Михайлович и его жена.

В мастерской всегда происходило то, что и должно происходить в мастерской. Играть в ней Надя стеснялась и, разглядывая другие дома, видела в них главное отличие — на окнах других домов были шторы. «Значит, — понимала она, — их комнаты не похожи на мастерские, и в них можно играть».

10

Вот некоторые пункты биографии Федора Михайловича, которые после очередного разговора с Надей я записал для себя.

1939: год рождения.

1958—1963: учеба в художественном институте.

1963—1975: работа на заводе. Женитьба. Рождение детей.

1975—1977: Федор Михайлович соглашается на должность директора. Вскоре его постигает разочарование. Изначально, представляя себя чуть ли не Сперанским или Столыпиным для своего завода, он приходит к выводу, что если какие-то изменения и возможны, они должны происходить в больших масштабах и под действием более объективных причин. И принцип «тут заштопаем, а тут подлатаем» в его стране ничего не решает. Хотя одновременно только этим принципом ему и оставалось руководствоваться в течение недолгого пребывания в должности.

Явно понимая, что его собственная карьера состоялась не в полной мере, Федор Михайлович взялся за сыновей. Однако и тут у него ничего не вышло. Выросшие в благополучном, им же созданном мирке, дети не стремились его покидать. Оба сына с явным безразличием относились к любым попыткам Федора Михайловича увлечь себя чем-то более абстрактным, чем велосипед, футбол и марки, а на любое принуждение находили защиту у матери.

Мучаясь нормальностью своих детей, Федор Михайлович понял, что и впредь обречен лишь поддерживать в их мире тепло и покой.

1978: побег. Нужно сказать, что этот поступок, был продиктован не только неспособностью Федора Михайловича к компромиссам, но еще попыткой спасти сыновей. Ведь с его уходом должен был рухнуть их спокойный мир. Будто туман рассеяться, в новом мире должна была явиться другая, пусть жестокая, но истинная жизнь, которая скорее любого воспитателя могла повлиять на детей.

1979: Федор Михайлович познакомился со своей второй женой, и у них родилась дочь.

1982: в результате какого-то чудовищного инцидента в армии гибнет старший сын Федора Михайловича. Эта смерть парадоксальным образом придает Федору Михайловичу энергии и сил. Теперь он больше не сомневается, что окружающий мир нуждается в коренной ломке.

На похоронах, которые взяла на себя его бывшая жена, считая именно ее виновной в произошедшем, он даже не подошел к ней и, как-то скомканно и без понимания поговорив с младшим сыном, по окончании тотчас уехал.

В будущем его отношения с сыном так и не сложатся. Окончив институт, тот работал в каком-то НИИ, был женат, растил дочь и, как предвидел Федор Михайлович, никем выдающимся не стал, да и не стремился. Что до жены, то она вскоре вышла замуж, но и этот брак для нее не был счастливым: новый муж оказался пьяницей. Люди говорили, что он ее даже бил.

1983: опыт руководителя не прошел даром. Федор Михайлович сумел-таки доказать районному начальству, что художественная школа — это современно и актуально. В результате споров статус художественной школе, конечно, не присвоили — это было бы слишком для десятитысячного городка, однако в качестве эксперимента открыли художественный класс, а всему заведению придали эстетический уклон. Теперь кроме рисования в нем еще преподавали музыку и хореографию.

1985—1989: Федор Михайлович внедряет революционную по тем временам педагогическую методику. В ее основе положение, что каждый ребенок если не гений, то уж наверняка талант. И все дело в индивидуальности, и цель преподавателя и школы — эту индивидуальность раскрыть.

Странно, но только этим доктрина Федора Михайловича и ограничивалась. Развивая в детях чувство цвета и почти пренебрежительное отношение к ремеслу, дальше в своем преподавании он не шел, явно боясь задеть ту самую важную для него индивидуальность. В конце концов, кажется, что именно в таком виде — без груза академизма — он видел в них некий образ свободной личности будущего. И получается, вовсе не живописцев растил из учеников, а именно этих людей будущего. Будущего, каким видел его сам. Да и не нужно это — растить из всех живописцев, полагал он. А вот воспитать людей чувствующих, умеющих понимать красоту, — это казалось ему куда важнее.

11

Именно художником Наде надлежало быть рядом с Федором Михайловичем. При этом чем самобытнее и убедительнее становился ее талант, тем надежнее он защищал ее от отца.

Федор Михайлович был реалистом, Надя — явным абстракционистом.

Федора Михайловича интересовала только реальность, так как именно ради нее (ради создания своей реальности!) он пожертвовал многим в жизни. Надя, напротив, имея эту самую реальность уже как данность, с помощью своего искусства бежала из нее.

Чересчур формальные и декоративные приемы дочери раздражали Федора Михайловича, и чтобы спастись от давления и нападок отца, Надя была вынуждена оттачивать свои рисунки до мастерства, которое так поражало взрослых. Видя ее работы, первое, что удивляло, — юный возраст художницы и ее стиль.

12

Наверное, только Федору Михайловичу было известно, что в действительности значил тот костюмированный детский ход, который также был

помещен в короткометражку. Формально, по замыслу режиссера, им заканчивался фильм, и, следуя за интервью и работами Нади, он должен был указать на множество талантливых детей, которых растила школа, на правильность методики Федора Михайловича, а еще разбавить горький вкус одиночества, который оставался от разговора с юной художницей. Однако для самого Федора Михайловича, и это уже вне фильма, то шествие имело еще одно значение. Тогда он впервые вывел на всеобщее обозрение свою армию. Да, именно армию. Ведь в конечном счете Федор Михайлович мечтал об изменении мира, и значит, его ученики были его солдатами.

Больше недели вместо уроков рисования девочки под руководством жены Федора Михайловича трудились над костюмами, а мальчики вместе с учителем мастерили из фанеры, картона и фольги звезды, солнце и луну, и еще какие-то языкастые и раздвоенные, похожие на рыцарские, знамена.

Когда закончили, устроили показ. Он прошел по узким дорожкам школьного двора: вдоль болезненного вида кустов и яблонь.

Впереди «процессии» — единственный, чья одежда не претерпела изменения, шествовал Федор Михайлович. За ним — его жена, одетая не то в свободную греческую тунику, не то в исподнюю крестьянскую рубашку, только ярко-красного цвета. На ее голове был огромный, сплетенный из полевых цветов венок. Позади нее, выстроившись в колонну по одному, следовали в туниках остальные ученики. Весь эффект портило то, что у мальчиков из-под туник выглядывали школьные синие брюки (надевать туники без брюк они наотрез отказались). В руках ученики несли те самые, изготовленные из фольги и картона, помещенные на черенки от лопат символы природы— звезды, солнце, луну, и конечно, развевавшиеся на ветру — ветер и символизировавшие — раздвоенные знамена.

Выйдя из школы, «процессия» в полной тишине дважды прошла двор и вернулась обратно. После этого недоумевающих зрителей, состоявших из родителей и не участвовавших в шествии учеников, пригласили на выставку детского рисунка, разместившуюся в фойе. В объектив камеры попали только картины Нади.

13

Нужно сказать, что после того фильма у Нади и начались, или, скорее, усугубились проблемы со сверстниками.

Уже сам фильм указывал на причину разлада. Благодаря отсутствию явно выраженного собственного мнения, его авторам удалось снять настоящее кино, запечатлев тот момент почти с документальной точностью.

В фильме Надя подчеркнуто одинока, сплоченные же вокруг Федора Михайловича дети составляют собой группу. Надя уже занимается искусством. Дети заняты чем-то массовым и декларативным (искусство для них подменено на групповой порыв, на совместное сопереживание). Надя, скорее всего, и есть та индивидуальность, о которой так страстно говорит Федор Михайлович, однако в поисках ее создает обратное — коллектив, который вступает в противоречие с этой самой индивидуальностью. Все лучшее в Наде — от одиночества, все лучшее в детях — от их сплоченности.

Итак, не желая того, авторы вместо одного фильма сняли два. Один — про индивидуальность и одиночество, другой — про коллектив. В фильме они сосуществуют в прямо-таки смертельной опасности друг подле друга.

Надя никогда не говорила отцу о нелюбви одноклассников к себе. Да и говорить-то было особенно нечего. В открытую ее никогда не трогали.

Нелюбовь проявилась в отчуждении, в приглушенном шепоте, в косых взглядах и предвзятости. Надя не злилась на одноклассников, скорее стеснялась. Она чувствовала, как своими успехами невольно ранит детей. Она даже пробовала иронизировать над своими работами. Но от этого становилось еще хуже. Рядом с проповедями отца, который был для детей больше, чем учитель, за ее иронию над искусством, как над чем-то, по ее словам, не таким уж и важным, ее стали считать лгуньей и кривлякой.

14

Вот один из обычных дней, который впоследствии Федор Михайлович будет ассоциировать с лучшим временем своей жизни, а Надя — стараться забыть.

Зима. Вечереет. Оттого что в классе, где проходят занятия, очень тепло, узоры на окнах кажутся нарисованными.

Повзрослевшие со времени съемок фильма лет на пять ученики пишут у мольбертов. Довольный заданием, которое он дал, Федор Михайлович прохаживается между учениками. Кому-то делает замечания, кого-то коротко хвалит. На всех рисунках — одно и то же: морозное окно. Но насколько поразному каждый из учеников видит его! У одного на нем прямо святочная пляска цветов, в нем угадываются наряженная елка и водоворот движения в преддверии праздника. Замерев, Федор Михайлович, как с готовящегося блюда снимает пробу, щурится, причмокивает от удовольствия. У другого узоры напоминают невиданных белых медуз, словно окно это — необычное и через него видна фантастическая ледяная страна. У третьего на стекле старинный, такой ткут бабки, орнамент. У следующего или следующей окно похоже на ежа и даже имеет глазки, которые смотрят прямо на тебя. Несмотря на то, что все окна разные, есть в них нечто объединяющее. Все они хоть и хороши по замыслу и цвету, однако по сути — те же, что и пять лет назад, детские рисунки. Рассмотрев и улыбнувшись, недоуменно видишь рядом рослых подростков. Их лица отрешенные, как у монахов. Глаза слезятся наивной, тоже детской, радостью. Невольно думаешь: каково им будет во взрослой жизни? Хочется помочь, но как? Любые слова о будущем ранят их. Лучше бы оно не наступало. Зачем оно им?

Надя, хоть и рядом, но чуть в стороне, ее мольберт в самом углу у стены. Она уже девушка, она будто распустившийся цветок. Только Надя боится этого цветения и, должно быть, от этого еще более замкнута. Понимает ли она, что красива? Наверное, и уже с осторожностью пользуется своей красотой. Многие мальчики в классе безнадежно смотрят в ее угол. Она или не отвечает им вовсе, или глядит, как старшая сестра, и скорее на их работы, будто спрашивая: «Ты хочешь узнать мое мнение?» В отличие от Федора Михайловича, они не вызывают у нее восторга. Наоборот, она встревожена их инфантильностью, не в силах что-либо объяснить, она возвращается к своему рисунку. Вновь сосредотачивается на точных линиях.

15

1994 год. Новая Россия. Ввиду плачевно низкого уровня знаний и, как следствие, ничтожного процента поступлений выпускников в высшие учебные заведения, эксперимент в школе, в которой преподавал Федор Михайлович, был признан неудавшимся. Сразу после получения приказа о расформировании художественного класса он подал заявление об увольнении.

Нет, он вовсе не собирался тогда уходить. Когда писал заявление, был уверен, что на его поддержку поднимутся родители, общественность города, те же СМИ, которые были частыми гостями в школе. Однако ничего такого не случилось. Было не до него.

Переживали и волновались по другому поводу. Бандитизм, хаос, борьба за выживание, неуверенность в завтрашнем дне. Рядом с учителем тогда остались лишь его ученики.

И опять это только придало сил Федору Михайловичу. Теперь, чувствовал он, было уже не до индивидуальности, ее как раз было в избытке. Она, вмиг освобожденная, на его взгляд, не готовая к свободе, как раз и представляла угрозу. Не обремененная образованием, индивидуальность была, по его мнению, чуть ли не главным злом новой эпохи.

Теперь он грезил традициями и академизмом, преемственностью и ремеслом. До того особенно не интересуясь политикой, причислил себя к сторонникам монархизма. Чтобы напомнить людям о чем-то большем, чем они сами, обратился к истории. Задумав создать музей родного края, стал изучать архивы, встречаться с краеведами, отправился с учениками в экспедицию, написал цикл работ «Уголки родной природы», в которых описал характерные особенности пейзажа, отличавшие его край от любого другого уголка земли.

Через год Надя уехала поступать в художественную академию в Санкт-Петербург, однако вместо этого подала документы в архитектурно-строительный институт.

Предательство дочери, а именно так Федор Михайлович отнесся к ее решению, стало для него еще одним доказательством верности его теории относительно «индивидуальности». Теперь ему было ясно, отчего дочь вызывала у него опасения. Она с самого детства была истинной индивидуалисткой. Федор Михайлович тогда с легкостью смешал и впрямь мало различимые понятия индивидуальности и индивидуализма, выделив в них общее: своеволие, гордыню и нежелание считаться с мнением окружающих.

Забавно, но еще недавно именно эти качества он считал необходимым условием существования таланта.

16

Надя виновато рассказывала, что именно тогда у Федора Михайловича появилась та категоричность и бескомпромиссность, с которой он не расстался и по сей день. Понятно, что причиной этого она считала себя. Даже сейчас, возвращаясь в прошлое, корила себя, будто что-то могла изменить.

Рассказывая, она уверяла, что это из-за нее Федор Михайлович порвал тогда с учениками.

К тому времени их осталось с десяток. Самые стойкие, они были рядом во всех его начинаниях: участвовали в ремонте выделенного городскими властями под музей подвального помещения, даже подрабатывая то тут, то там, разделяли с ним какие-то финансовые расходы.

Будто правящий в смутное время монарх, Федор Михайлович гадал, от кого из них вслед за дочерью ждать обмана. Стал не столько требовательным, сколько подозрительным. В задумчивости видел сомнение. В отстраненности — враждебность. В молчании — безразличие. В одночасье изменился и его взгляд на способности учеников. Требуя от них техники, которой когда-то принципиально не обучал, Федор Михайлович скоро отбил у них всякую охоту к творчеству. Своей раздражительностью и недовольством заставил усомниться в себе, и как следствие, в правильности выбора пути.

Вскоре он остался один.

Я не стал разубеждать Надю, что, возможно, все обстояло иначе, и дело вовсе не в ней, а в том, что таким образом Федор Михайлович сознательно избавился от учеников. И не поступай он так всякий раз, когда оканчивался очередной его жизненный этап, он попросту не смог бы примирить в себе свои крайности. И все дело в очень серьезном отношении к себе, из-за которого Федор Михайлович не умел и не хотел признавать свои ошибки, а без подобного признания или даже покаяния его близкие не приняли бы его изменений или, того хуже, посмеялись бы над ним.

Даже сам Федор Михайлович внутри себя не любил касаться этой темы и относился к себе вчерашнему (и тем более позавчерашнему) как к совершенно разным людям, вызывавшим у него чуть ли не презрение.

17

На мой вопрос о том, не жалеет ли она о выборе своей профессии, Надя буквально ответила следующее: «Если бы ты видел, как мы жили, то все бы понял. Денег у нас практически не было. Мама подрабатывала тем, что вела детскую студию. Ее заработка с трудом хватало на пропитание. Папа о деньгах вовсе не хотел слышать. Он был уверен: того, что есть, вполне достаточно и растрачивать себя еще на какие-нибудь подработки чуть ли не грех. Я не знаю, сколько экономила мама, чтобы собрать на билет, но чтобы отправить меня и дать на устройство, ей пришлось занимать».

Первое время для Нади было самым трудным. Чтобы она ни делала, повсюду чувствовала незримое присутствие отца. Он так и не задал ей вопроса относительно причин ее решения стать архитектором, но в общении с ней всем видом демонстрировал разочарование, которое испытал от ее поступка. Когда Надя, гостя дома на каникулах, помогала ему в музее, он принимал это как должное, давая понять, что этим дочь ничего не изменит.

Наверное, оттого Надя так поспешно, и может, даже чересчур, взялась за создание своей новой жизни, что поняла — никакие расстояния не избавят ее от влияния отца. Она рассказывала, что уже через год у нее все стало налаживаться. Она начала зарабатывать — писала городские пейзажи и продавала их по дешевке перекупщикам на Арбате, потом завела знакомства в галереях и стала писать под заказ декоративные картины, затем, уже на третьем курсе, все еще продолжая работать для галерей, устроилась чертежницей в архитектурную мастерскую, вскоре стала предлагать свои решения по интерьеру и дизайну, получила собственные заказы и, наконец, за год до окончания института открыла с однокурсником свою собственную мастерскую.

Федор Михайлович принял эти ее изменения сдержанно. Ему, конечно, льстило, что у дочери все складывается так быстро и хорошо, и в этом, бесспорно, была и его заслуга, но вместе с тем он все ждал, что она, наконец, начнет писать для себя. Не для продажи, без осторожничанья и оглядывания по сторонам — будет ли это иметь спрос, поймут ли? — а именно для себя. Самозабвенно, как хочется, и так, чтобы враз изменить мир! Но этого как раз и не было. Картины Нади оставались прикладными и декоративными, и Федор Михайлович вдруг понял, что дочь вовсе не собирается ничего менять. «Но не может быть, чтобы ее все устраивало!» — злился про себя он.

Поначалу втайне от Федора Михайловича, а потом открыто, Надя стала помогать родителям материально. Сперва это были разовые покупки — холст, кисти, краски, затем она уговорила мать принимать деньги ежемесячно. Наконец, даже купила им дом. Их старый уже покосился, почти уткнулся окнами в землю, и делать в нем ремонт было дороже, чем купить новый.

Надя обставила его по своему вкусу, оборудовала для Федора Михайловича настоящую мастерскую, привела в порядок участок, вместо грядок разбила газон и поставила беседку.

Как отнессля Федор Михайлович к этой помощи? Как и прежде: как к чему-то неважному и больше необходимому самой Наде.

18

Замужество Нади на пятом курсе также можно расценить как один из тех поспешных шагов по устройству собственной жизни. Не думаю, что ею руководила любовь. Ее в этом браке не было вовсе. Надиным мужем стал тот самый однокурсник, с которым она открыла мастерскую. Не столько талантливый архитектор, сколько хороший организатор, он скоро наладил их бизнес. В нем Надя была ответственна за творческую составляющую, муж — за поиск клиентов, финансы и рекламу. Вскоре кроме дизайна интерьеров их мастерская занялась проектированием частных коттеджей. Однажды они выиграли конкурс по разработке проекта застройки целого поселка. Надя, понимая, что ей не хватит опыта, а также питая отвращение к какому бы то ни было авантюризму, без которого браться за столь масштабные проекты нет смысла, оставила за собой лишь небольшой отдел, который занимался внутренней планировкой, а все остальное доверила мужу.

Это случилось на пятый год их семейной жизни, когда у Нади уже был сын, а в престижном уголке Подмосковья строился их дом, и когда одна очень крупная газовая компания через модную художественную галерею выразила желание, из меценатских соображений и в целях декора своего офиса, купить картины молодой перспективной художницы — ее картины, тогда-то Надя и почувствовала, что несчастлива. С мужем к тому времени, кроме ребенка, ее уже ничего не объединяло. Из мастерской Надя давно ушла, но в деньгах нужды не имела, так как вполне неплохо зарабатывала живописью. Целыми днями муж пропадал то на стройках, то в офисе и, возвратившись домой ночью, уезжал чуть свет. Ему нравилось зарабатывать деньги. Чем больше их у него было, тем более значимой фигурой он себя ощущал. Наде же деньги были нужны лишь для устройства собственной жизни и жизни своих близких, и личностные вопросы она с ними не связывала.

Свое несчастье Надя связывала с отсутствием в ее жизни любви.

19

Я был не прав, когда посчитал поступок Нади с переездом в наш город взбалмошным и нелогичным. Надя невероятным для меня образом всегда умудрялась балансировать на грани расчета и чувств. Совершенно случайно познакомившись в тот год со своим нынешним мужем (он проходил в Москве какие-то курсы), она уже через месяц подала на развод и переехала к нему. Что касается первого мужа, то он расстался с ней совершенно спокойно, видимо, тоже имея не связанные с Надей планы.

Нельзя сказать, что подобные судьбоносные поступки давались Наде легко. Я помню ее переживания в первый год переезда, ту историю с сыном, когда, отправившись за ним, она вернулась через неделю одна. Помню ее чудовищный рассказ о том, что Федор Михайлович какими-то немыслимыми способами пытался оформить опекунство над внуком и даже собрал некие свидетельства сторонних людей о ненадежности и чуть ли не психической невменяемости дочери. Чтобы забрать у него ребенка, Надя обратилась за

помощью к первому мужу, который, надо сказать, сам побаивался Федора Михайловича и только с помощью своих юристов смог все решить. Удивительно, но даже это не сказалось на ее дальнейшем общении с отцом. И когда все снова стало налаживаться в ее жизни: картины продавались, она работала арт-директором в крупной строительной компании, а вместе с новым мужем пришла любовь, она опять стала бывать у отца.

20

Недели через две Надя попросила отвезти ее вместе с Федором Михайловичем в больницу. Она была вся на нервах и боялась управлять машиной. За несколько дней до этого у Федора Михайловича обнаружили в почках опухоль, однако доброкачественная она или злокачественная, определить не могли. Требовалось углубленное обследование, которое врачи настаивали провести в стационаре. Федор Михайлович ничего не хотел слышать, порывался уехать домой, и Наде стоило усилий уговорить его продолжить лечение.

Я приехал к ее дому чуть раньше, но прождал куда дольше назначенного и был удивлен, когда из подъезда вышла одна Надя. Глядя себе под ноги, она быстро подошла к машине, села рядом; по голосу я понял, что она плачет.

— Проводи его, пожалуйста, — попросила она. — Не хочу, чтобы он видел.

Вскоре из подъезда вышел Федор Михайлович. Я пошел к нему навстречу, кивнул. Он ответил мне улыбкой, вежливой и широкой.

— Вы уж извините, что отрываем от дел, — усаживаясь, начал он.

Слова эти прозвучали укором Наде. Та промолчала, и молчала всю дорогу. Что до Федора Михайловича, то он, напротив, как ни в чем не бывало болтал, всем своим видом показывая, что у него все отлично, а врачи и его любимая «дочура» все преувеличивают и только отрывают его от работы.

— Даст Бог, через три месяца пригласим вас на выставку в Москву!

Об этой выставке я уже знал от Нади. Собственно, готовила ее она. Втайне от Федора Михайловича сняла зал в одной столичной галерее и, соврав, что предложение поступило от известных галерейщиков, теперь помогала ему в подготовке буклета, афиши и каталога, а еще договорилась о паре хвалебных рецензий в прессе.

По дороге в больницу Федор Михайлович был заслуженно горд, сказал, что пишет тезисы, и на фоне этой подготовки укорял Надю за лечение еще больше.

— Может, невовремя ты затеяла эту выставку? — спросил я ее, когда, оставив Федора Михайловича в больнице, мы возвращались домой.

— Другого случая может и не быть, — ответила она.

21

Федор Михайлович умер за неделю до открытия выставки. Уже были отпечатаны буклет и афиша, Надя принесла их к нему в палату. Именно их он держал в руках в течение последнего разговора с дочерью и так волновался о каталоге, который как назло задержался в типографии, что даже не поглядел на качество уже готовой полиграфии. Потом ему стало хуже. Надя побежала за врачом, а когда вернулась, он был уже мертв.

Несмотря на похороны, Надя не отменила выставку. Те хвалебные рецензии, которые, в конце концов, сама и написала, разложив по конвертам вместе с известием о смерти, она отправила его бывшим друзьям, первой жене, старшему сыну, в школу, в музей и тем из учеников, чьи адреса разыскала.



ГЕОРГИЙ КИСЕЛЕВ

Созвездье Ориона

Дядя Саша

Год сорок первый. В избах — самогон.
Околицы гармониками спорят.
Мне третий год, и я не знаю горя,
Хоть плачут, плачут женщины кругом.

И, сапогами поднимая пыль,
Ребята водят девушек в кадрили.
А девушки с тоской поют о дролях,
Которым не вернуться на кадриль.

Мне весело. Гармошек голоса!
Как планки отливают перламутром!
Я не пойму, с чего это по пудре
Протягивает ниточку слеза.

В конце войны я что-то понимал,
Деля весь мир на немцев и на наших.
Сказали мне: «Гармошка дяди Саши,
А дядя Саша без вести пропал».

В конце войны ожгет мою ладонь,
Когда я в сундуке найду у бабки
Завернутую, как ребенок, в тряпки
Безмолвную, всю в плесени, гармонь.

Ах, время, время, ну-ка рассуди:
Когда июнь готовился взорваться,
Ему едва исполнилось за двадцать,
А возраст мой подходит к тридцати!

Глядят ребята сельские со стен:
Пилотки, гимнастерки и шинели...
И многие гармошки проржавели,
А многие рассыпались совсем.

Ах, дядя Саша, как я не хочу
Упасть лицом в траву чужих германий,
Пускай я не играю на гармони,
А на гитаре изредка бренчу.

Я сверток твоих писем достаю,
И вижу я — ты в грамоте не шибко.
А я пишу свободно без ошибки.
О, мне бы безошибочность твою!

О, мне наверняка бы знать — смогу ль
Я в площадном иль орудийном гуле,
Как ты тогда, вперед шагнуть под пули
И Родину закрыть собой от пуль!

Еще не кончен наш последний бой.
«Держись!» — с портрета ты кричишь безгласно.
И я держусь, как лейтенант запаса,
На подкрепленье призванный тобой.

1965

* * *

Два главных продукта — картошка и хлеб —
Кормили меня, когда пули свистели,
Питали меня во младенчестве лет
И каждою крошкою были при деле.

И видел я с печки, как баба в кути
Склонялась над плошкой при свете лучины,
Чтоб горсткой муки на лукошко мякины
От внуков голодную смерть отвести.

Упорствуя в скупости мудрой своей,
Зерно берегла на грядущие беды.
Не в силах от пуль заслонить сыновей,
Хоть внуков старалась спасти для Победы.

И ломок, и сер, он был все-таки хлеб!
И только из печи — лежал в полотенце.
И с этого хлеба я все-таки креп,
К Победе, как деревце, вытянув тельце.

Я это забыть никогда не смогу:
Колхозное поле с тропинкою волчьей,
И мама, на заступ налегшая молча,
И клубень, как мерзлая мышь на снегу.

И баба лепешки из них мастерит,
И голоду с нами сегодня не сладить!
Я тех, фиолетово-сизых на вид,
Не пробовал в жизни вкуснее оладий.

Наверно, с того мои кости крепки,
Что в них отложились на долгие годы
Мякинного хлеба белки,
Военной зимы углеводы.

1971

* * *

Играют, играют Шопена.
И грустные звуки летят
Волна за волной постепенно,
Накат за накатом подряд.

Играют и трогают душу,
И платы не просят с души.
Но помню я, помню «Катюшу»
В моей вологодской глуши.

Едва ли забуду, едва ли,
И тем благодарен судьбе,
Как бабы ее запевали
За прялками в нашей избе.

Хлебнувшие лиха в достатке,
В подругах опору ища,
Как будто хотели солдатки
Тоску искричать сообща.

Нутром выпевали, на форте,
С горячею верой — навек,
Чтоб там непременно на фронте
Услышал родной человек.

Как пели свекрови и снохи!
И, бабьему горюшку в тон,
Густел подголоском на вдохе
Размашистый скрип веретен.

Как пели, сморкаясь в подолы,
Не зная планиды своей,
Уже, может статься, и вдовы,
И матери без сыновей.

Та песня сегодня старинна,
Но в сердце сильна ее власть,
Ведь мама моя, Катерина,
В те годы Катюшей звалась.

1972

Созвездье Ориона

Пусть я жил мучительно неровно,
Но всегда, царапаясь лучом,
Странное созвездье Ориона
Восходило над моим плечом.

И волнует с детских лет доныне,
Хоть давно уж я не фантазер, —
Три звезды созвездья посредине
Выступают, как ночной дозор.

Достает до сердца каждый лучик,
И стоят всю ночь над головой
Три слезы — три штемпеля горючих
На конверте почты полевой.

Никакие беды не догонят:
Тридцать лет мне светят с вышины
Три звезды на золотом погоне
У отца, пришедшего с войны.

Но до самых звезд от темных улиц
Вдовий плач стоял, как зимний дым.
И не все отцы тогда вернулись
К дорогим ровесникам моим.

Где, в каком краю, на звезды глядя,
Что доныне нас тоской томят,
Ты лежишь — мой вечно юный дядя,
Без вести пропавший лейтенант.

И вокруг, уставши от заботы,
Под холмом уже, где зелен луг,
Спят бойцы твоей стрелковой роты —
В жизни спать им было недосуг.

И штыком трехгранным, вороненым
Осеняет камень иль жнитво
Странное созвездье Ориона
Над покоем дяди моего...

1972





ЕЛЕНА КОШКИНА

Это наше время

Рассказы

Только по необходимости

— Странно и обидно, — пожаловалась однажды Аня по телефону старшему брату, — что мне уже давно совсем не хочется выпить водки.

— Мне бы так... — с уважением сказал Василий.

— Ну да, — согласилась Аня. — Я ведь в последние годы пью водку только по необходимости. И только одна. Если меня приглашают в гости и начинают угощать, я всегда отказываюсь. Я отказываюсь даже в том случае, когда на скамеечке возле подъезда вечером после рабочего дня милые соседи настоятельно предлагают мне выпить полстаканчика.

— Наверное, тебе просто ни с кем не хочется ее пить, — предположил Вася.

— Наверное, — согласилась Аня. — Теперь уже больше ни с кем. Раньше было по-другому. Теперь я могу выпить водку только одна, только по необходимости или для здоровья.

— Необходимость ты себе сама устанавливаешь? — уточнил Вася.

— В общем-то да. Хотя бывает объективная необходимость.

— Я понимаю, — отозвался брат. — И ее ты устанавливаешь себе объективно.

— Не всегда, — ответила Аня. — Есть одна... — Аня замолчала, прижав трубку к виску. Она думала, как же это сказать то, что она думала.

«Есть одна-единственная водка, которую нельзя не выпить, — это та, которой ты поминаешь ушедших с земли родных людей. — Думала Аня с трубкой в руке. — Тут ведь просто ничего больше сделать нельзя. Совсем ничего больше. Когда пьешь за здоровье родных, за счастье и благополучие и так далее, можно выпить сок, воду, неважно что. Ведь в их здоровье, счастье и благополучие ты всегда можешь вносить посильную для тебя и подвластную тебе лепту, помогать всеми известными тебе способами быть здоровью, счастью и благополучию родных — и нужным делом, и нужным словом, и добрыми необходимыми мыслями. Правда, с мыслями надо поосторожнее, это дело очень ответственное. Оно неявное, а чем неявнее, тем ответственнее и осторожнее надо быть.

Конечно, есть опасность, что родные или твои близкие друзья обидятся, увидев, что ты не пьешь за их здоровье крепкий спиртной напиток, но всегда можно сделать вид, что ты себе наливаешь водку, а на самом деле налить водичку или бесцветный напиток. Даже если за тобой ведется пристальное наблюдение, можно тихонько поставить возле себя 2—3 одинаковые рюмки, одну из них вроде бы даже и не замечать, а на самом деле помнить, что именно там налито то, что ты пьешь. А в остальных рюмках пускай, если уж так надо, будет водка... А там уже — дело техники: как сыграть чуть-чуть приал-

коголившееся веселье, как вовремя пошатнуться и так далее. Короче говоря, умеючи и желаючи — выпутаешься...

А вот когда поминаешь ушедших родных людей, ушедших родителей — что сделать можно? Что — кроме водки? Какую лепту и куда внести? Какое дело и какое слово может искупить то твое зло и то твое равнодушие, которые были им тобою предоставлены в те живые времена, когда им нужно было твое теплое внимание? Нет такого слова. Нет такого дела. И как же тут без водки...

И все-таки хочу вам сказать, дорогие родители мои, что каждое злое слово, когда-то обращенное к вам, я теперь обращаю к себе. Слава богу, их, кажется, было не так уж много. Иначе меня бы уже не было на свете. А недобрых мыслей по отношению к вам у меня не было, к счастью. Только злые слова...»

— Я тоже сейчас о них думаю, — сказала трубка голосом брата. Аня встряхнулась. — Я тоже сейчас о них думаю, — сказал в трубку брат. — Я сейчас тоже о них думаю, — сказал Вася в трубку. — У тебя водка есть?

— Нет. Но я сейчас пойду куплю. Давай через десять минут.

— За десять минут ты успеешь?

— Конечно, магазин за углом.

— Через десять минут я позвоню, и выпьем, — сказал Вася.

— Да, через десять минут. Но ты уже не звони, дорого это все-таки. Ровно через десять минут. Вместе. Молча. Пока.

— Пока, — ответил брат.

Это наше время

Нужно ценить то, что есть сейчас. Например, с 8 утра до 9 утра. Потом осторожно приступить к благодарному отношению ко всему, что будет с 9 утра до 10 утра. И так далее, почасово, если повезет, до вечера. Вдохновенно сопроводив и поблагодарив все с 22 вечера до полуночи, можно попробовать уснуть.

А можно и нет. Ночь, если это спокойная ночь, — хорошее время, чтобы думать. Правда, занятие это трудное, если думать всерьез, крепко собравшись и собравшись надолго.

Не всерьез и вразнобой думать легко. Мысли с хрустом сменяют друг друга, и бывает, что от такого думания то сердце вдруг бешено заколотится и руки задрожат, то неожиданная ненависть очнется в душе, вырастет от неосторожной мысли о событиях, в которых она родилась когда-то, то, наоборот, внезапная беспокойная, очень концентрированная радость начнет голову кружить... В результате от такого суматошного думания приходится корвалол пить.

А вот по-настоящему думать получается только при одном условии: если все отчаянье свое, весь накопившийся страх, всю имеющуюся при тебе неоправдываемость твою — от прежних времен до нынешнего часа; всю психическую неуравновешенность, злобную раздражительность, абсолютно осознанную и уже чуть-чуть тебе подвластную двойственность твоего сознания, всю ненависть и обиду, сохраненные тобою из прошлого, собрать вместе, мирно собрать, без боя, без воинственности, без борьбы, вот тогда, при условии, что ты совладаешь с этой богатой коллекцией, вот тогда уже можно начать думать и...

...и за окном светает. На работу пора собираться. Хочется спать.

Весна в этом году странная. Весна без ручьев, без рассеянного сонного луча на подрагивающей талой воде, без принадлежащих только ей звуков, переливов, журчаний... Снега зимой не было. Весна всухую. 7:0.

И все-таки это весна. Аня идет по узкой, местами покрытой старой плиткой дорожке, слева — школьная ограда (местами — новая), справа — ряд роскошного необстриженного кустарника, и хотя еще листьев нет, он уже роскошный, потому что раскрылись почки и зелень радостно брызнула в пространство, забирая необходимое ей для роста тепло из воздуха и грея душу. «Чив ли я, чив ли я? Жив ли я, жив ли я? — Жив, жив! Чив, чив!» Выжили, дожили до весны. Выжили, дожили.

Каждый раз так думает она. Уже много лет месяц март проходит на этом трепетном, осторожно и потрясенно радостном: «Выжили, дожили...». Правда, когда-то оно начиналось раньше, сразу после Нового года. В январе появлялся в воздухе особенный, новый запах и начиналась для Ани весна. Весна по собственной инициативе.

«Проявляй инициативу, Аня. Не тушуйся. Не теряйтесь, Аня. Аня, не подавляйте свою личность. Будьте самой собой». Сколько раз раздавались эти милые советы доброжелателей. Небогатый набор слов, но стандартно убедительный. Интеллигентно, психологично, культурно. «Аня, внедритесь в ситуацию успеха». Повелительно.

А время идет. Спокойно, никого не слушая, идет так, как у него получается на этот раз. И стремглав пролетает весна.

Идет жара. Шаги у нее частые и короткие, как волосы на стриженой голове. Спастись от нее можно только в воде или в доме, если задвинуть занавески и широко открыть окна. А Анна сидит на скамейке недалеко от своего подъезда и с осторожной радостью думает о том, что ее, оказывается, еще можно узнать. Хотя казалось, что всему важному и нужному приходит конец.

Чему только не приходит конец...

— Приходит конец настоящему школьному образованию, — говорят Анины знакомые учителя.

— Приходит конец бумажной литературе, — говорит Анина двоюродная сестра Наташа. Наташа пишет повести и рассказы, успешно печатает их где-то и, видимо, знает, о чем говорит.

— Приходит конец легкости человеческого общения, — утверждает Алексей, и делает он этот вывод на основании того, что Ирина уже в семнадцатый раз отказывается выйти за него замуж.

Но не приходит конец времени. Не иссякает многообразие времени. Увеличивается число возможностей, которые дарит время человеку. И вот то время, которое идет сейчас для сидящей на скамейке Ани, осторожно звенит в усталом от жары воздухе радостным смыслом и вернувшейся необходимостью делать именно то, что она любит делать...

...очень любит делать.

«Что же я люблю делать?» — всматриваясь в вырезанные кем-то на спинке скамьи переплетения линий и пытаясь уловить в них смысл, спросила себя Аня. Возраст, в котором люди задают себе этот вопрос, наверное, должен быть ранним. Анин возраст уже был совсем не ранним. Но ей это почему-то не мешало.

«Я люблю встречать утром, вести с собою в течение отпущенных мне часов и провожать перед сном, пожелав спокойной ночи, каждый наступающий день. Ведь это мой день. Мой день приходит в мои руки». Такой ответ показался Ане наиболее точным. И подсказала его Ане сегодняшняя встреча с давным-давно не виденными ею Сашей и его бабушкой Лидией Макаровной. Точнее, этот ответ был повторением тех слов, которые сказала ей сегодня Лидия Макаровна.

Они встретились у Чижовского озера. Аня гуляла там, поджидая Мишу, отправившегося с утра в редакцию. Очень красивое и очень пока еще не ухоженное место: таблички вдоль берега предупреждали о том, что в воде захлестывает содержание бензопирена и всякого ядовитого месива. Но ивы, тополя, разношерстный низкорослый кустарник росли великолепно. По утрам, начиная с последних дней апреля, над озером большой белой лапкой умывался туман, постепенно отмывая себя до полной прозрачности. А вечерами там уже шатались и валялись множества матерящихся, отвратно хохочущих с тем же матерком взрослых мужчин и женщин, берущих с собой на «отдых» своих детей и с достоинством обучающих их своему способу жить.

На повороте от берега к тропинке, выводящей на Георгиевскую церковь, мимо Ани, навстречу ей, прошли двое. Через минуту она услышала: «Анна Васильевна!» Обернулась.

Только что прошедшие мимо нее люди, высокий, очень симпатичный рыжий взрослый парень и пожилая седая женщина, улыбаясь, возвращались назад, к Ане, и она тоже двинулась навстречу, пытаясь узнать, вспоминая, кто же это.

— Анна Васильевна, вы меня не узнаете? — мягко спросил парень, подходя.

— Пока не совсем, помогай, — ответила Аня.

— Ну, давайте вместе. Четвертый класс, лето, лагерь, вы едете с нами на кладбище, на воинские могилы. 22 июня, цветы, ну? Я выпросил гвоздичку, и мы пошли искать...

Мягкая грустная улыбка парня, очень подвижное его лицо, и такая же мягкая улыбка этой невысокой женщины, и то, что он сейчас сказал, — все это широко и гостеприимно распахнуло перед Аней прятавшиеся в воздухе ворота в тот день десятилетней давности. А в просвете ворот осторожно дышала радостным узнаванием сизая оторопь озера.

22 июня школьники ехали на Чижовское кладбище возложить цветы на могилы похороненных там солдат. Четвертый класс, незнакомые Ане дети, поехала она с ними по просьбе директора, чтобы помочь справиться с десятком мальчишек и девчонок классному руководителю. У каждого по три гвоздики.

Вышли из автобуса, построились и ровной волной влились в центральную заасфальтированную аллею. Рядом с Аней шел рыженький невысокий паренек. Он часто вскидывал голову посмотреть Ане в лицо, и Аня почувствовала, что он хочет спросить что-то...

— Как тебя зовут? — начала она.

— Саша. А вас?

— Анна Васильевна. Вот и познакомились.

— Вы у нас ничего не ведете, хоть и едете с нами.

— Нет, ничего. Я вас совсем не знаю.

Лицо у Саши легкое, подвижное, на нем мягкая улыбка и какая-то не отпускающая его внутренняя необходимость в чем-то.

Классный руководитель Алина Ильинична подвела их к сворачивающей влево тропинке.

— Вон, ребята, три гранитных памятника, видите, это наши могилы и есть. Подходите аккуратненько, положите цветы. Аня, сходи с ними, я вас здесь подожду.

Они подошли к военным захоронениям. Все положили цветы на плиты, развернулись и побежали к Алине Ильиничне, а Саша сначала три своих гвоздики положил, но тут же одну взял назад, выпрямился и очень серьезно стал смотреть Ане в глаза.

«Анна Васильевна, помогите мне», — сказал внезапно севшим голосом.

«В чем? Что у тебя произошло?»

«Я хочу маму найти, то есть, ее могилу. Можно мне один цветок оставить — для нее?»

«У тебя здесь мама похоронена?»

«Да, но я плохо помню, где. Был когда-то, давно, с бабушкой. Мама с нами не жила, так получилось. Помогите мне найти ее, идемте со мной, пожалуйста».

Аня смотрела в его серьезное, вмиг повзрослевшее лицо, смотрела и ни о чем не думала, знала, что сейчас пойдет с ним искать могилу его мамы, только вот остальных детей надо сдать классной...

«Сейчас, минутку. Постой здесь».

Не так просто оказалось договориться с Алиной Ильиничной.

— Куда-куда ты с ним пойдешь? — недовольно сдвинув брови, спросила она.

— Он попросил меня помочь ему найти могилу мамы. Так случилось, что он точно не помнит, где. Вон какие заросли всюду. За могилой никто не ухаживал, трудно ребенку одному разыскать что-то в этой травище...

— Ребенку? А ты знаешь, что это соповский мальчик из трудной семьи? За ним глаз да глаз нужен, он тебе врет все, кому ты веришь?

— Послушайте, уважаемая, — медленно, отчетливо, негромко, чувствуя внутри тихо закипающую ярость, произнесла Аня. — Я хочу ему помочь. Тем более, если он, как вы говорите, соповский мальчик. Поэтому сейчас я ухожу с ним в нужном нам с ним направлении, а вы берете остальных детей и спокойно едете в школу. Детей всего восемь, справиться с ними вам будет несложно. А перед директором я за свои действия отчитаюсь сама.

Алина Ильинична не нашлась, что ответить, только смотрела на Аню, приоткрыв рот и удивленно взметнув кверху брови.

По кладбищу им с Сашей пришлось поблуждать довольно долго. Мальвы, палевая «мусорная» мимоза, полынь, лебеда, чертополох, борщевик вымахали на кладбищенских пространствах очень большие. Как только Сашка устремлялся к новому замеченному им невысокому кресту, проглянувшему сквозь толстую, широкую, сочную листву всего сорнячьего великолепия, Аня внимательно вглядывалась, нет ли там кустов борщевика. А то ведь еще исполосует себя мальчишка ожогами от этого ядовитого, разросшегося повсюду господина полей, пустырей, кладбищ...

— Я помню, что на маминой могиле невысокий деревянный крест, — сказал Саша. Под перекладиной коричневая табличка с белыми буквами. А слева — рукой дотянешься — высокая стенка ограды, чьей-то чужой огра-

ды, она была зеленая, железная, три толстых столбика, а после них много тонких, я их рукой трогал, поэтому запомнил. Помню, я за них держался, когда с бабушкой давным-давно сюда приходил.

Эти-то три толстых, а после них — много тонких Аня и увидела первая и крикнула: «Саша, сюда иди! Посмотри, не эта?»

Сашка подбежал, перепрыгивая через низкие кусты насквозь искрапивленной дикой малины. Радостно кивнул головой, выдохнул: «Эта!»

Они вдвоем повыдирали сочный толстый сорняк, вдоволь пообжигались крапивой, расчистили прямоугольник земли, на котором стоял легкий деревянный крест с коричневой, покрытой налетом одуванного пуха, тополиного пуха, тонких стрелочек липового цвета дощечкой. Сашка положил на расчищенную могилу цветок, Аня стояла рядом.

— Это из-за наркотиков все, — сказал мальчик. — Из-за наркотиков мама ушла, оставила меня на бабушку, и умерла из-за них.

Постоял, поднял голову, посмотрел на Аню грустными, но уже успокоившимися глазами. Аня положила руку ему на плечо, и показалось ей, что знакомы они с Сашкой давным-давно и все основное друг про друга знают.

— Спасибо вам.

— И тебе спасибо. За доверие.

Аня проводила Сашку домой, к бабушке, вернулась в школу. Был разговор с директором, он все понял правильно, несмотря на то, что ему было доложено, будто Аня бросила детей и пошла гулять по кладбищу с соповским трудным подростком.

После этого дня Аня поняла три вещи: во-первых, как много, и как надолго много, значит один удавшийся день. Во-вторых, один удавшийся день может определить тональность всей последующей жизни. В-третьих, самые удавшиеся дни обеспечиваются самыми нематериальными условиями.

Начался учебный год. В пятых классах Аня ничего не преподавала, Сашу встречала в коридорах на переменах. Всегда расспрашивала его об учебе, и оказалось, что учился мальчик неплохо, ниже шестерок по нынешней десятибаллке за четверть не получал. Как-то в третьей четверти увидела в учительской на стенде Сашкину фамилию в списках учеников, вызванных на заседание школьного комитета по делам несовершеннолетних, — он был на учете неблагополучных семей. Дернулось сердце, Аня решила: пойду туда. Пришел Саша вместе с бабушкой Лидией Макаровной. Оказывается, парня решил прописать у себя в трехкомнатной квартире в другом районе города старший сын Лидии Макаровны, Сашкин дядя Игорь. Прописать у себя и перевести в школу в свой район. Нужно было решить, оставлять Сашу на учете как «неблагополучного» или снять. Школьная воспитательная служба опасалась освободить парня от этого небольшого, но все-таки неприятного клейма, и Анин голос оказался решающим: за то, чтобы снять с учета, оказалось на одного человека больше, чем против. Она сказала:

— Я уверена, что надо снять Сашу с учета, не нужно ему в новой школе начинать жизнь с такой безотрадной историей. Я за него ручаюсь, согласна взять на себя ответственность за это решение. Он нашей школе вреда и неприятностей не причинит. Он человек стоящий. Мы друг друга хорошо знаем. Мы познакомились в таком месте и в такое время, где и когда не бывает лжи.

Из школы они вышли втроем, рядом.

— Беги домой, — сказала Лидия Макаровна внуку. — Хочу поговорить немножко с Анной Васильевной.

Сашка посмотрел Ане в глаза, улыбнулся, помахал рукой и убежал.

— Спасибо вам, Анна Васильевна, за Сашу. Он перестал бояться чужих людей. Ведь вы были для него совсем чужая, а что получилось... После того июньского дня он понял, что в море чужих людей живут и обязательно в самый важный момент встречаются родные тебе души. Он перестал бояться себя, — продолжала она. — Понял, что относится к жизни правильно, думает правильно, поступает правильно. Стал себе самому доверять, кто бы что ни говорил.

Он перестал пугаться людского хамства, обращенного к нему. Научился не замечать, не обращать внимания. Спасибо вам.

Аня молча шла рядом с Лидией Макаровной и чувствовала, что лицо становится красным и горячим.

И вот теперь, через десять лет, они встретились.

— Как же я рада вас видеть! — сказала, наконец, сегодняшняя Аня. — А также рада, что меня, оказывается, еще можно узнать. Столько времени прошло... Ты где сейчас, что делаешь? — обратилась к Саше.

— Закончил колледж связи, тяну линии локальных сетей, теле-радиокоммуникации, такое всякое-разное. — Сашка, на голову выше своей невысокой бабушки, обнял ее за плечи. — Мы вас всегда помним. Всегда помним.

— Вот то время, Анна Васильевна, — сменила Сашу Лидия Макаровна, — когда вы были в одной школе и когда Саша рядом с вами учился не бояться чужих людей, учился строить свою жизнь, доверяя себе самому, — помните, я вам говорила? — то ваше время оказалось для нас настолько важным, что мы с Сашей иначе его и не называем, как «Время Анвас».

Есть такие связанные люди, которые разделены пространствами, родом занятий, стилем существования, но — чем бы они ни занимались — по сути они любят делать одно и то же: встречать утром, вести с собой и провожать каждый дарованный им день. Эти люди знают друг друга и дорогу, по которой хочется идти. Они живут, взрослеют, стареют, думают, чувствуют, работают и помнят друг друга, где бы ни были.

На скамейку опустился вечер, жара еще не утихла, только света стало поменьше. Ани на скамье уже не было, но воздух вокруг сохранял ощущение ее присутствия. Такой воздух появляется там, где связанные между собой люди ведут свои дни в путь добра и света. Жить дальше и быть узнаваемыми до конца.



Скоро весна...



ОЛЕГ КОНТУШ

* * *

Не простившись — расстаться.
Не умея — суметь.
Каплей влаги остаться,
Обратившейся в твердь.

Обрести и отречься,
Вознесясь — снизойти.
Уповая на вечность,
Затеряться в пути.

...И почувствовать свыше
Бессловесную речь,
Ощущая, как дышит
То, чему умереть.

* * *

Снег выпавший гребут лопатой,
Забыв о лете в январе.
И жизнь безнравственно богата
Постельной мыслью о весне.



АЛЕКСАНДР КРАМЕР

Ощущение

Снег едва на ветвях и дорогах улегся —
Выглянуло солнце,
И капель защелкала
Пронзительно и остро
По карнизам и стеклам.
Сосны и ели — в капели.
Струйками тонкими
По стволу старой березы
Текло ожившее прошлое:
Снегопады, морозы...
Отсырели
Белые снежные звезды,
Угасли.
Подобно клоунской маске,
День на две части
Распался:
Желто-синяя верхняя —
Тихая, улыбается,
Черно-серая нижняя —
Хлюпает, чертыхается.

Я распахнул
Метровую форточку настежь;
Холодною сыростью,
Хвоей пахнуло
И счастьем...
И дальнею болью кольнуло —
Предтечей разлук и ненастий...

* * *

К новой готовлюсь весне:
Отравленный сад убираю.
Хочу насладиться цветеньем.
Цветеньем... хотя бы...



ВАСИЛИЙ МЕЛЬНИКОВ

Скоро весна

Белый снег на зеленых ресницах сосны,
На реке льда зеркальную кромку
Сохранит ли февраль до прихода весны,
Собирая пожитки в котомку?

Еще юных берез льдом покрыты сердца,
И в лесу где-то прячется вьюга.
Но дворняга с прогретого солнцем крыльца
Смотрит ласково в сторону юга.

На перинах полей к первой стае грачей
Обнажатся узоры проталин.
И найдет путь к реке говорливый ручей,
Выселяя полевок из спален.

Спать не хочу...

Спать не хочу. Прошел бесплодно день,
Осыпавшись подмерзшим пустоцветом
На городскую стоптанную тень,
И пожалел потом в сердцах об этом.

Февраль решил шаманить до утра,
Взывая к духам, ударяя в бубен.
Для этого снег нашего двора
Вполне приемлем и легко доступен.

Я утеплил подушками софы
Окно, чтоб холод не пробрался ночью
В опочивальню молодой строфы,
По-женски благосклонной к многоточью...



НИКОЛАЙ СЕРДЮКОВ

Дядя Костя

Рассказ

Белоруссия, первая половина двадцатого века. Во многих деревнях жизнь еще очень глухая. Волы, лошади... Один на деревню трактор «Форузон» с ребристо-металлическими колесами, движок часто ломается. Ни «лампочки Ильича», ни радио. Даже я помню такую деревню, а дядя Костя из предыдущего поколения.

Однажды проснулись, а все окна завалены снегом. Дед попытался входную дверь в сенях открыть — не поддается. Никогда такого не было, посему входная дверь открывалась наружу. Издревле это, чтобы зверье не ворвалось. А вот одно окно в горнице, чтобы летом проветривать, держалось на петельках и открывалось как раз внутрь. Дед взял лопату, открыл окно, стал снег в дом грести. Бабушка подтянула к окну корыто, переваливала в него снег, утрамбовывала. Мало-помалу прорыл дед лаз, выбрался вместе с лопатой наружу и вскоре освободил входную дверь.

Вот, и такое случалось. Мужики, конечно, пробили по деревне дорогу, вернее, узкую тропу. Я помню, шел по ней, как в тоннеле, с двух сторон сугробы поднимались выше моей головы.

Дядя Костя рос намного раньше, еще глуше деревня была.

Урбанизация уже началась, молодежь охотно уезжала в города. Только вот кто ее там ждал, всегда ли можно было в городе лучше устроиться... Кому-то удавалось, и это означало, что человек проторил дорогу, как в снежную зиму, например. За счастливчиком тянулись другие: на хороший завод, в хорошее училище, а то и в высшее учебное заведение.

Кто-то из деревни уехал в Ленинград, поступил в медицинское фельдшерское училище и потом, на каникулах, рассказывал, до чего же хорошо там учиться. Несколько человек решили повторить его путь, в том числе и дядя Костя. Учиться, действительно, было хорошо, он осваивал профессию медика и уложился в отпущенное судьбой время, но сразу после училища оказался в окопах под Ленинградом с лейтенантскими петлицами и фельдшерской сумкой через плечо. Началась война с фашизмом.

Ужасы тяжелых боев угнетали психику неимоверно, и неудивительно, что молодой фельдшер стал искать возможности хоть изредка покидать окопы, ненадолго съездить в город. Такая возможность вскоре открылась: он транспортировал раненых бойцов в госпиталь. Был для этого выделен хилый грузовичок с водителем-солдатом вроде бы из разжалованных офицеров, которому было уже под пятьдесят.

Ездили с массой сложностей. Буксовали в грязи и снегу, с холодеющими сердцами пережидали авиационные обстрелы и бомбежки. Раненые стонали, кричали или заходились страшным кашлем, некоторые умирали в пути. Молодой фельдшер делал что мог, но велики ли были его возможности?

В городе тоже мало радостного. Известное дело, блокада. Беспощадные артобстрелы. Ходили слухи, что бандиты похищают женщин, отрезают у них все что есть мягкого и продают потом котлеты из человечины. Дядя Костя не мог оценить правдивость этих слухов, однако видел, как продают какие-то левые котлеты. Он их не покупал, поскольку продавцы требовали взамен не деньги, а драгоценности.

У дяди Кости (из приобретений) было несколько коробок сигар. Их подарил боец по фамилии Гладилов за пятьдесят граммов спирта. Так было дело... Пришел расторопный боец в избу, где находилась санчасть, обратился по форме. Слово за слово...

— А ведь у вас, товарищ лейтенант, можно за избой костерок разложить.

— А зачем? Санчасть сжечь?

— Нет... — Гладилов вытащил из-под фуфаечки сверток. — Заимел вот по случаю. Ну, в одном месте разбомбили машину... Не выдайте, товарищ лейтенант!

В свертке было два новеньких офицерских ремня.

— Есть у меня свой... — разочарованно буркнул лейтенант.

— Да я не про то. Сварить бы! Знакомцы мои из третьей роты пробовали, так знатный бульончик получается!

— Что-то вываривается из кожи?

— Точно!

— Ну, если небольшой костерок и осторожно... Вон в углу и тренога, и чугунок стоят. А дров сам поищи, боец...

Сварганил-таки Гладилов бульон, отлил половину в котелок лейтенанту. Тогда и дядя Костя расщедрился: набулькал бойцу пятьдесят граммов, хотя сам и грамма не слизнул.

В благодарность за разведенный костерок и глоток спирта боец через несколько дней принес коробки с сигарами. Грабанул он их в немецком блиндаже, однако сигары были из далеких краев, чуть ли не гаванские, крепкие-крепкие. Сначала дядя Костя думал оставить себе только одну коробку, остальные попытался в городе на что-нибудь выменять, но никто ничего толкового не предложил. Сам все выкурил. Оказалось, что десяток сигар в день вполне избавляют от чувства голода. Правда, и силы забирают. Стал он после тех сигар цвета коричневого, от ветра шатался.

В госпитале Костю уже знали, ужасались при виде его коричневой кожи. Один пожилой хирург подарил ему талон на обед в столовой для высшего комсостава. Сходил дядя Костя, там кормили относительно сытно. И там же «цапанулась» его судьба за миловидную девушку по имени Фруза, стоявшую на раздаче. Поговорили минуту-другую, договорились встретиться.

Короче, подошел он к той столовой в конце рабочего дня Фрузы.

— Домой забежать надо, — сказала девушка. — Зайдешь в гости?

— А кто дома?

— Да никого!

У нее была комнатенка в коммуналке. Метра три на три, но все-таки отдельное жилье: кровать, столик и тумбочка, табуретки, крючки и гвозди для одежды. Фруза все-таки не ютилась ночью на тюфяке в каком-нибудь углу столовой, как некоторые ее подруги.

Когда лейтенант устроился на табуретке, хозяйка спросила, глянув на него со значением:

— Отвернешься?

— Может быть, но очень не хочется.

Практически, она до пояса разделась. И везде-то у нее были припасы: в ложбине груди, на животе, бинтом примотанные, даже на пояснице.

Вспоминая, дядя Костя честно себе признавался: с одинаковой жадностью смотрел и на женское тело, и на продукты. Красивые ключицы, прекрасная розоватая грудь... Две-три краюхи хлеба на животе, плоский мешочек с макаронами на пояснице... Завернутые в бумажку, три маленькие котлеты под грудью...

— Ловко же ты отвернулся! Хотя ладно... Если хочешь, буду подкармливать тебя, доходяга!

Она не очень-то стеснялась. Так и не одевшись, положила на краюху хлеба две котлетки. Протянула коричневому лейтенанту.

— И не кури уже больше! От вони дышать нечем.

— Действительно, котлеты от женской груди... — буркнул он себе под нос, начиная жевать.

— Что? — не поняла она.

— Да слухи разные дурацкие ходят. И ты слышала, наверное.

— А-а... Не бойся: свинина с добавлением говядины и овсяной муки. От моей груди только запах аппетитный.

Словом, так они и сошлись: через еду и любовь телесную.

— Но любил я Фрузу сильно. Очень любил, — рассказывал мне дядя Костя, когда я был еще мал и ничего в этом не понимал.

Подкормка, которую девушка обеспечила, восстановила лейтенанту силы, лицо его посветлело. Ну, как относиться ко всему этому?.. Конечно, Фруза воровала продукты у высшего командного состава, а что, меню для этого командного состава спускалось с небес? Не воровал ли в свою очередь «состав» у голодных ленинградцев и бойцов, защищавших город, у того же рядового Гладилина? Гордиев узел той войны не рассечь никаким мечом.

Фруза забеременела, и они зарегистрировали брак. Праздновали впятером: сами, подружка Фрузы из столовой, ее соседка по коммуналке и один раненый боец, рана которого оказалась не настолько тяжела, чтобы его оставили в госпитале.

Спустя время первая жена дяди Кости родила дочку, назвали ее Людмилой.

А потом... Среди огромной ужасной войны, даже в блокадном Ленинграде, случались трагедии на личной почве. Приехал дядя Костя из окопов — кого-то застал у Фрузы. Муж схватился за пистолет, а любовник вовремя сиганул в окно — благо, только второй этаж. Соседка шепнула:

— Не первый день у нее живет этот мужчина. Максимом зовут.

Ну, скандал, слова, размахивание тем же пистолетом. Фруза прижимала к груди дочку, словно защищалась ею, шептала в ответ:

— Жалкий он, очень плохо ему...

— Откуда взялся?

— Дезертир вроде, — это снова шепот соседки.

И ничего ведь мужчине не поделать, если женщина все уже утворила. Вернулся дядя Костя к себе в часть и в город ездить больше не рвался. А через какое-то время блокада была прорвана, наши войска пошли вперед.

Дядя Костя иногда пел при мне:

Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, Зовет Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей
За слезы наших матерей...
За нашу Родину — огонь! Огонь!

Пел дядя Костя тихо, вполголоса, хотя фронтовики считали, что эта песня должна исполняться мощно.

Тогда еще пели военные песни просто за столом, когда рюмку брали. Меня до слез волновали строки из «Заздравной»:

Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу!

Мои детские глаза еще видели этих людей, чуток постаревших, закаленных войной до металлической твердости. Я мог представить себе, как они пробираются, чтобы освободить измученный город. Я представлял себе и дядю Костю среди тех людей. Хотя было не совсем так, пробирались к Ленинграду бойцы не из тех частей, которые держали оборону на подступах к городу. Пробирались с другой стороны, вольные армии, не блокированные, а те, что защищали город, ударили им навстречу. Я представлял себе бегущего среди многих яростных бойцов дядю Костю... И был освобожден советский Ленинград, вышли на улицы уцелевшие жители. И Люду, мою двоюродную сестру, мать на улицу вынесла, ведь все вокруг — небо, солнце, дворы — было теперь свободно.

Война покатилась на Запад. Пули и снаряды миновали дядю Костю, военный путь его закончился в Германии. Не в Берлине, правда, на колоннах Рейхстага он не расписывался, остановился в небольшом немецком городе, где люди отныне уже не жаждали обогатиться на Востоке, уже не хотели войны.

Из Германии он практически ничего не привез, не то что некоторые. Одно обручальное колечко из тусклого золота, случайно подобрал на руинах. На внутренней стороне колечка была гравировка: «Грета, Ганс, 1934». Когда я брал в руки это колечко, на меня неизменно накатывала печаль. Все-таки я мог представить себе Грету и Ганса, которые женились в 1934-м и не жаждали обогатиться на Востоке, не хотели войны. Полного единомыслия нигде и никогда не бывает.

Дядя Костя остался служить. Из Германии его часть вскоре ушла, стояла в разных местах необъятного Советского Союза. Дядя Костя долго искал Фрузу и Люду — безрезультатно. Из Ленинграда регулярно приходили ответы «не проживают», из других ведомств — «местонахождение не известно». Оказался он против воли холост, хотя сам считал, что вдов.

Постепенно свыкся с этой мыслью. Не он, а другой фронтовик объяснял мне: «У нас тогда не было мысли прожить долгую жизнь до старости. Война приучала относиться проще: сколько удастся, столько и будет». В общем, стояла часть дяди Кости в Рязани, жил он на квартире в частном доме. И выросла в том доме красивая дородная девушка Ольга, мимо которой не прошел военный медик. Я бы сказал, счастливой они были парой во всех отношениях и всего за одним исключением: Ольга не могла родить ребенка.

Шло время, больших высот дядя Костя в армии не достиг, поскольку не имел военного образования, получил только капитанские звездочки. А в начале 60-х при Никите Хрущеве грянуло сокращение армии, капитан-медик попал в число уволенных. Он приехал в Гомель, работал на Станции скорой помощи, через военкомат получили они с Ольгой однокомнатную квартиру. Казалось, никаких больших перемен в жизни ждать уже не стоит.

И вдруг сообщение из военкомата о том, что дядю Костю разыскивает через министерство обороны дочь Людмила Константиновна. А следом пришло из Красноярского края и письмо от нее.

«Здравствуй, папа! — писала она. — Мы с тобой друг друга не знаем, но я есть на белом свете. Живем мы с мамой на городской окраине в маленьком бревенчатом доме, то есть почти по-деревенски. Я закончила девять классов, если удастся, буду учиться и дальше. Бедность очень мешает, но я смогу...»

У дяди Кости слеза покатилась, и как-то сразу, мгновенно изменился он. Я до этого воспринимал его как вполне взрослого, рассудительного человека, а тут он в пять минут вернулся в юношеский возраст, глаза словно зажглись заново. Пацаненку ведь кажется, что взрослые никогда не могли быть детьми, вид у них такой, неподходящий для этого. А тут я поверил: некогда дядя Костя походил на меня, не был совсем уж взрослым.

А еще я понял, как обстоятельства могут расправляться с человеком. Не только дядю Костю имею в виду. В чем была виновата жена его Ольга? Она мне очень нравилась, я ее даже любил по-детски. Красивая, выдающиеся формы, чудесный рязанский выговор... Да вот в один миг она стала для дяди Кости лишней.

— Пойми, у меня там дочь, — сказал он, не глядя ей в глаза.

— Но, дорогой...

— Ничего нельзя изменить, ничего. Ведь я думал, что они погибли!

Развели их быстро, поскольку не было детей. Дядя Костя отдал Ольге все их общие сбережения, а она не стала претендовать на квартиру, тихонько собрала вещички и уехала к маме в Рязань. Мне было страшно жалко, я до того времени не знал, что наш мир так безжалостно устроен.

У нее осталась подруга в Гомеле, они переписывались. Через два-три года подруга сообщила, что Ольга умерла. Не знаю, умирают ли люди от тоски, но мне казалось, что Ольги не стало именно от тоски. И еще от обиды на несправедливость судьбы.

Как только уехала рязанская женщина, дядя Костя дал телеграмму Фрузе и Людмиле в Красноярск: «Жду. Приезжайте. Буду встречать». В ответ пришла телеграмма от Люды: «Выезжаю». Ну, и число, время, номер поезда.

Предварительно узнали прибытие, поехали на вокзал встречать незнакомую родню.

* * *

Для пацана железнодорожный вокзал был интереснейшим местом. Тем более в нашем городе. Ведь Гомель стал более-менее крупным городом благодаря тому, что здесь когда-то проложили железнодорожную нитку в южном направлении. Сам царь, помня о своем друге-фаворите князе Паскевиче, распорядился проложить ее близ гомельского имения. Потом в городе основали главные мастерские Либаво-роменской железной дороги.

На вокзале я в детстве любил рассматривать людей. Как провожают, как встречаются... Это только кажется, что у всех одно и то же.

Отвлекаясь от главного повествования, припомню один случай. Поезд дальнего следования стоял на перроне, посадка практически закончилась, тепловоз дал предупредительный гудок. Рядом с дверью вагона стояли трое: молодая пара и еще один молодой мужчина, очень элегантный, эффектный, я бы сказал. Именно он, эффектный мужчина, уезжал, а пара его провожала.

Нормально разговаривали, улыбались... И вот прошла по составу скрежещущая волна, медленно-медленно тронулся поезд. Эффектный мужчина вскочил на ступеньки, на пару секунд оттеснив проводницу, которая уже намеревалась ступеньки закрыть. И тут мужчина из провожающей пары, по виду попроще, но очень высокий, вдруг сделал резкий шаг вперед, потянулся и влепил тому, на ступеньке, пощечину. Тот не решился спрыгнуть, чтобы ответить, так и уехал с оскорблением, снес его, как говорится.

Никто точно не отгадает, в чем там было дело. Я думаю, конфликт вспыхнул из-за женщины, уж больно она смутилась... Но громче застучали колеса на рельсовых стыках, замелькали вагоны, и все отдалилось, разомкнулось в пространстве, как будто ничего и не было.

Мне нравилось смотреть, как прощаются или встречаются влюбленные, однажды я видел, как сошла на перрон семья с печальными лицами — у этих людей кроме обычной ручной клади были похоронные венки.

Всегда было хорошо в вокзальном буфете. Чай, кофе с молоком, недорогие пирожные и коржики-булочки, шоколадные медальки в золотистой фольге, тоже недорогие, потому что маленькие. Взрослые пили чай или кофе, стоя у высоких столиков «под мрамор», дети обычно сидели на скамеечках под высокими окнами.

Многие люди поражали своей непосредственностью. Вот бабки, приезжавшие в город из деревни, расстелили газеты и устроились прямо на полу. Это значит в зале ожидания нет свободных скамеек. Вот те же бабки со своими клунками бегом бегут к поезду. Неловко, кривобоко бегут... Поезд вроде бы еще не отходит, но все равно страшно опоздать. В наших краях давно бытует грустная шутка: «Хватай мешки, вокзал отходит!»

Как-то видел я на вокзале дюжины две хоккеистов, которых опознал, естественно, по клюшкам. Одна часть команды провожала другую, целовались взасос — не случайно они и на площадке после каждой забитой шайбы обнимаются, прыгают друг на друга.

Позже стал подмечать социальные различия между людьми, опознавать богатых и бедных...

* * *

Где-то на соседнем пути стоял пригородный поезд, и паровоз там мощно дымил. Тогда пригородные составы еще таскали паровозы. Дым клубами плыл по нашей платформе, лез в глаза, а мы шли быстрым шагом к небольшой толпе приехавших в пятнадцатом, нужном нам вагоне. Быстрее всех рвался, конечно, вперед дядя Костя... Чтобы не отстать, я побежал и даже обогнал его. И вдруг увидел... Ни секунды не сомневался, что эта красивая девушка моя двоюродная сестра, — так походила она на дядю Костю. Я задохнулся от радости и остановился, а дядя Костя обнял свою Люду.

Она долго не могла отпрянуть от него — еще бы, первая встреча с отцом. Спрятала лицо у него на груди, закрыла глаза, и по щекам ее текли слезы. Дядя Костя долго прижимал к себе дочку, которую практически не знал, но вот его взгляд уже начал обшаривать пространство перед пятнадцатым вагоном.

— А Фруза? — наконец выдавил дядя Костя.

— Она так сразу не может. Потом приедет.

— Почему не может?

— Работа, и вообще...

— Замужем?

— Нет-нет.

— Тогда почему? Долго ли уволиться?..

Люда больше ничего не прояснила, молчала — и все.

Они разомкнули объятия. Теперь все остальные стали знакомиться и обниматься с девушкой. В том числе, конечно, и я, ее брат.

* * *

Мне она сразу полюбилась. И лицом, таким родным, таким похожим на дядю Костю, и счастливой улыбкой, как бы согревавшей меня, и полупрозрачной нежностью шеи. К тому же, когда сестра меня обняла, я впервые почувствовал, что такое девичья грудь. Конечно, Люда уже созрела для замужества, я же ничего в этом не понимал, вот только на мгновение задохнулся в сладких объятиях.

Она сказала, что мать не может пока приехать из-за болезни, но не ответила на вопрос, из-за какой. У самой Люды не было документов: ни свидетельства о рождении, ни справки из школы, где училась, ни паспорта.

— Свидетельство о рождении затерялось, когда я еще совсем ребенком была, — это мама умудрилась. Бедствовали сильно... Надо восстанавливать свидетельство, так, может, вы, отец, поможете? — остренько взглянула на Константина Федоровича, пытаясь уловить его реакцию. — Ну, а паспорт на мамину фамилию я нарочно не брала, потому что вас искала... О справке из школы просто не подумала. Девятый класс закончила.

Самое простое было договориться в школе, ее приняли в десятый. Потом дядя Костя через военкомат сделал запрос в Ленинград, чтобы восстановить свидетельство о рождении дочери. И это удалось. Со свидетельством она уже обычным порядком получила паспорт.

Вроде бы все были довольны. Но... В этот же период дядя Костя познакомился с молодой женщиной Настей. Он на «скорой» ехал ночью с вызова на станцию, а молодая женщина проголосовала. Оказалось, тоже медичка, медсестра из больницы — сильно задержалась на работе, а денег на такси не было. Настя и дядя Костя подружились, начали встречаться. Теперь он все реже вспоминал о приезде Фрузы, а Настя стала высказывать сомнение, что Люда похожа на него. Да и, напоминание, без единого документика приехала...

— Чем мать все-таки больна? — спросил однажды дядя Костя.

Люда опять пробормотала что-то нечленораздельное:

— Да я как-то... Разобраться трудно... Я не очень...

— Может, туберкулез?

Неслучайно дядя Костя назвал эту болезнь, бич заключенных, ссыльных и прочих бедствующих людей. Похоже, дорого обошлось Фрузе приключение с дезертиром.

Мало-помалу среди родственников утвердилось мнение, что у Фрузы туберкулез и с туберкулезом она к своей давней любви не приедет, судьба сломана, молодое счастье ушло безвозвратно.

Тем временем Люда закончила десятый класс, получила аттестат зрелости. Дядя Костя за это время обеспечил ей вполне приличный для девушки гардероб. Встал вопрос о продолжении учебы, но ни на техникум, ни на институт у нее глаз не горел. Зато на парней... Летом мы жили с ней у бабушки в деревне, и у Люды был бурный роман со студентом, приехавшим на побывку. Рука к руке тянулись — в воздухе искры сыпались. Я же видел.

Бабушка сначала шумно ругалась, а потом замолчала, но чувствовалось, что даже невзлюбила внучку. «Пуповиной пахнет», — вот что сказала она при очередной встрече своему сыну, то есть дяде Косте. Был скандал, отношения стали портиться, и Люда уже в городе в сердцах заявила, что вообще уедет от нас назад к матери. С этих ее слов началось серьезное охлаждение в отношениях.

В конце концов уехала Люда, а дядя Костя женился на Насте, и полоса неопределенности для него завершилась. Всего одно странное происшествие потом еще напомнило о Люде, не знаю уж, насколько можно в это странное происшествие верить. Настя якобы нашла письмо «До востребования», которое Люда получила от матери. И были якобы там такие слова: «Держись, доченька. Тяжело тебе жить под чужим именем и с чужими людьми, но ты не хуже меня знаешь, насколько это для тебя важно и нужно».

Могла, конечно, Настя чуток сочинить ради того, чтобы надежно отсечь дядю Костю от его прошлого. Однако все родственники знали ее как честную женщину. Еще труднее поверить в реальность письма. Ну зачем бы чужой девушке, фактически еще школьнице, выдавать себя за дочку дяди Кости? Никакой фантазии не хватает...

Время ушло, многих участников или свидетелей той истории уже нет в живых, а Людина тайна так и осталась тайной. Я же всю жизнь люблю и вспоминаю свою двоюродную сестру. Возможно, она живет где-то в Красноярском крае.





РЫГОР БОРОДУЛИН

Ступал я в твой горячий след

Убегала зима от весны

Убегала зима от весны
По кустам чернотала рогатым, —
Ей кафтан оборвали они,
И на ветках мотается вата.

Убегала зима от весны,
Убегала по рекам, озерам.
Лед забыл свои зимние сны,
Затрещал —
                    и вода на просторе.

Только звон ледохода затих —
Ищут брода березы-беглянки,
Поднимая на ветках своих,
Как спеленутых деток,
                              дуплянки.

А весна догоняла зиму;
Заяц мчится, синичек пугая,
Потому что на хвостик ему
Наступила зима, убегая.

Убегала зима от весны,
Голубыми капелями пела,
Растеряла на тропках лесных
Снег последний свой
                    в ландышах белых.
Убегала зима от весны —
Убегала...

* * *

Мир задыхался от тепла.
Ступал я в твой горячий след.
Была весна,
И ты была.
Как снег, кипел вишневый цвет.

Не знал я ни измен,
Ни ссор.
Созвездий распознал секрет.
Твой смех звенел,
Яснел твой взор
Весенний,
Как вишневый цвет.

Но осень наползет скорбя.
Лист желтый — в забытье билет.
Я звал весну,
Я звал тебя.
Как снег, опал
Вишневый цвет...

* * *

Ливень лету надломил плечо,
И надлом зеленой болью ноет.
Ну, а лето —
Девочка еще —
Примеряет платье водяное.

В каплях платья отразился страх,
Сладость самой затаенной веры,
Смех,
Что остывает на губах,
Старых комнат
Запертые двери.

Ключ найти
И двери отворить,
В комнату войти...
Волшебник старый,
Словно в сказке,
Чудо сотворит,
Так,
Что чуб у ливня реже станет.

* * *

Учить не надо молодых,
Ни восхвалять,
Ни бить под дых,
Пусть думают,
Решают сами.

Делить не надо молодых
На серых,

Рыжих
И гнедых, —
Пускай бы были лишь с глазами,

Где дерзость, чистота, горенье,
Как будто в первый день творенья...

* * *

В короткой жизни стольким задолжать...
Но все живое — тлен в глазах эпохи,
Но все земные
Вдруг мельчают боги,
Лишь от себя
Никак не убежать.

В понятии земного мураша
Останется
Христом
Или Ярилой
Лишь тот, чья беспокойная душа
Чужую душу
Светом озарила.

* * *

В поле в разгаре весенний день.
Дорога, словно ладонь от оваций,
Горит —
И хочет в зеленую тень
Спрятаться,
Не отзываться...

* * *

Летом или зимой
Все стучат сквозь тревоги
Звонкие пятки дороги
Той,
Что бежит домой...

Перевод с белорусского Геннадия АВЛАСЕНКО.

Автор «Белорусочки» живет в Москве...

Белорусочка, белорусочка —
Радугами брови, солнышко в глазах!
Белорусочка, белорусочка,
Только твое имя на моих устах!..

Это слова из популярной песни «Белорусочка», которую часто можно услышать по радио. А автор ее — Иосиф Михайлович Рогаль, проживающий в настоящее время в российской столице.

Малой родиной поэта является Брестчина, точнее — деревня Ласицк Пинского района, где он родился 27 января 1940 года в многодетной крестьянской семье.

В июне 1941 года мирная жизнь на белорусских землях обрывается вторжением немецко-фашистских захватчиков. Многие из взрослого населения Беларуси ушли воевать — кто в рядах Красной Армии, кто — в партизанах. Партизанили и родственники Иосифа Рогаля. После войны его отец работал в только что образованном колхозе, в котором крестьяне избрали его председателем.

Спустя много лет о своем детстве Иосиф Рогаль в стихотворении «Признание» скажет: «Вспомнил детство. Тихая деревня, // Ни гудков, ни стука поездов, // Лишь была влюбленность до забвения // В плеск воды да в шепоты кустов. // Летом мать будила очень рано, // Не щадя мальчишеских ночей, // И я шел в лесу, росой убранном, // Раньше первых утренних лучей... // А когда нам стукнуло по десять, // Вдруг в полях с утра и до утра // Никому не ведомою песней // Затрещали дружно трактора...»

Иосиф учился в деревенской неполной средней школе. А потом, с мечтою поскорее стать «взрослым человеком», в поисках счастья и романтики, покинул родной дом. Далее И. Рогаль о своих путях-дорогах напишет: «И пошло. Причалы, полустанки, // Города, поселки, оймаки, // Ленты смен в рассветы, позаранки, // Жажда к возмужанию руки. // Пахотой опробовался древней, // Рубил уголь, грузил баржи дров, // Строил глинобитные деревни, // Делал силос, снова пас коров, // С обжига кирпич возил на тачке, // Рихтовал кувалдой швеллера, // Слыл ручным мотором водокачки, // Разгружал вагоны до утра...»

Затем он призывается в армию — в погранвойска, где служит два года, а затем, демобилизовавшись, проживая в общежитиях, работает на промышленных предприятиях, в том числе на Московском механическом заводе треста «Лифтремонт». По вечерам Иосиф Рогаль учится в школе рабочей молодежи, получает аттестат зрелости и поступает в престижный ВУЗ — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова на юридический факультет (на вечернее отделение), который с отличием оканчивает в 1974 году. Иосиф Михайлович работает юрисконсультом в Министерстве черной металлургии СССР, а потом, в течение десяти лет, — консультантом начальника отдела Министерства юстиции Советского Союза. В 40 лет Иосиф Рогаль защища-



ет диссертацию с присвоением степени кандидата юридических наук, 10 лет он заведует кафедрой правовых дисциплин в структуре крупнейшего в СССР института строительного профиля МИСИ — Московского инженерно-строительного института имени В. В. Куйбышева.

Снова И. М. Рогаль работает на юридическом поприще: вице-президент Союза юристов России, заместитель руководителя Федеральной службы Российской Федерации по валютному и экспортному контролю (1995—2000 годы). Пришла пора ветерану труда стать пенсионером, но Иосиф Рогаль снова стремится быть полезным обществу — в деле сближения братских народов Беларуси и России. Поэтическое творчество у И. М. Рогаля стало «важнейшим делом, сильнейшим инструментом воздействия на позиции в обществе», как о своем коллеге по перу скажет Михаил Поздняков — член Президиума правления Союза писателей Союзного государства. И еще белорусский поэт дополнит: «Иосиф Михайлович Рогаль — член Союза писателей Беларуси, член Союза писателей Союзного государства, автор многих стихотворных книг и для детей, и для взрослых. Человек трепетной, поющей души. Неслучайно многие его стихи стали песнями».

И. М. Рогаль — член редколлегии литературно-художественного журнала Союзного государства «Белая Вежа» и белорусского детского журнала «Вясёлка». За последние годы он издал довольно большими тиражами более двадцати поэтических книжек для детей, два сборника песен.

Поэт пишет стихи и прозу на русском и белорусском языках. Один из сборников стихов называется «Брестчина — душа моя». Книга издана на его малой родине. В 2010 году Брестское издательство «Альтернатива» выпускает сборник стихов Иосифа Рогаля «Радуга Полесья», «объединенных общей эмоционально-смысловой линией — это сила любви и стремления к благу родной земли, ко всему тому, что является источником достойной жизни людей, истоком красоты и силы человека в новой современной эпохе», — так сказано в аннотации. Вместе со сборником вышел и одноименный компакт-диск с 20 песнями на стихи Рогаля, где в исполнении белорусского певца В. Кириленко записана и песня «Беларусачка» на белорусском языке.

Многие стихи поэта так и просятся на ноты, в музыкальные произведения композиторов Беларуси и России. Да и сам Иосиф Рогаль с давних пор стал композитором, написавшим музыку к своим стихам, был принят в члены Союза композиторов Беларуси. Неслучайно вновь и вновь появляются песни на его стихи: «Музыка любви», «Брацікі-салдацікі», «Брестская слава», «Баллада о Беловежской Пуще», «Полесская весна», «Казаки», «Материнский завет», «Память», «Осень», «Земная радуга», «Дом Народов», «Голос сердца», «Крылья надежды», «Мой герой», «Ветер», «Дед Мороз Беларуси» и многие другие.

Московская городская организация Союза писателей России наградила Иосифа Рогаля литературно-общественной премией «Лучшая книга 2012—2014»



за книгу «Дед Мороз Беларуси». В Вологде вышла серия книжек для детей, куда вошли и стихи Иосифа Михайловича.

Как-то он признался: «Любовь к музыке и поэзии была с детства. Я музыкой просто лечусь. Если звучит хорошая музыка, это для меня лекарство, я наслаждаюсь. Но родился в деревне, было восемь братьев, бедность, инструментов никаких даже близко не было, из музыкантов в округе — один дедушка скрипач-самоучка. В душе всегда звучали мелодии, а реализоваться было негде. Учиться тоже было негде, поэтому, когда в своей деревне окончил начальную школу, а потом, уехав, среднюю, то твердо поставил перед собой задачу построить жизнь, достойную для рабочего Советского Союза. Именно рабочего, я еще не думал, что буду юристом, начальником, руководителем. И пошел сначала на стройку, подростком, потом на предприятия. На военном заводе получил хорошую рабочую профессию, потом стал мастером. Всю жизнь заботился о карьере... Но постоянная, настойчивая работа над карьерой, если хотите, не давала возможности помышлять о профессиональном статусе поэта, композитора...»

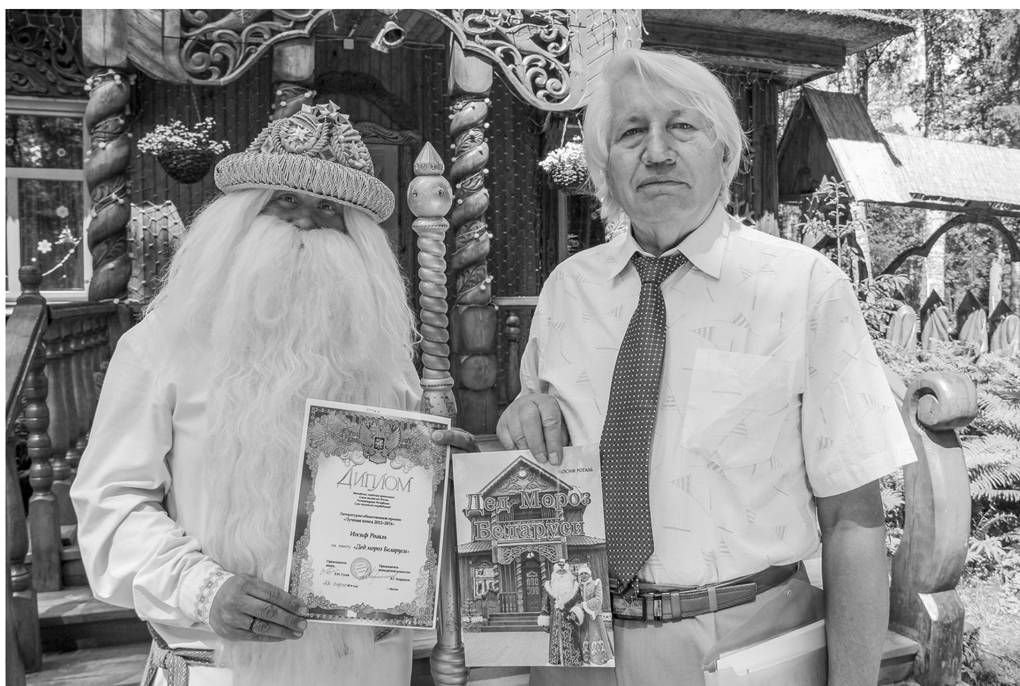
И. М. Рогаль имеет титул — Действительный государственный советник Российской Федерации третьего класса, он ведет активную деятельность по укреплению дружбы между народами Беларуси и России. О себе Иосиф Михайлович скажет: «Моя работа сейчас востребована в качестве эксперта по Беловежской Пуще и в качестве эксперта Государственной Думы РФ по заповедникам и охранным территориям России». Как эксперт-консультант научно-технического совета ГПУ «НП «Беловежская Пуща» он подготовил и составил Программу-проспект фотовыставки «Заповеднику «Беловежская Пуща» 600 лет», которая открылась в апреле 2009 г. в здании Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Фотовыставка вызвала большой интерес у российских депутатов.

А на родине российского Деда Мороза в Вологодской области благодаря И. Рогалю с 2012 года ежегодно проходит Международный фестиваль-конкурс творческих коллективов «Великоустюгская музыкальная зима», на котором председателем жюри является Иосиф Михайлович — эксперт постоянного комитета Государственной Думы Российской Федерации, который возглавляет Г. Зюганов — председатель Комитета по культуре Общественной Палаты.

В российской столице Иосиф Михайлович создал и возглавляет ООО «Творческий центр «Лира». Приведу только отдельные примеры его участия: фестиваль «Полоса границы» (2004 г., Брест, Республика Беларусь), фестиваль эстрадной песни Республики Молдова (2007 г., Кишинев), фестиваль «Молодежь — за Союзное государство» (2008 г., Ростов-на-Дону, Россия), фестиваль «Творчество юных» (2000 г., Анапа, Россия). Более пяти лет И. М. Рогаль является председателем жюри Международного конкурса сценического искусства «Берега Надежды». Сам проект «Берега Надежды» создан (с активным участием Генерального директора московского центра «Лира») «для расширения культурного межнационального сотрудничества, выявления юных дарований, поддержки реализации творческих способностей и гармоничного развития личности, установления творческих контактов между коллективами» — отмечено в путеводителе по конкурсам детских, юношеских и взрослых творческих коллективов в рамках проекта «Берега Надежды». География Международных фестивалей-конкурсов данного проекта: Великий Устюг («Великоустюгская музыкальная зима»), Санкт-Петербург («Парад звезд на Неве»), Анапа («Море, Вдохновение, Театр»), Екатеринбург («Краски народов мира» и конкурс патриотического творчества, посвященный Великой Победе), Казань («Колорит Казани») и даже Париж («Моя любовь — Париж»)...

Иосиф Михайлович Рогаль является членом президиума национально-культурной автономии «Белорусы России», что обязывает его ездить по бескрайним просторам Российской Федерации, активно участвовать в культурной жизни своих соотечественников, сотрудничать с посольством Беларуси в Москве.

В российском литературно-художественном и общественно-публицистическом журнале с названием «Скажите, пожалуйста. Интервью с достойными» (№ 11, 2013 г.) приведены имена знаменитых россиян, вошедших в «Золотой Фонд России», где указан и И. М. Рогаль. В рубрике «Люди искусства в России» помещено интервью с Иосифом Михайловичем. Приведу выдержку из его ответов на вопросы автора проекта Натальи Сверчковой, члена Союза писателей России и члена Союза журналистов России: «Если Белоруссия живет даже чуть беднее, чем Россия, все равно думаю, там народу не менее комфортно, поскольку



нет в обществе такого имущественного расслоения, в людях сохраняется доброта, забота о детях, о стариках. Ни один кусочек земли не пропадает. Но также и в промышленности».

Надо отдать должное Иосифу Михайловичу: он не забывает родную Беларусь, часто посещает ее, привлекает к участию в фестивалях в рамках проекта «Берега Надежды» белорусских детей и молодежь, а с Белорусским университетом культуры и искусств (БГУКИ) имеет прямые творческие связи. Уже 14 юных и взрослых артистов из Республики Беларусь за последние годы стали Лауреатами этих престижных фестивалей, проходивших в Анапе, Казани, Санкт-Петербурге и в Великом Устюге.

За свою плодотворную деятельность И. М. Рогаль удостоен ряда правительственных и общественных наград: медали Союзного государства России—Беларуси, Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь, от Союза писателей России — медаль великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, дипломы и грамоты общественных организаций России и Беларуси.

В январе 2015 года Иосифу Михайловичу Рогалю исполнилось 75 лет. За эти годы он прошел тернистый путь от сына крестьянина из белорусской глубинки до ранга заместителя Министра Российской Федерации. В настоящее время он ведет прямо-таки кипучую деятельность по укреплению дружбы и сотрудничества братских народов, строящих Союзное государство. Многие друзья и знакомые И. М. Рогаля называют его «народным дипломатом» или «нарпредом Союзного государства». Это о многом говорит и ко многому обязывает — обязывает все так же плодотворно трудиться на благо будущих поколений братских народов, в первую очередь народов Беларуси и России.

Иван АРХИПОВ

ИОСИФ РОГАЛЬ

Поиски в былом

Март у крыльца

Снова зеркало разливов,
Вытворяя чудеса,
Опрокинуло игриво
И леса, и небеса.

С отражением постройки
Вроде призьбами срослись,
А в воде растут березки,
Кажется, и вверх, и вниз.

Тихая волна качает
Прошлогодний вербный лист
И заборами играет,
Как мехами гармонист.

Лопухов ботва сухая
Вздыбилась на мокром пне,
Как у дедушки Мазая
Уши заячьи в челне.

Гуси, выйдя из укрытий
На теплеющий простор,
Выражают громким криком
Необузданный восторг.

Ну, а лозы сразу в лето
Рвутся, и на них висят
И сережки, и браслеты
Цвета маленьких цыплят.

Но природы стражи впору
Воды вешние сведут.
И сезоны, как заборы,
Перепрыгнуть не дадут.

Затрещат моторы в поле,
Чтоб стелить зерну постель.
И по чьей-то высшей воле
На престол взойдет апрель.

Тепло зимы

Белые крыши,
Инея нега,
Лентами в небо дымы.
Нежную слышу
Музыку снега
В мягких заносах зимы.

Полю укрытому
Сладостно спится,
Ветры поземкой метут,
Ивы над Припятью —
Словно ресницы
Крашены в белую тушь.

Стыки извечные
Гостю вагонному
Джаза мелодию бьют,
Струны сердечные,
Чувствуя Родину,
Тоже тихонько поют.

Кажется, ели,
Что на вокзале,
Вот-вот бабахнут салют!
Фары нацелив
В сельские дали,
Шины со свистом несут.

Вижу, что знаешь,
Не позабыло
Сына, Полесье, коль вновь
Напоминаешь,
Сколько здесь было
Юных мечтаний и снов!

Верь, что до боли
Вдруг захотелось
На величавой Руси
Перед тобой
Отчитаться за зрелость
И еще раз попросить:

Пусть пронесется
Все, что знакомо:
Села, болота, хлеба,
То, что зовется
Родительским домом,
Где даровалась судьба.

Поиски в былом

И снова Май! Веселый! Громкий!
Портреты Сталина в ряду...
А я судьбы твоей обломки
Никак в архивах не найду.

Как будто ты и вовсе не был.
И свет не видел плоть твою.
И я совсем напрасно к небу
С мольбой о правде пристаю.

Мне память не дает не верить,
Что до какой-то там поры
Ты открывал в квартире двери,
Топтался, что-то говорил.

Как сверстники, учился в школе.
Подрос, на службу поступил,
Страшился черного до боли...
Но день твой черный наступил.

Забрали!.. И хотя не знали,
Что можно предъявить тебе,
Но сразу же поначеркали
Кресты на всей твоей судьбе.

Хотя и жив, но все иначе
Невольно должен принимать —

Для всех тогда ты стал «не нашим».
А это страшная печать!

Но вопреки ухабам доли,
Надежду в нас не угасить.
И только это из неволи
Тебя сумело возвратить.

А потому нам, человече,
Гарантом может быть одно —
Наш здравый ум и наши плечи, —
Что б там судьбою ни дано.

Навсегда

Великая любовь однажды в майский вечер
Мне в образе твоем явилась, как звезда.
И я, едва поверив в чудо нашей встречи,
Был твердо убежден, что это навсегда.

И только потому, что стал самоуверен,
Я вскоре потерял подарок Неба сам,
А поводом такой губительной потери
Явилось вдруг мое доверие друзьям.

Какая это боль! — я сознаюсь впервые.
Наверно, всем в урок жизнь отомстила мне.
Теперь твои глаза небесно-голубые
Здесь, в чуждом мне краю я вижу лишь во сне.

Великая любовь в тот майский вечер дивный
Мне в образе твоем явилась, как звезда.
И пусть я был тогда еще совсем наивный,
Но все ж предугадал, что это навсегда.





ИРЕН НЕМИРОВСКИ

Иезавель

Роман

Ирина Немировская относится к числу русских писателей (и писательниц), заброшенных в конце XIX — начале XX века судьбой и революцией во Францию. Многие представители русской литературной послереволюционной эмиграции продолжали писать за границей на русском языке. Среди наиболее известных можно упомянуть Ивана Бунина, Дмитрия Мережковского, Георгия Иванова и Ирину Одоевцеву. Некоторые же, продолжая писать так, как писали бы в России, перешли на французский язык. В их числе можно упомянуть Жозефа Кесселя, Ромена Гари, Эльзу Триоле и Натали Саррот; менее известны Мария Башкирцева, которая завязала романтическую переписку с Мопассаном, оставаясь анонимом, Анн Вяземски и Ирен Немировски.

Ирина Немировская (Ирен Немировски) родилась в 1903 году в Киеве в семье еврейского банкира Льва (Леонида) Борисовича Немировского и Анны (Фанни) Маргулис. Семья ее отца происходила из украинского города Немирова; она разбогатела на торговле зерном, а отец Ирины добился успеха в сфере финансов, став одним из самых богатых банкиров России.

У Ирины Немировской рано проявились способности к иностранным языкам. Она бегло говорила на русском, польском, немецком и английском, понимала идиш (следы которого чувствуются в романе «Собаки и волки», написанном в 1940 году). Она свободно владела французским языком, с которым имела дело чуть ли не с младенчества, благодаря тому, что ее долгое время воспитывала гувернантка-француженка. Книги, занятия языками и музыкой, частое посещение театра — вот культурная среда, сформировавшая талант будущей писательницы. Особенно увлекалась Ирина чтением. Еще девочкой она прочла «Наоборот» Гюисманса, новеллы Мопассана и «Портрет Дориана Грея» Уайльда, который на всю жизнь остался ее любимым романом.

С четырехлетнего возраста и до начала революции Ирина каждый год проводила несколько месяцев во Франции, в Париже, Виши, Ницце и других курортных городках.

Ее родители мало интересовались семейным очагом, и девочка росла одиноким и во многом несчастным ребенком. Отец любил ее, но работа вынуждала его много времени посвящать деловым разъездам; кроме того, он оказался страстным игроком и часами не покидал казино, где, случалось, проигрывал крупные суммы. Его жена Фанни родила дочь, пожалуй, только для того, чтобы прочнее привязать к себе богатого супруга. Рождение дочери она восприняла как помеху светским развлечениям и сразу же поручила заботу о девочке кормилице. Как пишет французская писательница Мириам Анисимов, биограф Ирен Немировски, девочка никогда не видела ни малейших проявлений материнской любви. Мать часами сидела перед зеркалом, разглаживая морщины, подкрашиваясь, делая массаж, готовясь к очередному любовному приключению. Она гордилась своей красотой, с ужасом ловила признаки увядания, пугаясь участи стареющих женщин, на которых перестают обращать

внимание мужчины. Убеждая себя в собственной молодости, она одевала и причесывала дочь-подростка как маленькую школьницу. Такие отношения матери и дочери через много лет займут важное место в творчестве Ирен Немировски. В романе «Вино одиночества» мы читаем: «В своем сердце она питала странную ненависть к матери, и эта ненависть росла вместе с ней… Она никогда не говорила «мама», свободно открывая дорогу двум слогам, она с усилием пропускала их сквозь сжатые губы, и ее «мым» походило на короткое ворчанье, которое с усилием и глухой болью вырывалось у нее из сердца». Взаимная неприязнь матери и дочери занимает также много места в других романах, таких, как «Бал» и «Иезавель».

С 1914 года и до революции 1917-го семья Немировских прожила в Петербурге, где Лев Немировский вошел в совет директоров Промышленного банка.

В России семья Немировских вела роскошный образ жизни. На лето они уезжали или в Крым, или в Биарриц, а то в Сен-Жан-де-Люз, в Андайе или на Лазурный берег. Мать Ирен располагалась в роскошном отеле, дочь с гувер- нанткой жили в семейном пансионе.

Когда Ирен исполнилось четырнадцать, она решила стать писательницей. Устроившись на диване, положив тетрадь на колени, девочка заполняла аккуратными строчками страницу за страницей. Вдохновляли Ирен в ее начинаниях стиль и романная техника Тургенева. Начав писать роман, девочка не просто стала рассказывать о каких-то событиях в жизни героев, но принялась изливать на бумагу свои раздумья. Она продумывала до мелочей жизнь каждого героя, не только главного, но и второстепенных. Она заполняла целые тетради, описывая внешность, черты характера, воспитание, детство, выстраивала хронологию жизни персонажей. Очень быстро она перешла к удивительно профессиональной компоновке романа, выстраивала, улучшала, а потом редактировала окончательную версию.

В момент, когда разразилась революция, Немировские жили в большом красивом доме в Петербурге, куда переехали в 1914 году. «Квартира представляла собой анфиладу, и из вестибюля можно было рассмотреть самую последнюю комнату — через широко открытые двери открывалась череда белых с золотом покоев», — пишет Немировски в «Вине одиночества», романе во многом автобиографическом. Для многих русских писателей и поэтов Петербург был городом-мифом. Ирен Немировски увидела лишь сумрачные, заснеженные улицы, продуваемые ледяным ветром, разносящим отвратительные запахи с грязных каналов и Невы.

Льву Немировскому часто приходилось бывать по делам в Москве, поэтому он снял там квартиру. Через некоторое время, решив, что в Москве семья будет в большей безопасности, Немировский перевез ее туда из Петербурга, но в октябре 1918 года в Москве тоже начались революционные события.

Когда новые власти начали разыскивать отца Ирен, ему пришлось скрываться. Поскольку в декабре 1918-го граница с Финляндией еще не охранялась, семья Льва Немировского перебралась в Финляндию, переодевшись крестьянами. Ирен прожила год на заваленном снегом хуторе. На протяжении этого времени ее отец не раз тайно возвращался в Россию, пытаясь спасти свои богатства.

Через некоторое время Немировские перебрались в Швецию и три месяца провели в Стокгольме. Ирен сохранит в памяти весенние сады и лиловую сирень, заполонившую дворики.

В 1919 году им удалось переехать во Францию, пристанище многих тысяч беженцев. В Париже банкир Немировский стал во главе одного из филиалов своего банка и таким образом смог вернуть свое состояние. Ирен поступила на филологический факультет Сорбонны, где сначала изучала русскую литературу, а затем увлеклась сравнительным литературоведением.

В эти годы она дебютировала на литературном поприще, сотрудничая с «Фантазио», толстым журналом, выходившим два раза в месяц. В этом

журнале было опубликовано несколько «озорных рассказиков», как их называла сама Ирен. Затем она послала одну новеллу в журнал «Матен», где ее сразу же напечатали. Далее последовало сотрудничество с издательством «Эвр либр», где был опубликован ее первый роман «Недоразумение», оконченный в 1923 году, когда автору романа только-только исполнилось восемнадцать лет. В феврале 1926 года в этом же издательстве вышла в свет новелла «Гениальный мальчик», позже получившая название «Вундеркинд».

В новелле рассказывается печальная история Исмаэля Баруха, еврейского мальчика из Одессы. Его рано проснувшийся поэтический дар пленяет богача-аристократа, и тот поселяет Исмаэля во дворце, чтобы юный поэт развлекал его любовницу. Мальчик живет в холе и неге у ног красавицы княгини, которая считает его чем-то вроде ученой обезьянки. Став подростком, переживая мучительный кризис, он теряет те способности, которыми его одарило детство. Стихи и песни, благодаря которым он получил доступ к роскошной жизни, ему кажутся жалкими. Он ищет вдохновения в книгах, но культура не одаряет Баруха гениальностью, напротив, она разрушает его самобытность, лишает непосредственности. Княгиня избавляется от него, как от ненужной вещицы, и Исмаэлю ничего не остается, как вернуться обратно в еврейский квартал, в лачугу, где он увидел свет. Но никто не признает Исмаэля в лощеном денди. Отвергнутый своими соотечественниками, он топится в грязной воде одесского порта.

В 1926 году Ирен вышла замуж за банкира Михаила Эпштейна, также эмигранта из России. Через год у них появилась дочь Дениз, а через десять лет родилась вторая дочь Элизабет.

В 1929 году известный издатель Бернар Грассе получил по почте рукопись под названием «Давид Гольдер». Роман показался ему достойным публикации, и он решил напечатать его. Однако оказалось, что автор, очевидно, опасаясь неудачи, не сообщил ни своего имени, ни адреса. Тогда Грассе поместил в газетах объявление, приглашая таинственного писателя в редакцию, чтобы познакомиться с ним.

Когда несколько дней спустя у Грассе появилась Ирен Немировски, он не сразу поверил, что молодая, жизнерадостная, богато одетая женщина, прожившая во Франции всего-навсего десять лет, на самом деле автор блестящего романа, поражающего мастерством. Такой роман скорее мог принадлежать перу писателя, достигшего творческой зрелости. Грассе долго расспрашивал Ирен, желая убедиться, что молодая женщина не играла роль подставного лица, заменив с неизвестной целью какую-нибудь знаменитость.

В романе «Давид Гольдер» рассказывается история еврейского магната Гольдера, эмигранта из России, финансиста международного масштаба, начиная с сенсационного восхождения и заканчивая крахом его банка. Глория, стареющая супруга банкира, не скрывающая свои любовные похождения, требует все больше и больше денег на роскошный образ жизни и на содержание своего возлюбленного. Разоренный старик Гольдер, недавняя гроза биржи, вновь превращается в жалкого бедного еврея, каким он был в молодости в Одессе. Однако из любви к своей неблагодарной и легкомысленной дочери он решает восстановить свой капитал. Одержав победу в рискованной финансовой операции, Гольдер устремляется в Европу на грузовом судне. В пути корабль попадает в страшную бурю, и Гольдер умирает на руках еврея-эмигранта, который, в надежде на лучшую жизнь, сел вместе с Гольдером в Симферополе на отплывающий в Европу корабль.

Роман получил широкую известность и вскоре был экранизирован.

Затем последовали другие публикации, также оказавшиеся в центре внимания читателей; очень быстро Ирен стала весьма популярным автором. За десять лет было опубликовано 12 романов, в том числе «Недоразумение», «Осенние мухи», «Вино одиночества», «Жертва» и другие, а также несколько десятков рассказов.

К этому же периоду относится и работа над романом «Иезавель», опубликованным в 1936 году.

Героиня романа, Гледис Эйзенах, является воплощением жены израильского царя Ахава (922—901 гг. до РХ) финикиянки Иезавель. Иезавель, дочь тирского языческого жреца, женщина властолюбивая и обладавшая сильным характером, стремилась пересадить на израильскую почву языческую религию своей родины. По ее желанию Ахав построил большой храм, где совершались службы перед идолом Ваала, тирского бога солнца. Вскоре простой народ, привыкший к новому божеству, стал поклоняться Ваалу, и только очень немногие остались верными религии Иеговы. Сторонники и проповедники прежней религии, называвшиеся «пророками Иеговы», жестоко преследовались царицей, не гнушавшейся обмана и даже лжесвидетельства. Впоследствии имя «Иезавель» стало нарицательным для жестоких коварных женщин.

Роман «Иезавель» — произведение глубоко психологическое; его героиня, обладающая сильным, страстным, противоречивым характером, неумолимо приближается к трагическому финалу. Но вряд ли у всех, кто прочитает роман, сложится одинаковое представление о героине — скорее всего, у каждого читателя возникнет свое понимание характера героини и причин, толкнувших ее на преступление.

Несмотря на широкую известность, в 1938 году власти отказали Ирен Немировски в получении французского гражданства. В 1939 году Ирен перешла в католицизм.

Накануне объявления Второй мировой войны первого сентября 1939 года Ирен и Мишель Эпштейн отвезли Денизу и Элизабет, двух своих маленьких дочек, в Исси-Левек, департамент Сон-э-Луар. С ними поехала няня девочек, Сесиль Мишо, которая была родом из этого города. Сесиль привлекла к уходу за девочками свою мать, мадам Митен. Ирен и Мишель Эпштейн вернулись в Париж, намереваясь время от времени навещать своих девочек. Так продолжалось до июня 1940 года, когда значительная часть Франции была оккупирована немцами и страну разделила демаркационная линия.

Первый закон о евреях от 3 октября 1940 года лишил их всех прав и превратил в париев. Этот закон, выделив расовые признаки, определил, кто является евреем в глазах французского государства. Муж и жена Эпштейн, которые прошли регистрацию в июне 1941 года, оказались одновременно и евреями, и иностранцами. Мишель больше не имел права работать в банке, а Ирен не могла публиковаться в издательствах, которым было вменено в обязанность следить за арийским происхождением своих служащих и авторов. Супруги покинули Париж и поселились с дочерями в городке Исси-Левек.

Ирен, трезво оценивая обстановку, не сомневалась в трагическом исходе, но несмотря на это, много читала и продолжала писать. С 1940-го по 1942 год издательство «Альбен Мишель» и даже антисемитская газета «Гренгуар» публиковали ее рассказы под псевдонимами Пьер Нерей и Шарль Бланка.

За непродолжительное время, проведенное в Исси-Левек, Ирен Немировски написала романы «Жизнь Чехова» и «Огни осени», опубликованные посмертно в 1946 и в 1957 году, и приступила к работе над эпопеей в пяти частях под названием «Французская сюита». Давно ожидаемый арест заставил ее оборвать роман; закончены были только две части.

13 июля 1942 года Ирен была арестована французской полицией как «лицо еврейского происхождения без гражданства» и 17 июля депортирована в Освенцим. Согласно лагерным документам, она умерла 17 августа 1942 года от гриппа, однако в те годы этот диагноз ставился всем скончавшимся в лагерях от тифа.

История опубликования «Французской сюиты» заслуживает отдельного рассказа; ниже мы приводим отрывок из предисловия к этому роману, вышедшему в 2006 году на русском языке, написанного биографом Ирен Немировски, известной писательницей Мириам Анисимов.

«Приготовившись бежать, няня с двумя детьми забрали с собой чемодан, где лежали семейные фотографии, документы и последняя рукопись писательницы — листки, исписанные мельчайшим почерком в целях экономии чернил и плохой военной бумаги. В этом произведении Ирен Немировски нарисовала безжалостный портрет Франции — расслабленной, побежденной, оккупированной. Чемодан странствовал с Денизой и Элизабет Эпштейн от одного недолговечного укрытия к другому. Первым был католический пансион. Только две монахини знали, что маленькие девочки — еврейки. Денизе дали другое имя, но она никак не могла привыкнуть к нему, и в классе ее приходилось призывать к порядку, потому что она на него не откликалась. Жандармы настойчиво продолжали свои розыски, не имея, видимо, другой, более важной задачи, как только отдать двух еврейских детей в руки нацистов, и, в конце концов, они напали на их след. Девочки покинули пансионат. В погребах, где они провели не одну неделю, Дениза получила плеврит; те, кто ее прятали, не решились отвести девочку к врачу и лечили ее одной сосновой смолой. И опять девочки под угрозой обнаружения, и снова они вынуждены бежать с драгоценным чемоданом, который всегда собран на случай тревоги».

Далее Мириам Анисимов рассказывает, что после освобождения Франции, когда выжившие узники нацистских лагерей стали прибывать на парижский Восточный вокзал, Дениза и Элизабет ежедневно появлялись там и терпеливо ожидали на перроне очередной поезд. Написав на небольшом плакатике свою фамилию, они подолгу дежурили возле гостиницы «Лютеция», которая в те времена превратилась в центр приема депортированных.

Дениза сберегла драгоценные бумаги, напоминавшие ей о матери. Попытки читать рукопись оказались безуспешными, и обычно она довольствовалась тем, что просто смотрела на нее. Так проходили год за годом.

Наконец Дениза и Элизабет, которая стала директором литературного агентства, решили передать последнее произведение матери в архив современных изданий, с тем чтобы сохранить его. Но прежде чем расстаться с рукописью, сестры решили сделать ее машинописную копию. После упорных многомесячных усилий рукопись была расшифрована и введена в память компьютера. Потом ее передали в издательство «Деноэль», где она, наконец, была опубликована в 2004 году. В этом году роман был удостоен премии Ренодо. Через два года перевод на русский язык был опубликован издательством «Текст».

Эта публикация вызвала новый всплеск читательского интереса к творчеству Ирен Немировски, и в промежутке с 2006-го по 2010 год на русском языке были опубликованы романы «Давид Гольдер», «Осенние мухи», «Властитель душ» и «Жар крови», а также новелла «Бал». Многие произведения Ирен Немировски (полтора десятка романов и несколько десятков новелл) все еще ожидают своих переводчиков.

Игорь НАЙДЕНКОВ

Пролог

В бокс для обвиняемых ввели молодую даму. Она выглядела красивой, несмотря на бледность, усталый и растерянный вид, опухшие из-за пролитых слез веки и опустившиеся уголки рта. Ее волосы скрывала черная шляпка.

Женщина машинально подняла обе руки к шее, очевидно, пытаясь прикоснуться к когда-то украшавшему ее ожерелью, но его не оказалось на привычном месте, и ее пальцы неуверенно задрожали; некоторое время она продолжала медленно и печально шевелить ими. Из шумно дышавшей толпы, жадно следившей за каждым ее движением, донеслось невнятное бормотанье.

— Господа судьи хотели бы видеть ваше лицо, — сказал председатель. — Снимите шляпку.

Она подчинилась, и взгляды снова задержались на ее открытых руках, небольших и изящных. Ее горничная, сидевшая в первом ряду свидетелей, невольно наклонилась вперед, словно пытаясь поддержать ее. Тут же осознав, где она находится, девушка смутилась и покраснела.

День был характерным для парижского лета, холодного и бледного; старинные деревянные панели, позолоченные лепные украшения на потолке и красные мантии судей освещались призрачным предгрозовым светом.

Обвиняемая подняла взгляд на судей, сидевших напротив, потом взглянула в зал, где гроздья зрителей заполняли все углы.

Председатель спросил:

— Ваше имя и фамилия?.. Место рождения? Возраст?..

Никто в зале не расслышал невнятные ответы обвиняемой. Женщины принялись перешептываться.

— Она ответила... Что она сказала?.. Где она родилась?.. Я не расслышала... Сколько ей лет?.. Ничего не слышно!

Светлые пушистые волосы, строгий черный костюм... Одна из зрительниц негромко произнесла: «Она шикарно выглядит», — и вздохнула от удовольствия, словно находилась в театре.

Публика, толпившаяся позади сидящих, почти не слышала обвинительный акт. Из рук в руки передавались дневные выпуски газет; на первых страницах помещалась фотография обвиняемой и рассказ о преступлении.

Женщину звали Гледис Эйзенах. Она обвинялась в убийстве своего любовника, Бернара Мартина, студента двадцати лет. Председатель приступил к допросу.

— Где вы родились?

— В Санта-Паломе.

— Это деревня на границе Бразилии и Уругвая, — пояснил судьям председатель. — Ваша девичья фамилия?

— Гледис Бурнера.

— Мы не станем останавливаться на вашем прошлом... Я имею в виду ваше детство и юность; они прошли в путешествиях по далеким странам, в которых с тех пор произошли масштабные социальные потрясения, поэтому из них нельзя было получить необходимую информацию официальным путем. Следовательно, мы вынуждены опираться преимущественно на то, что вы сами рассказали нам. На допросе вы сообщили, что вы дочь судовладельца из Монтевидео, что ваша мать, София Бурнера, ушла от мужа через две недели после свадьбы, а поэтому вы родились далеко от отца и никогда его не видели. Это так?

— Да, все верно.

— Ваше детство сопровождалось постоянными переездами с места на место. Вы очень рано вышли замуж, как это принято в вашей стране, вашим мужем стал Ришар Эйзенах, скончавшийся в 1912 году. Вы принадлежите к обществу космополитов, не имеющих устойчивых привязаннос-

тей и домашнего очага. Вы также сообщили нам, что после смерти мужа побывали в Южной и Северной Америке, в Польше, Италии, Испании... Не буду перечислять остальные страны и не стану останавливаться на ваших путешествиях на яхте, проданной вами в 1930 году. Вы очень богаты. Ваше имущество состоит частью из того, что осталось вам от матери, а частью из наследства, оставленного вашим умершим супругом. До войны вы несколько раз посетили Францию, где окончательно обосновались в 1928 году. В 1914—1915 годах вы жили неподалеку от Антиба. С этим местом и с этим временем у вас связаны печальные воспоминания: именно здесь в 1915 году умерла ваша единственная дочь. После этого трагического события ваша жизнь стала еще более изменчивой, превратилась в непрерывную перемену мест... У вас возникали многочисленные связи, быстро обрывавшиеся, что характерно для послевоенного времени, располагавшего к сентиментальным приключениям. Наконец, в 1930 году вы познакомились с графом Альдо Монти, отпрыском старинной и весьма уважаемой итальянской семьи. Он предложил вам руку и сердце. Было принято решение о браке. Это правильно?

— Да, — тихо ответила Гледис Эйзенах.

— Ваша помолвка была почти официальной. Но внезапно вы разорвали договоренность с графом. Почему?.. Вы не хотите отвечать? Очевидно, вам не хотелось расстаться с привычным для вас весьма свободным образом жизни и всеми его преимуществами. Ваш жених стал вашим любовником. Это правда?

— Да, это так.

— С 1930 года до октября 1934 года у вас не появилось новых связей. На протяжении четырех лет вы сохраняли верность графу Монти. Потом в вашей жизни случайно появился тот, кто впоследствии стал вашей жертвой. Это Бернар Мартен, двадцатилетний юноша скромного происхождения — его отец был дворецким. Это обстоятельство, уязвлявшее вашу гордость, несомненно, послужило причиной того, что вы долгое время скрывали свои отношения с будущей жертвой. Каким образом Бернар Мартен, двадцатилетний студент филологического факультета Парижского университета, проживавший на улице Фоссе-Сен-Жак, дом 6, сумел соблазнить вас, светскую даму, красивую, богатую, достойную зависти. Вы очень быстро уступили ему, просто фантастически быстро. Очевидно, вы развратили его деньгами, которые он получал от вас, и, в конце концов, убили его. И за это преступление вам придется сегодня отвечать.

Обвиняемая стиснула дрожащие руки; ее ногти вонзились в бледную кожу; бледные губы с трудом раскрылись, но никто не услышал ни одного слова, ни одного звука.

Председатель продолжал:

— Расскажите судьям, как вы познакомились с ним?.. Вы не хотите отвечать?..

— Однажды вечером он увязался за мной, это было прошлой осенью, — наконец очень тихо сказала она. — Дату я не запомнила... Я не помню, не помню...

— Вы сообщили следствию дату 12 октября.

— Может быть, — пробормотала она. — Я не помню этого...

— Он вам... Он вам что-то предложил?.. Отвечайте же... Я понимаю, что признание дается вам с трудом... Итак, вы пошли с ним тем же вечером.

Она негромко вскрикнула:

— Нет, нет!.. Это неправда!.. Послушайте меня...

Задыхаясь, она что-то сказала, но никто не разобрал ни слова. Потом она замолчала.

— Говорите же, — сказал председатель.

Обвиняемая повернулась сначала к судьям, потом к жадно следившим за ней зрителям.

С жестом усталости и отчаяния она вздохнула:

— Мне нечего сказать...

— Тогда отвечайте на мои вопросы, обвиняемая. Вы говорите, что в этот вечер вы не захотели слушать его?.. Следствием установлено, что на следующий день, то есть 13 октября, вы пришли к нему домой, на улицу Фоссе-Сен-Жак. Это так?

— Да, — ответила она, густо покраснев; постепенно румянец сошел с ее лица.

— Значит, у вас вошло в привычку — общаться с парнями, пристающими к вам на улице? Или вы нашли его особенно привлекательным?.. Вы не хотите отвечать?.. Вам нужно сбросить вуаль со своей личной жизни. В общественном месте, которым является зал судебного заседания, все должно стать известным...

— Да, конечно, — устало согласилась она.

— Итак, вы пришли к нему. Что было дальше?.. После этого вы увиделись с ним снова?

— Да.

— Как часто вы встречались?

— Я не помню.

— Он нравился вам?.. Вы любили его?

— Нет.

— Но почему тогда вы уступили ему?.. Из-за своей порочности?.. Из страха?.. Вы опасались угроз или шантажа?.. После его смерти у него не нашли ни одного вашего письма. Вы часто писали ему?

— Нет.

— Вы опасались его нескромности?.. Вы подумали, что граф Монти мог узнать об этом помутнении рассудка, об этом постыдном приключении? Это так?.. Бернар Мартен любил вас?.. Или он преследовал вас из корыстных побуждений? Вы не знаете? Тогда перейдем к денежной стороне вопроса. Чтобы не запятнать память вашей жертвы, вы ничего не сказали об одном обстоятельстве, случайно всплывшем во время следствия. Какие деньги вы передали Бернару Мартену за время вашей непродолжительной связи?.. Уточним, что она продолжалась с 13 октября 1934 года по 24 декабря этого же года... Несчастный юноша был убит в ночь с 24 на 25 декабря 1934 года. Сколько он получил от вас за эти два месяца?

— Я не давала ему денег.

— Это не так. Был обнаружен чек на пять тысяч франков, выписанный вами на его имя и датированный 15 ноября 1934 года. Этот чек был обналичен на следующий день. На что пошли деньги, неизвестно. Вы давали ему еще деньги кроме этой суммы?

— Нет.

— Был обнаружен другой чек, тоже на пять тысяч франков... Похоже, что таким был тариф... Но этот чек никогда не был предъявлен.

— Да, это так, — пробормотала обвиняемая.

— Теперь расскажите нам о преступлении... Ну, давайте. Тем более что рассказать о нем легче, чем совершить. В эту ночь, рождественскую ночь, вы вышли из своих апартаментов вечером, в половине девятого, вместе с графом Монти. Вы поужинали с ним в ресторане «Чиро». И вы собирались завершить вечер в компании общих ваших приятелей, четы Персье, Анри Персье и его жены. Вы отправились вчетвером потанцевать в ночное заведение, где и оставались до трех часов ночи. Это правильно?

— Да.

— Вы вернулись к себе вместе с графом Монти, покинувшим вас у дверей вашей гостиницы. Следствию вы рассказали, что, когда машина остановилась у отеля, вы заметили Бернара Мартена, спрятавшегося в проеме арки. Это верно, не так ли?.. Вы назначали ему свидание этой ночью?

— Нет. Некоторое время мы уже не встречались.

— Сколько времени, конкретно?

— Дней десять.

— Почему? Вы решили порвать с ним? Вы не хотите отвечать? Когда этой декабрьской ночью вы заметили его на улице, что он вам сказал?

— Он хотел зайти ко мне.

— Что было потом?

— Я не согласилась. Он был пьян. Я заметила это. Мне стало страшно. Когда я открыла дверь, то увидела, что он идет за мной. И он вошел вместе со мной в мой номер.

— Что он сказал вам?

— Он угрожал, что все расскажет... Расскажет Альдо Монти, которого я любила...

— Вы странным образом доказываете свою любовь к нему!

— Я любила его, — повторила она.

— Что было потом?

— Меня охватил страх. Я начала умолять его. Он стал издеваться надо мной. Он толкнул меня... И тут зазвонил телефон... В это время мне мог позвонить только Альдо Монти... Бернар схватил трубку... Он хотел что-то сказать. Я... Я схватила револьвер, он лежал в ящике ночного столика возле моей постели. И я выстрелила... Я не соображала, что делаю.

— Действительно?.. Это классическая фраза всех убийц.

— Тем не менее это правда, — тихо сказала Гледис Эйзенах.

— Будем считать, что это так. Что было потом, когда вы пришли в себя?

— Он лежал, не двигаясь, возле меня. Я попыталась привести его в чувство, но тут же поняла, что это бесполезно.

— А затем?

— Затем моя горничная вызвала полицию. Это все.

— Действительно? Когда полицейские приехали и обнаружили, что произошло убийство, вы откровенно признались во всем?

— Нет.

— И что же вы сказали?

— Я сказала, — ответила Гледис Эйзенах приглушенным голосом, — что когда вошла к себе и стала раздеваться в ванной комнате, то услышала какой-то шум. Открыв дверь в спальню, я увидела незнакомого человека.

— Который в этот момент рассовывал по карманам драгоценности, оставленные вами, когда вы раздевались, на туалетном столике?

— Да, именно так.

— Ложь могла показаться правдоподобной, — сказал председатель, обращаясь к судьям, — потому что богатство и социальное положение обвиняемой легко могли избавить ее от подозрений... К несчастью для нее, в тот момент, когда прибыли полицейские, обвиняемая оставалась в своем горностаевом манто и вечернем платье со всеми драгоценностями... На следующий день она была допрошена опытным следователем. Несомненно, этот допрос можно считать образцовым. Она очень красива. Не буду отрицать, она в то же время жестока, но и очень красива.... И вот эта женщина растерялась, запуталась в своих показаниях, стала лгать, отпираться. Она клянется, да еще с какой искренностью, что Бернар Мартен никогда не был ее любовником, она утверждает это, несмотря на полное отсутствие правдоподобия и логики. Она плачет, она умоляет и, в конце концов, признается. Следователь, умело проанализировав ее слова, засы-

пает ее вопросами и восстанавливает всю ее историю, увы, совершенно банальную... Стареющая женщина, любительница приключений, увлечена молодостью мальчика, остротой неизведанных ощущений, может быть, даже его скромным положением, кто знает?.. Она явно устала от любви на своем уровне... Она уступает ему, потом спохватывается и, как женщина богатая, решает, что если любовнику заплачено, то он удовольствуется этой подачкой и исчезнет из ее жизни...

Но ее красота, ее положение в обществе не позволяют юноше забыть ее. Ведь до сих пор он встречал только девушек из ночных заведений или дешевых проституток... Он преследует богатую красавицу, угрожает ей... Ее охватывает страх, и она убивает его... Ее поведение во время следствия выглядит волнующим. На каждый вопрос следователя она сначала пытается защищаться, потом признается и соглашается со всем... Она ничего не объясняет. Ей стыдно. Из-за стыда она идет на любые увертки, как вы только что сами видели это, господа судьи. Но факты, относящиеся к преступлению, логичное изложение случившегося не позволяют ей отпираться. «Да», говорит она, и такое же «да» звучит в ответ на главный вопрос: убила ли она умышленно? После этого она отказывается от сказанного, понимая важность своего ответа. Она настаивает на убийстве в момент помутнения рассудка. Тем не менее вы, обвиняемая, прожили много лет, не владея оружием. Но сейчас, всего через три недели после знакомства с Бернаром Мартеном, вы идете в оружейную лавку и с тех пор не расстаетесь с револьвером. Это верно?

— Он лежал в ящике прикроватной тумбы.

— Зачем вы его приобрели?

— Я не знаю...

— Весьма многозначительный ответ... Но все же, скажите правду! Вы собирались убить Бернара Мартена?

— Клянусь, нет, — дрожащим голосом ответила она.

— Для кого тогда предназначался этот револьвер?.. Для вас самой? Для графа Монти, которого вы, как говорят, ревновали? Для вашей соперницы?

— Нет, нет, — бормотала обвиняемая, закрыв лицо руками. — Перестаньте допрашивать меня, я больше ничего не скажу... Я призналась во всем, во всем, чего вы хотели от меня!..

— Хорошо! Мы перейдем к заслушиванию свидетелей. Распорядитель, введите первого свидетеля.

В зал вошла женщина. По ее лицу оливкового цвета текли слезы. Поблескивавшие глаза перебегали от скамьи подсудимой к пурпурным мантиям судей.

Снаружи доносился монотонный шум дождя. Один из скучавших в зале журналистов нацарапал на листке бумаги фразу из своего будущего романа: «Ветер вырывал из крон платанов, обрамляющих Сену, протяжные стоны».

— Ваши имя и фамилия...

— Ларивьер Флора Адель.

— Сколько вам лет?

— Тридцать два года.

— Ваша профессия?

— Горничная мадам Эйзенах.

— Вы не можете присягать. Я буду допрашивать вас, используя свою неограниченную власть. Когда вы поступили на работу к обвиняемой?

— 19 января будет семь лет, как я работаю у мадам.

— Расскажите, что вы знаете о преступлении. Ваша хозяйка собиралась провести рождественскую ночь вместе с графом Монти?

— Да, господин председатель.

— Она сказала вам, когда вернется?

— Да, она сказала, что вернется очень поздно. И добавила, что мне не нужно ожидать ее.

— Такое уже случалось до этого? Или вы, как правило, дожидались ее возвращения?

— За месяц до этого я болела и все еще сильно уставала. Мадам была совсем не такой, как большинство хозяек; она заботилась о своих работниках. Она ласково обратилась ко мне: «Вы слишком утомляетесь, моя бедная Флора. Я запрещаю вам дожидаться меня. Я разденусь сама».

— Как вам показалось, она была этим вечером такая же, как всегда? Она не была встревожена или взволнована?

— Она была печальна... Она часто бывает печальной. Я несколько раз видела, как она плакала.

— Как вы думаете, в чем причина этих слез?

— Это ревность к господину графу.

— Продолжайте рассказ.

— Когда мадам уехала, я легла спать. Моя комната на этом же этаже, она отделена от комнаты мадам коридором. Меня разбудил телефонный звонок. Я увидела, что за шторами начинает светать; было четыре или пять часов утра. Иногда, когда мадам возвращалась, господин граф звонил ей в это время. Наверное, мадам хотела быть уверенной, что он возвращался к себе после того, как они расстались. Поэтому она тоже иногда звонила ему под предлогом, что хочет еще раз услышать его голос. Я слушала, как звонил телефон, но никто не подходил к нему. Это встревожило меня, и я почувствовала, что случится что-то плохое. Я встала и вышла в коридор. Здесь я прислушалась. Я услышала голос хозяйки и какого-то мужчины. Почти сразу же раздался выстрел.

— Продолжайте.

— Я сходила с ума от тревоги и сразу же бросилась к комнате хозяйки, но... Не знаю почему, только я не решилась войти... Остановившись возле дверей, я прислушалась. Из комнаты не доносилось ни звука — ни слова, ни вздоха, ничего... Я открыла дверь и вошла. Никогда не забуду того, что я увидела... Мадам сидела на постели в вечернем платье и в своем горностаевом манто, на ней были драгоценности. Ее освещала небольшая лампа на туалетном столике. Она не плакала. Лицо ее было бледным и страшным. Я окликнула ее, потом схватила за руку, повторяя: «Мадам! Мадам!» Казалось, она не слышит меня. Потом она посмотрела на меня и сказала: «Флора, я убила его...» Первое, что я подумала, — она убила своего друга... Что она поругалась с господином графом и выстрелила в него, не сознавая, что делает. Я огляделась. Я была так взволнована, а в комнате было так темно, что я увидела какую-то темную массу, как если бы на пол бросили груду одежды. Когда я включила свет, то увидела валявшийся на полу телефон, а возле него револьвер. Потом я увидела лежавшего на полу человека... Святая Дева, я склонилась над ним и не поверила своим глазам. Это был не господин граф, но юноша, которого я никогда не видела...

— Вы никогда не встречали жертву там, где жила ваша хозяйка или еще где-нибудь?

— Никогда, господин председатель.

— И обвиняемая никогда не называла при вас его имя?

— Никогда, господин председатель, я никогда не слышала его имени.

— Что вы сделали, когда обнаружили тело несчастного юноши?

— Я подумала, что он, может быть, еще дышит, и сказала об этом мадам. Она встала и упала на колени рядом со мной. Она приподняла голову этого человека... Бернара Мартена... и некоторое время держала ее

в таком положении. Она молча, не шевелясь, смотрела на него. Действительно, делать было нечего. Из уголка рта у него стекала струйка крови. Он казался очень юным; заметная худоба и впалые щеки говорили, что он плохо питался. Одежда у него намокла, словно он долгое время находился под дождем... Этой ночью шел дождь... Я сказала: «Ничего не поделаешь. Он мертв». Мадам ничего не ответила... Казалось, она не может отвести от него свой взгляд... Потом она взяла свою сумочку, по-прежнему не отводя глаз от Бернара Мартена... Она достала из сумочки платок и стерла с губ убитого кровь и пену. Затем она глубоко вздохнула и посмотрела на меня так, словно очнулась... Встав, она сказала мне: «Вызови полицию, бедная моя Флора...» Не могу передать, как эти ее слова потрясли меня... Я поняла, что она чувствует себя теперь страшно одинокой и обращается ко мне как к единственному оставшемуся у нее другу... И я сказала ей: «Ведь это грабитель, правда?..»

— И вы действительно так думали?

— Нет, я так не думала... Ведь я должна говорить правду, не так ли?.. Но я не могла поверить, что госпожа, такая нежная, такая добрая со всеми, могла убить просто так, без причины... Я подумала, что он, наверное, заставил ее страдать, что он как-то угрожал ей.

— Ваша преданность хозяйке делает вам честь. И все же вам не стоило подсказывать обвиняемой совершенно детскую ложь, которая только осложнила бы ее положение. Что вам ответила обвиняемая?

— Ничего. Она вышла из комнаты... Я услышала ее шаги в коридоре и пошла за ней... Она ломала руки, как сейчас... Потом она вошла в мою комнату и бросилась на мою постель. И она оставалась неподвижной до приезда полиции. В комнате было холодно... Я хотела набросить одеяло на ее ноги и заметила, что она спит. Проснулась она только после появления полицейских. Вот и все.

— Господа судьи? Господин заместитель прокурора? У вас есть вопросы к свидетельнице?

Заместитель прокурора сказал:

— Мадемуазель Ларивьер, вы постарались очень подробно описать нам обвиняемую как женщину мягкую, добрую, которую любили все слуги. Я ничего не могу возразить по этому поводу. Но вы совершенно ничего не сказали о моральном облике обвиняемой. Мы не будем напоминать сейчас об установленных нами многочисленных ее связях, таких, к примеру, как с молодым англичанином Джорджем Каннингом, убитым на фронте в 1916 году, или с Гербертом Ласи, с которым обвиняемая познакомилась в 1925 году, когда вернулась в Париж после продолжительного отсутствия. И также о всех предыдущих ее знакомствах. Но вы служите у обвиняемой с 1928 года. Знаете ли вы кого-нибудь из ее любовников?

— Господина графа Монти.

— Это общеизвестно. Но кроме него?

— Никого с тех пор, как она познакомилась с графом Монти... Я могла бы поклясться в этом...

— Вы сказали это в условном наклонении, так?

— Я не понимаю вас...

— Ладно, оставим это... Вы можете утверждать, что до графа Монти в жизни вашей хозяйки не было другого мужчины?

— Она не откровенничала со мной.

— Понимаю. Но разве вы не сказали однажды своей подруге — я цитирую дословно сказанное вами, — что было бы хорошо, если бы госпожа так сильно привязалась к господину графу, чтобы она перестала искать приключения. Вы говорили это?

— Да, то есть...

— Говорили или нет?

— Да, у госпожи были любовники до господина графа, но ведь она женщина свободная, вдова, у нее нет детей.

— Это возможно. Тем не менее защита не должна представлять нам обвиняемую в облике женщины без упреков, случайно оказавшейся во власти мерзавца. Я пытаюсь доказать, и господа судьи поняли меня, что у Гледис Эйзенах это был далеко не первый любовный опыт, и было бы крайне удивительно, если бы этот мальчик Бернар Мартен мог напугать ее до такой степени, что вынудил совершить убийство. Обвиняемая пытается представить себя как жертву.

Но мы не знаем, не был ли Бернар Мартен двойной жертвой этой женщины? Бернар Мартен, господа судьи, которого здесь пытаются запачкать, изображая его как невесть какого жиголо, как самого отвратительного сутенера, был умным, прилежным ребенком. Нет никаких оснований высказывать о нем отвратительные предположения! Жертва, готовившая диссертацию по литературе, вела в Латинском квартале самую скромную жизнь, занимая жалкую комнатушку в третьеразрядном отеле. После него осталось всего четыреста франков! Скромная одежда, никаких драгоценностей. Разве это, позволю себе задать вам вопрос, характерно для жиголо, которого содержит богатая женщина и который одержим жаждой к насилию? Не эта ли женщина, использующая свою красоту, свое богатство, свое положение в обществе, женщина, которую вы видите перед собой, завлекла его в свои сети, чтобы развратить, перед тем как убить его? Эти куртизанки высшего света могут быть более опасными, чем другие, потому что они более красивы и более искусны! Нужно разоблачить лицемерие, заключающееся в том, что их прославляют, оставляя все презрение служительницам продажной любви! Тем, о ком я говорю, этим Гледис Эйзенах, требуется душа их любовников, их жизнь!.. Обвиняемая одурачила графа Монти! Она играла чувствами этого благородного человека, она не колеблясь изменила ему с неизвестным юношей!.. Она забавлялась потерявшим голову Бернаром Мартеном! Но ее игры стали опасными!

Господа судьи, Бернар Мартен, которого пытаются запятнать здесь, изображая его самым мерзким сутенером или жиголо, был умным и трудолюбивым юношей. Ничто не позволяет высказывать в его адрес столь отвратительные предположения! Жертва, трудившаяся над подготовкой диссертации по литературе, вела в Латинском квартале самый скромный образ жизни. Скромная одежда, никаких драгоценностей. Я спрашиваю вас, разве так мог жить жиголо, обхаживаемый богатой женщиной? Не кажется ли вам, господа судьи, что известная в высших кругах общества женщина, обладающая красотой и богатством, а именно эта женщина, находящаяся сейчас перед вами, завлекла бедного юношу в свои сети, чтобы развратить его перед тем, как убить? Эти светские львицы, эти куртизанки могут быть опаснее прочих, так как они более красивы и более изощренны! Необходимо разоблачать лицемерие, с которым возвеличивают их, в то же время обливая презрением жриц платной любви! Тем, кого я имею в виду, то есть женщинам, подобным Гледис Эйзенах, требуется не только любовь, но и душа их любовников, их жизнь!.. Обвиняемая дурачила графа Монти! Она играла чувствами этого интеллигентного мужчины, она, не колеблясь, изменила ему с неизвестным молодым человеком!.. Она развлекалась тем, что заставила Бернара Мартена потерять голову. Но постепенно игра стала опасной. Тогда она приобрела револьвер и хладнокровно, безжалостно расправилась с этим мальчишкой, который продолжал бы учебу, если бы не познакомился с ней, и, кто знает, впоследствии мог бы стать счастливым, полезным обществу человеком!

— Мадемуазель Ларивьер, — сказал адвокат. — Один вопрос, прошу вас. Любила ли ваша хозяйка графа Монти? Отвечайте, как ответила бы тонко чувствующая женщина.

— Она обожала его.

— Благодарю вас, мадемуазель. Этих трех слов достаточно для ответа на высокопарные утверждения заместителя прокурора. Короткая, такая точная фраза. Она обожала своего любовника. Любящая, ревнующая, разве не могла она, не подумав, попытаться пробудить у него кратковременную ревность?.. Или она просто уступила притязаниям преследовавшего ее юноши? Возможно, потом она испугалась скандала и застрелила его, о чем будет потом жалеть всю жизнь? Разве это объяснение не проще, не логичнее и не более человечно, чем попытка превратить эту женщину, безусловно, виновную, я не отрицаю этого, но такую очаровательную и нежную, в подобие вампира из плохого кинофильма?

Председатель отпустил свидетельницу. Обвиняемая выглядела смертельно уставшей. Время от времени ее черты отражали нечто вроде болезненной скуки. Ее горничная, возвращавшаяся в зал, робко улыбнулась ей, словно стараясь подбодрить, и обвиняемая заплакала. Слезы заструились по ее бледным щекам. Она попыталась смахнуть их тыльной стороной ладони, потом опустила глаза и застыла в оцепенении.

Снаружи не переставая лил дождь. Небо потемнело, и в зале включили освещение. В желтоватом свете лицо обвиняемой неожиданно показалось трагичным, не имеющим возраста; ее черты сохраняли неподвижность; казалось, жизнь осталась только в ее прекрасных испуганных глазах.

— Пригласите следующего свидетеля, — обратился председатель к служащему.

В помещении было очень душно; сидевшие в зале суда молодые адвокаты казались черным пятном.

— Ваше имя и фамилия? — обратился председатель к вошедшему.

— Альдо де Фьесчи, граф Монти.

Это был мужчина лет сорока, высокий, с чисто выбритыми щеками, правильными чертами лица, жестким ртом, светло-серыми глазами с длинными ресницами.

Какой-то мужчина, сидевший в зале, негромко произнес, наклонившись к уху соседки:

— Бедный Альдо... Знаете, что он сказал мне на следующий день после убийства? Он был потрясен, его невозмутимость, его высокомерие покинули его... «Ах, мой дорогой, почему она не убила меня вместо этого мальчишки?..» Он никогда не простит ей обрушившийся на него позор, нагромождение бесчестных поступков...

— Что вы знаете об этом?.. Мужчины иногда ведут себя так странно... Конечно, она спала с беднягой Мартеном только для того, чтобы вызвать у него ревность. А чтобы Монти не узнал правду, она убила его... Это вполне очевидно...

— Подобного объяснения будет придерживаться и защита...

Председатель спросил у свидетеля:

— Вы провели с обвиняемой вечер, после которого было совершено преступление?

— Да, господин председатель.

— Вы познакомились с обвиняемой в 1930 году?

— Да.

— Вы собирались жениться на ней?

— Да, господин председатель.

— Сначала Гледис Эйзенах согласилась на брак с вами. Но позднее она передумала, не так ли?

— Да, она передумала.

— Почему?

— Она не хотела терять свободу.

— А других оснований для этого у нее не было?

— Нет, она не говорила ничего другого...

— Вы повторили свое предложение?

— Да, неоднократно.

— И каждый раз она давала отрицательный ответ?

— Совершенно верно.

— У вас не было ощущения в последнее время, что у обвиняемой имеется тайный возлюбленный? Что у вас появился соперник?

— Нет, я не подозревал о сопернике...

— Расскажите нам, как вы провели вечер, предшествовавший преступлению. Это был последний вечер, проведенный вами вместе.

— Я заехал за госпожой Эйзенах около половины девятого. Она выглядела как обычно, не взволнованной и не печальной. Мы поужинали в ресторане у Чиро. Вечер мы собирались закончить у Флоранс с нашими общими друзьями, четой Персье... Разошлись мы примерно около трех часов. Так как моя машина была в ремонте, мы воспользовались машиной госпожи Эйзенах... Я подвез ее к гостинице, затем отправился домой.

— Вы видели, как она зашла к себе?

— Я, разумеется, хотел выйти из машины, чтобы открыть ей двери в гостиницу, но весь вечер меня мучила сильная головная боль... Я держался только на таблетках аспирина... В машине меня начало лихорадить... Госпожу Эйзенах обеспокоило мое состояние, и она попросила меня не выходить из машины. Тем более что ночь была очень холодной... Я помню, что шел сильный дождь и дул необычно сильный ветер... Тем не менее меня рассмешила ее обеспокоенность. Я привык на войне к непогоде и прочим мелким неприятностям, чтобы придавать им значение... Между нами даже завязался шутливый спор... Но как только я взялся за дверную ручку, госпожа Эйзенах остановила меня и выскочила из машины. Она крикнула шоферу: «Отвезите господина графа домой...» Я едва успел поцеловать ей руку, как машина тронулась.

— Наверно, она заметила ожидавшего ее Бернара Мартена?

— Вполне возможно, — сухо ответил граф Монти.

— И вы больше ничего не слышали о госпоже Эйзенах до следующего утра?

— Вернувшись домой, я позвонил ей, как это было принято у нас, но никто не снял трубку. Я подумал, что госпожа Эйзенах уже заснула. Было начало седьмого, когда меня разбудила горничная Флора, сообщившая мне страшную новость. Она сказала, чтобы я приехал немедленно, не теряя ни секунды, потому что случилось нечто ужасное. Вы, конечно, догадываетесь, как я перепугался... Поспешно одевшись, я помчался в отель. Когда я появился там, полиция уже оказалась на месте. В отеле было полно народу, и тело несчастного уже остыло.

— Вы видели убитого когда-нибудь раньше?

— Нет, никогда.

— Соответственно, вы не представляли, как его зовут?

— Разумеется.

— Господа судьи, у вас есть вопросы к свидетелю? Господин заместитель прокурора?..

— Господин граф, — произнес, наконец, адвокат защиты, — правда ли, что обвиняемая проявила ревность, когда вы начали ухаживать за одной из ее подруг? Она что-нибудь говорила вам по этому поводу?

— Не помню, — пожал плечами граф.

— Постарайтесь все же вспомнить.

— Вообще-то, — сказал, помолчав, свидетель, — госпожа Эйзенах была в последнее время весьма ревнива или, по крайней мере, раздражительна...

— Конечно, — воскликнул защитник с плохо скрываемой ноткой торжества в голосе, — это было до ее знакомства с Бернаром Мартеном. Разве это не совпадает с тем, что я только что попытался довести до сведения господ судей: перед нами одинокая, никем не понятая женщина, пытающаяся найти хоть в чем-то утешение и хотя бы крохи любви у незнакомых людей, женщина обманутая, вынужденная переносить издевательства того, кого так обожала...

— Такого, чтобы ей не хватало моей нежности, никогда не было, — сказал граф. Его тонкие пальцы нервно впились в край трибуны для свидетелей.

— На самом деле? Это правда?

— Я был искренне привязан к госпоже Эйзенах, — проговорил граф. — Моим самым большим желанием было жениться на ней, создать семью... Но она этого не хотела... Поэтому нельзя обвинять меня в том, что я иногда предавался совершенно невинным развлечениям, что пытается вменить мне в вину защита!

— Действительно, — сказал председатель, повернувшись к обвиняемой, — он старался обеспечить вам достойное существование, тогда как вы, похоже, всегда предпочитали любовь, желательно с острыми ощущениями.

Она ничего не ответила. Ее охватила сильная нервная дрожь.

Защитник продолжал, обращаясь к графу Монти:

— Возможно ли, что вы, кого так сильно любила обвиняемая, способствовали возникновению легенды, создававшей из бедной и слабой любящей женщины образ создания взбалмошного и развращенного? Которое больше, чем вы, заслуживало снисхождения?.. Возможно, если бы она чувствовала в вашем отношении к ней более сильную привязанность, то это было бы спасением для нее?

Голос знаменитого адвоката зазвучал немного громче.

— Ах, господин граф, вы заставляете меня использовать неприятные детали... Хотя мне нелегко поступать таким образом...

Короче, мне придется коснуться неприятной темы, так что прошу меня простить... Скажите, разве ваши финансы в момент встречи с госпожой Эйзенах не находились в весьма сложном положении?

Журналисты на скамье для прессы поспешно записали: «Неожиданный инцидент. Председатель прерывает заседание».

После возобновления заседания свидетель заявил:

— Правда заключается в том, что главным богатством моей семьи является земля, а не деньги, и поэтому у нас никогда не было доходов, соответствующих нашему положению в обществе.

Тем не менее я уверен, что ни в Италии, ни в Париже никто не сможет обвинить меня, не искажая истины, что у меня были долги или что я совершал экстравагантные поступки.

Большое состояние госпожи Эйзенах имело для меня гораздо меньшее значение по сравнению с ее личными качествами и ее привлекательностью. Конечно, я не рассматривал ее богатство как препятствие нашему союзу, хотя и рассчитывал вести после нашего брака соответствующий, достаточно яркий, образ жизни.

Я мог наградить свою невесту именем, позволяющим ей забыть мою бедность, впрочем, достаточно относительную... Я удивлен, что меня упре-

кают в том, что я стеснялся упоминать о денежных проблемах, наличие которых у благородного римлянина обычно никого не удивляет.

— Суд принимает исключительно корректный ответ свидетеля, — заявил председатель. — Прошу пригласить следующего свидетеля.

Перед судом появилась невысокая красивая женщина с острыми чертами бледного лица, прикрытого короткой вуалью. Она неторопливо стянула длинные черные перчатки, чтобы присягнуть на Библии.

— Ваши имя и фамилия?

— Жанин-Мари-Сюзанна Персье.

— Ваш возраст?

— Двадцать пять лет.

— Ваш адрес?

— Дом номер восемь на улице Фэзандри.

— Ваша профессия?

— Не имею.

— Вас вызвали как свидетельницу, поскольку вы были четвертым лицом, принимавшим участие в ужине, предшествовавшем драме. Вы ведь также были доверенной подругой обвиняемой?

— Действительно, Гледис Эйзенах была замечательной подругой. Я очень любила ее. Я испытываю к ней искреннюю симпатию, и соответственно, мне очень жаль ее.

Она повернулась к обвиняемой с улыбкой, словно ожидая ответной на ее слова.

Гледис с усилием выпрямилась и пристально посмотрела на свидетельницу; на ее лице появилось печальное выражение. Несколько мгновений женщины словно сражались взглядами; потом обвиняемая подняла воротник манто и опустила глаза.

— Были ли вы в курсе сентиментальных переживаний вашей подруги?

— Господи, ваша милость, разве вы не знаете, что такое женская дружба?.. Это обычная болтовня... Обмен адресами портних, совместные прогулки, очень редко — откровенные разговоры. Конечно, мне, как и всем окружающим, было известно о связи Гледис с графом Монти. Но, кроме графа, я никого не могу назвать, по крайней мере, достаточно достоверно.

— Вам известна причина, по которой ваша подруга упорно отказывалась от брака с графом Монти?

— Я думаю, — ответила Жанин Персье, слегка пожав плечами, — что она стремилась сохранить свободу, которой очень дорожила, если судить по тому, как она ее использовала.

— Уточните, пожалуйста.

— Я не хочу сказать ничего плохого, упаси Бог... Я только повторяю общеизвестное... Гледис была невероятно легкомысленна... Она обожала флиртовать, принимать ухаживания мужчин, но ведь это не преступление...

— Безусловно, если ограничиваться только этим...

— Для нас с мужем граф Монти был лучшим другом, и мы часто предостерегали его от брака, который мог стать, по моему мнению, несчастьем для них обоих...

— Тем не менее их связь была счастливой?

— По крайней мере она выглядела такой... Но бедная Гледис была чрезмерно, болезненно ревнива. И она была крайне вспыльчива, несмотря на внешнюю мягкость... Когда я узнала о жутком преступлении, я не удивилась... Мне всегда казалось, что в душе у Гледис скрывается тайная трагедия. Она была... загадочной... И чрезмерно требовательной... Она требовала от мужчин верности, которую в наши дни, увы, редко встретишь... Она рассчитывала на преданность, оправданную ее красотой, но что касается ее

возраста... Она не хотела понять все это... Она никогда не хотела признать, что страсть ее друга уже угасла, что у него, конечно, сохранилась привязанность... Поэтому она должна была стать более терпимой, более снисходительной... Поскольку ее сентиментальная жизнь была весьма насыщенной, это сказывалось на ее характере, делало ее мрачной, раздражительной...

— Что вы можете рассказать о предшествовавших трагедии часах, об этом позднем ужине, за которым последовала трагедия?

— Мы с мужем ужинали у Чиро, где встретили Гледис и графа Монти... Мы решили закончить вечер у Флоранс. Вечер закончился без происшествий. Шампанское, танцы... Все закончилось ранним утром. Это все.

— Вам не показалось, что обвиняемая сильно нервничает?

— Да, господин председатель, она показалась мне крайне нервной, беспокойной. Стоило Монти взглянуть, подчеркнем, совершенно невинно, на какую-нибудь женщину, как она бледнела и вздрагивала... Уверяю вас, она выглядела весьма жалко... Мне хотелось успокоить ее... Но как?... Помню, я обняла ее от всего сердца, надеясь, что она поняла, как я люблю ее. Сейчас я рада, что не сдержала тогда свой порыв... Стоит только подумать, что ей пришлось пережить с того вечера...

— Вы когда-нибудь встречали Бернара Мартена у обвиняемой?

— Никогда, господин председатель.

— А вы хотя бы знали его имя?

— Нет.

— Известны ли вам другие подобные связи, о которых вам сообщила бы или сама обвиняемая, или кто-либо посторонний?.. Вы колеблетесь?.. Не забывайте, что вы должны говорить правду.

— Я действительно не знаю, что и сказать... — Жанин Персье нервно комкала свои длинные перчатки

— Только правду, мадам. Или вы предпочитаете, чтобы я допросил вас?.. Вы сообщили следствию, что вас не удивило трагическое событие, что это должно было случиться, что рано или поздно госпожа Эйзенах должна была оказаться в сетях проходимца... Я дословно цитирую сказанное вами.

— Если это было сказано на следствии, значит, это правда...

— Постарайтесь уточнить, мадам. Вы находитесь здесь, чтобы помочь правосудию.

— Сказав это, я, признаюсь, подумала о... Об одном месте на улице Бальзака, которое несчастная посещала.

— Вы имеете в виду дом свиданий?

— Да. Я не должна скрывать от правосудия эти визиты; ведь они, какими бы ненормальными и странными ни казались, могут раскрыть патологические черты характера моей несчастной подруги.

Председатель посмотрел на Гледис Эйзенах.

— Это правда?

— Да, правда, — произнесла она усталым голосом.

Председатель воздел к потолку руки в широких красных рукавах:

— Но какое постыдное наслаждение вы там искали?.. Сохранившая красоту, связанная с галантным кавалером, благодаря какому отклонению вы стремились в постель неизвестно к кому? Ведь вы богаты, так что вас не оправдывает даже потребность в деньгах, которая, увы, так часто приводит туда женщин... Вы не хотите ответить?

— Я ничего не отрицаю, — негромко сказала обвиняемая.

— Вы закончили, свидетельница?

— Да, господин председатель. Позволено ли мне просить у судей снисхождения к несчастной женщине?

— Это обязанность не ваша, а защиты, — ответил председатель с едва заметной улыбкой. — Вы свободны, мадам.

Свидетельница отошла от барьера, уступив место другим свидетелям. Это были незначительные личности, консьержка отеля, где проживала обвиняемая, затем ее шофер. Их слова казались неловкими, даже смешными, но все они пытались оправдать Гледис Эйзенах, насколько это было в их силах. Потом выступили врачи; одни говорили о психическом состоянии обвиняемой: «нервная, раздражительная, но полностью отвечающая за свои поступки». Другие описывали состояние тела жертвы.

Из толпы утомленных зрителей доносился негромкий непрерывный шум; некоторые слова и жесты свидетелей вызывали вспышки нервного смеха.

— Вызовите следующего свидетеля.

У барьера появился пожилой мужчина с бледным лицом и седой шевелюрой; в уголках его тонких губ таились складки, свидетельствовавшие о его усталости. Увидев его, обвиняемая тяжело вздохнула и, наклонившись вперед, жадно всмотрелась в мужчину.

Она плакала; сейчас она выглядела усталой и постаревшей, раздавленной свалившимся на нее позором...

— Как вас зовут?

— Клод-Патрис Бошан.

— Ваш возраст?

— Семьдесят один год.

— Ваш адрес?

— Дом номер 28 на Почтовом бульваре в Веве, Швейцария. В Париже я проживаю в доме номер 12 на набережной Малакэ.

— Ваша профессия?

— Не имею.

— Нужно говорить громче, чтобы вас слышали судьи. Это возможно?

Свидетель кивнул, потом негромко сказал, стараясь произносить слова как можно более отчетливо:

— Да, господин председатель. Прошу извинить меня. Я старый больной человек.

— Может быть, вам стоит сесть?

Свидетель отказался.

— Вы близкий родственник обвиняемой, единственный доживший до наших дней?

— Гледис Эйзенах — урожденная Бурнера. Я женился на Терезе Бурнера. Отец моей жены был братом отца Гледис Эйзенах. Они были богатыми судовладельцами в Монтевидео. Сальвадор Бурнера, отец моей кузины, был умным, высокообразованным человеком. К несчастью, он разошелся с женой, и кузина была воспитана матерью, обладавшей, как мне кажется, очень сложным характером. Она вскоре перестала общаться с родственниками. Моя жена впервые увидела кузину, тогда еще ребенка, во время поездки в Экс-ле-Бен... Жена пригласила ее побывать у нас в Лондоне, где мы в то время жили...

— Когда это было?

Свидетель долго молчал. Он с жалостью смотрел на обвиняемую, казавшуюся в электрическом свете бледной и измученной. Она опустила глаза. Свидетель вздохнул.

— Я не помню... Это было так давно...

— Вы можете рассказать господам судьям о характере обвиняемой в то время?

— Тогда она была веселой и ласковой девушкой... Старалась заслужить одобрение окружающих... Больше всего ей хотелось, чтобы за ней ухаживали молодые люди...

— Вам приходилось видеться с ней с тех пор?

— Очень редко. Кузина вышла замуж за Ришара Эйзенаха. Она много путешествовала... Когда она проезжала через Париж, я всегда старался повидаться с ней. Но я редко находился в Париже в такие моменты. У моей жены было слабое здоровье, и мы много времени проводили в Швейцарии. Но мой сын Оливье часто виделся с семьей Эйзенах... В 1914 году, за несколько месяцев до смерти бедняжки Марии-Терезы, дочери моей кузины, я посетил Антиб, и мы встретились с ней... После этого я уехал в Швейцарию, в Веве. Мой сын погиб на войне, и я окончательно перебрался в Веве, потому что мне подходит горный климат этих мест... Больше я с кузиной не встречался.

— Так что вы впервые видите кузину после двадцатилетнего перерыва?

— Совершенно верно, господин председатель.

— Вас пригласили свидетелем по этому печальному делу потому, что на квартире у обвиняемой обнаружили ваше письмо к ней... Это письмо находится у нас, и сейчас его прочитают судьям.

Обвиняемая слушала, низко опустив голову.

«Вы должны приехать, чтобы спасти меня... Не удивляйтесь тому, что я зову вас на помощь... Наверное, вы давно забыли меня... Но, кроме вас, у меня больше нет близкого человека... Все мои знакомые и друзья давно умерли, я осталась одна. Иногда мне кажется, что я нахожусь на дне глубокого колодца, в бездне одиночества... Только вы еще можете вспомнить ту женщину, которой я была прежде. Мне очень стыдно, но я все же заставила себя обратиться к вам, только к вам, потому что когда-то вы любили меня...»

— Письмо было запечатано, на конверте написан ваш адрес, но оно так и не было отправлено.

— Мне очень жаль, что так получилось, — негромко произнес Бошан.

— Обвиняемая, вы хотите что-нибудь сказать своему кузену об этом письме?

Она с усилием встала и кивнула.

— Да, хочу.

— Вы хотели рассказать ему о Бернаре Мартине?.. Поделиться с ним своими тревогами, вызванными связью с ним?.. Просить его посоветовать вам что-нибудь? Жаль, что вы не отправили это письмо...

— Может быть, — медленно проговорила она, пожав плечами.

— Свидетель, обвиняемая когда-нибудь писала вам в последние годы?

— Никогда. Последнее письмо от нее, полученное мной, было написано сразу после смерти ее дочери.

— Как вы считаете, способна ли обвиняемая на насильственные действия?

— Нет, господин председатель.

— Очень хорошо, благодарю вас.

Свидетель отошел от барьера. На его месте один за другим появились другие свидетели. Гледис иногда поднимала взгляд, словно пыталась увидеть перед собой знакомого. На обращенных к ней лицах недавнее неприятное и жадное любопытство постепенно сменялось выражением безразличия. Все отчетливее ощущалось утомление, неизбежное в конце продолжительного заседания. Из коридора через неплотно закрытые двери то и дело доносился глухой ропот, словно от морских волн, разбивающихся об утес. Публика уже без каких-либо эмоций смотрела на бледное лицо обвиняемой, на ее дрожащие губы. Так смотрят на хищное животное за прутьями клетки, животное, когда-то опасное, но сейчас израненное, полумертвое, уже не способное пустить в ход когти и зубы.

Ухмыляясь, пожимая плечами, зрители обменивались приглушенными фразами:

— Какое разочарование... А ее еще считали красивой... Она выглядит как старуха...

— Нет, вы несправедливы... Хотела бы я посмотреть на вас после нескольких месяцев в тюрьме, без косметики на лице... При этом неизбежные угрызения совести...

— Она неплохо держится, в ней чувствуется порода... Взгляните на ее руки — какие они красивые...

— Этими руками она убила человека...

— С таким состоянием трудно стать убийцей... Это доказывает...

В последних рядах зрителей какая-то женщина вздохнула:

— Надо же, обманывать такого любовника, как Монти...

Сменявшиеся у барьера свидетели сейчас говорили о жертве, но пресыщенная толпа едва прислушивалась к ним. В этом процессе почти все внимание концентрировалось на обвиняемой; жертва оставалась всего лишь бледной тенью.

В обстановке полного безразличия публика услышала, что Бернар Мартен родился 13 апреля 1915 года в городке Бейкс, в Приморских Альпах. Родители его неизвестны. Позже его усыновил Мартьял Мартен, бывший метрдотель, живший без брака с Бертой Супросс, бывшей кухаркой. Когда-то они находились на службе у графов Жу, обеспечивших им пожизненную ренту. Мартьял Мартен скончался в 1919 году, а Берта Супросс в 1932-м. Похоже, они искренне любили малыша Бернара. Они бережно воспитывали его в условиях, превышавших их возможности. Потом мальчик получил стипендию в престижном коллеже. Было зачитано показание одного из преподавателей.

«Характер молчаливый, угрюмый, неуживчивый. Исключительные умственные способности, иногда напоминающие юного гения. По крайней мере, чертами его характера, свойственными подобной личности, являются упорство, терпение и проницательность».

— Это взято из моих личных записей того периода, когда ребенок становился подростком. Теперь же я могу, уточняя свои воспоминания, добавить, что в нашей жизни подобный талант терпения и прозорливости обычно находится на службе пустых развлечений. Казалось, что единственной целью Бернара Мартена была победа над текущими трудностями, и как только он добивался этого, его интерес к проблеме в целом тут же пропадал, хотя у него как раз были возможности решить ее. Еще ребенком он поспорил с одним из своих одноклассников, что выучит английский язык. И он самостоятельно, используя только словари, добился этого всего за три месяца. Но, освоив язык на довольно высоком уровне, он перестал им интересоваться и никогда впоследствии не произнес ни одного слова по-английски. Прирожденный математик, один из лучших учеников в моем классе, он поступил на филологический факультет, несомненно, подталкиваемый к этому извращенным любопытством и амбициями, проявившимися в нем уже в двенадцатилетнем возрасте. Он почти не поддавался постороннему влиянию. Он относился к детям, которых не может улучшить положительное влияние, но не может и испортить дурное влияние. Казалось, он живет по собственным законам и подчиняется только своим правилам поведения.

Скромный в быту, пожалуй, даже со склонностью к аскетизму, весьма амбициозный, — его характеру меньше всего соответствовала роль любовника богатой женщины. Несомненно, его привлекла престижность светской жизни; его всегда угнетало происхождение из низов, и он мечтал занять видное место в обществе.

Я очень жалею, что произошла трагедия, в результате которой он лишился жизни, потому что был всегда уверен в его прекрасном будущем.

— Введите следующего свидетеля.

К барьеру подошел юноша лет двадцати, по-видимому, уроженец Ближнего Востока. Его густые черные волосы были плохо пострижены, лицо казалось сухим, словно обожженным внутренним огнем. Он говорил быстро, слегка запинаясь, вероятно, стыдясь своего иностранного акцента.

— Ваше имя?

— Константин Слоти.

— Возраст?

— Двадцать лет.

— Адрес?

— Дом номер 6 по улице Фоссе-Сен-Жак.

— Профессия?

— Студент медицинского факультета.

— Вы не являетесь родственником или свойственником обвиняемой... Вы не находитесь у нее на службе, как и она не находится на вашей... Вы даете клятву говорить без злобы и без опасений, говорить правду, всю правду и только правду? Поднимите правую руку и произнесите: «Я клянусь в этом». Вы были знакомы с Бернаром Мартеном?

— Мы жили в соседних комнатах.

— Он вел с вами доверительные разговоры?

— Никогда. Это не тот тип... Он вообще мало говорил.

— По-вашему, что это был за человек?

— Холодный, резкий, необщительный... У нас были общие друзья, юноши и девушки. Кто угодно скажет вам то же самое.

— Он страдал от безденежья?

— Как все мы... Я хочу сказать, господин председатель, что все студенты живут хорошо только с 1 по 5 число...

— Он занимал у вас деньги?

— Нет, и у него это вряд ли получилось бы... Говорят же, что к высохшей реке за водой не ходят.

— У вас не сложилось впечатление, что незадолго до смерти его материальное положение резко улучшилось?

— Нет, господин председатель.

— Вам приходилось встречать обвиняемую, когда она посещала Бернара Мартина?

— Я видел ее только один раз, 13 октября 1934 года.

— Вы так точно запомнили эту дату?

— На следующий день у меня был экзамен, а аромат духов этой женщины был таким сильным, что он доходил до моей комнаты и мешал мне заниматься. Поэтому на следующий день я получил плохую оценку. Вот так я и запомнил этот день.

В зале раздался смех. Юноша продолжал:

— Когда она уходила, я не удержался и приоткрыл дверь, чтобы увидеть ее. Это была она.

— Она долго оставалась у вашего приятеля?

— Примерно полчаса.

— Вы говорили об этом визите с Бернаром Мартеном?

— Да. Этим же днем мы повстречались в баре на улице Вовэн. Наверное, мы оба были под хмельком... Я сказал ему: «Слушай, старик, ты хорошо устроился...» В общем, все, что всегда говорят в таких ситуациях. Он рассмеялся. Когда он смеялся, у него на лице сохранялось жесткое выражение. Я даже подумал, что эта женщина когда-нибудь столкнется с чем-то таким...

— На самом деле он сам столкнулся «с чем-то таким», как вы сказали... И что он ответил?

— Он рассказал мне сон Атали, господин председатель.

— Что?

— Передо мной появилась моя мать Иезавель...

— Какое наказание, — сказал председатель, глядя на Гледис Эйзенах.

Она увлеченно слушала Слоти; ее ноздри раздувались, взгляд светлых глаз застыл. На ее прекрасном лице наконец появилось выражение хитрости и жестокости, характерных для облика преступника. Народный судья почувствовал себя более уверенно.

— Свидетель, вы видели Бернара Мартена накануне его гибели?

— Да. Он был совершенно пьян.

— Он часто напивался?

— Он пил очень редко и обычно слабо пьянел. Но этой ночью он основательно нализался. Бернара потрясла смерть его прежней любовницы. Ее звали Лоретта; они встречались до ноября. У нее был туберкулез, и она умерла в швейцарской больнице.

— Вы знали об этой женщине? — обратился председатель к Гледис.

— Да, знала, — с усилием ответила она.

— Не передавал ли Бернар Мартин полученные от вас деньги этой женщине?

— Возможно.

— Вы только посмотрите на обвиняемую, — негромко сказал в зале какой-то мужчина, наклонившись к ушку своей соседки. — Бернар Мартин явно причинил ей много страданий... Когда кто-нибудь упоминает его имя, ее лицо искажается ненавистью. В общем, она не походит на убийцу...

Блондинка с молочно-белой кожей подошла, сняв черную шляпку, к барьеру и положила на него грубые красные руки. Ее имя — Эжени Фольанфан[1] — вызвало смешки среди зрителей. Ничуть не смутившись, она смотрела, улыбаясь, в зал. Председатель простучал по столу ножом для разрезания бумаги и обратился к свидетельнице;

— Попрошу не смеяться. Здесь не спектакль.

— Я улыбаюсь, потому что нервничаю.

— Хорошо, успокойтесь и отвечайте на мои вопросы. Вы работаете у мадам Дюмон, владелицы отеля на улице Фосс-Сен-Жак, в котором жила жертва. Узнаете ли вы в обвиняемой женщину, неоднократно посещавшую Бернара Мартина?

— Да, господин председатель, я узнаю ее, — ответила девушка.

— Вы часто видели ее?

— Можно подумать, что в отеле, населенном студентами, можно не запомнить всех посетителей!.. Эту даму я запомнила потому, что она выглядела иначе, чем остальные. Хорошо одетая, с лисьим воротником... Но я не могу сказать точно, сколько раз она была у нас, — наверно, три, четыре или даже пять раз... Можно запутаться...

— Вы когда-нибудь говорили по душам с Бернаром Мартином?

— С ним?.. О-ля-ля...

— Похоже, у вас от знакомства с ним остались не слишком приятные воспоминания?

— Это был странный парень. Не злой, но совсем не такой, как другие. Иногда он работал ночь напролет и потом спал целый день. Я знаю, что иногда несколько дней подряд он питался одними апельсинами, которые ему приносила мадам Лора. К ней он относился очень хорошо. Он даже любил ее.

[1] Фамилия Фольанфан (Follenfant) может быть переведена с французского языка как «безумное дитя».

— Она не ревновала его к обвиняемой? Вам не приходилось быть свидетельницей скандалов?

— Никогда. Его очень беспокоило здоровье мадам Лоры, у которой болела грудь. Даже когда она умерла в Швейцарии через месяц после того, как ушла от него...

— Вам когда-нибудь приходилось слышать, о чем разговаривали Бернар Мартин и обвиняемая? Какие-нибудь признания, может быть, просьбы денег?

— Нет, никогда. Когда она приходила к нему, то не оставалась надолго. Я могу сказать, к примеру, что если я заходила к нему в комнату после того, как она уходила, то видела, что постель никогда не была в беспорядке. Может быть, сейчас они устраиваются как-то иначе?

— Хорошо, можете не вдаваться в подробности, — прервал ее председатель. Зрители смеялись.

У обвиняемой, скорчившейся на скамье, начался истерический припадок. Она громко рыдала, повторяя в отчаянии:

— Сжальтесь надо мной!.. Оставьте меня... Да, я убила его!.. Можете бросить меня в тюрьму, можете казнить, я заслужила это!.. Я виновата, я достойна смерти, но зачем выставлять меня на позор?.. Я убила, я не прошу прощения, пусть только закончится этот кошмар...

Заседание было прервано и перенесено на следующий день. Толпа медленно освобождала зал заседаний. Снаружи стемнело, было поздно.

На следующий день начались прения.

Обвиняемая уже никого не интересовала. Казалось, что за одну ночь она потеряла всю красоту. Теперь она выглядела пожилой, бесконечно уставшей женщиной. Она была почти не видна в тени бокса для обвиняемых; шляпка и опущенная голова не позволяли разглядеть ее лицо. Зрители теперь не сводили глад с защитника Гледис Эйзенах. Довольно молодой мужчина, с презрительной миной на лице, с аккуратно причесанными черными волосами, он стал центральной фигурой процесса.

Обвиняемая сидела, закрыв лицо руками, и слушала речь обвинителя:

— До ночи 24 декабря 1934 года женщина, сидящая перед вами, господа судьи, относилась к привилегированной части общества. До этого дня она все еще оставалась красивой, полной жизненной энергии, свободно распоряжалась большим состоянием... В то же время, она с детства была лишена семьи, домашнего очага, нравственного идеала... Какая жалость, что ей не довелось родиться в одной из замечательных буржуазных семей, которые...

Руки обвиняемой медленно опустились на колени. Через мгновение она подняла бледное и напряженное лицо.

— Наверное, женщина бедная, невежественная, испытавшая все тяготы жизни, могла бы надеяться на прощение... Но она... Я надеюсь, что факел справедливости, господа судьи, не угаснет в ваших руках... Вы должны еще раз показать, что правосудие одинаково для всех, что красота, очарование, образованность этой женщины, если их рассматривать, как груз на одной чаше весов, только сильнее заставят отклонить весы в пользу справедливой суровости. Эта женщина убила, поступив осознанно. Свой поступок она обдумала заранее. Она должна быть наказана соответственно тяжести ее преступления.

Потом состоялась блестящая речь защитника. Его голос, иногда напоминавший пламенную речь проповедника, то и дело становился мягким, едва ли не женским. Адвокат показал, что такая женщина, как Гледис, могла жить только ради любви, что в жизни ее интересовала только любовь, и во имя этой любви она заслуживает прощения. Он говорил о демоне чув-

ственности, набрасывающемся на стареющих женщин и подталкивающем их к постыдным ошибкам. Слушательницы в зале плакали. Затем председатель повернулся к Гледис Эйзенах с ритуальной фразой:

— Обвиняемая, вы хотите что-нибудь добавить?

Гледис долго молчала. Наконец она покачала головой и прошептала:

— Нет. Мне нечего сказать. — Потом, почти неслышно, добавила: — Я не прошу о снисхождении... Я виновата в страшном преступлении...

Вечернее небо заволокли грозовые тучи, сквозь которые то и дело пробивались слепящие лучи заходящего солнца. Атмосфера в зале заседания стала удушливой; толпу зрителей охватили нервозность и тревожное беспокойство. Глухой шум предвещал близкий приговор, не оставляя сомнений в его характере.

Около девяти часов раздался звонок, такой жалкий, что его едва услышали. Он сообщал о завершении совещания судейской коллегии. Казалось, что в зале, забитом до предела, над толпой сгустился влажный воздух, оседавший каплями на стеклах плотно закрытых окон; царила невыносимая жара.

Главный судья, бледный, с трясущимися руками, зачитал ответы на вопросы. Суд вынес решение. Слова приговора, вызвавшие волну невнятных фраз на скамье прессы, долетели до стоявших зрителей:

— Пять лет тюрьмы...

Зрители медленно протискивались через двери старинного Дворца Правосудия. Почти каждый, оказавшись снаружи, останавливался на мгновение, с наслаждением вдыхая свежий воздух. На головы зрителей падали редкие крупные капли — начинался дождь.

Кто-то произнес, глядя на темное небо:

— Видать, завтра будет дождливый день...

Его сосед предложил:

— Пошли выпьем по кружечке...

Две женщины увлеченно обсуждали своих мужей. Ветер унес их слова к застывшей в темноте Сене.

Словно после окончания пьесы, когда зрителям уже нет дела до артистов, никто не говорил о Гледис Эйзенах. Ее роль была сыграна. К тому же, она оказалась достаточно банальной. Обычное убийство из ревности... Довольно умеренное наказание... Что с ней будет? Никого не интересовало ни ее будущее, ни ее прошлое.

1

Постаревшая, во многом лишившаяся былой неотразимости, Гледис все еще оставалась красавицей; время как будто с сожалением коснулось ее лица мягким бережным прикосновением. Оно едва изменило черты лица, каждая из которых была изваяна с любовью и старанием; линия длинной белоснежной шеи оставалась нетронутой; только глаза, которые ничто не способно сделать моложе, уже не блестели так, как раньше. Ее взгляд выдавал умудренную жизнью усталую женщину, но едва она опускала красивые ресницы, как перед собеседником представала девушка, танцевавшая на своем первом балу в лондонском особняке Мельбурнов чудесным июньским вечером, давно канувшим в прошлое.

Это было в салоне Мельбурнов с белыми панелями на стенах, с жесткими банкетками, обтянутыми узорчатым шелком, с узкими зеркалами, отражавшими волну золотистых волос над белоснежным лбом и блестящие черные глаза никому еще не известной тоненькой юной девушки, хрупкой и порывистой, по имени Гледис Бурнера.

На ней было белое платье с воланами из муслина и розами на корсаже, длинные перчатки; талию обхватывал широкий атласный пояс. Во время танца ее, легкую, как дыхание, словно несло по воздуху ощущение счастья. Волосы, завитые прядями, образовывали корону вокруг головы, и они были цвета золота. Очевидно, она впервые причесала их таким образом, потому что перед каждым зеркалом она слегка наклоняла головку, открывая взглядам белоснежную хрупкую шею без цепочки, без ожерелья. К поясу она прикрепила букетик небольших красных роз с сильным запахом, своих любимых цветов; временами она закрывала глаза, чтобы лучше почувствовать их аромат. Ей казалось, что она никогда не забудет ни легкие волны запаха роз в горячем воздухе зала, ни дыхание ночи на своих плечах, ни ослепительный свет люстр, ни звучавшую у нее в ушах мелодию вальса. Она была счастлива... Нет, это было еще не счастье, а всего лишь его ожидание, божественное волнение, жгучая жажда, сжимавшая сердце.

Еще вчера она была всего лишь ребенком, бледным и печальным ребенком рядом с нелюбимой матерью. Сегодня же она чувствовала себя женщиной, прекрасной, привлекающей внимание, наверное, скоро любимой... Едва она подумала о любви, как ее охватила тревога: она чувствовала себя некрасивой, плохо одетой, с дурными манерами; ее движения сразу же стали резкими и неловкими; она принялась искать беспокойным взглядом свою кузину, сидевшую возле матери. Но танец продолжал постепенно околдовывать ее, и она снова почувствовала пульсацию горячей крови в венах. Остановившись перед окном, она увидела тихую влажную ночь, деревья парка, залитые желтым электрическим светом. Обернувшись, она смотрела на силуэты белых колонн вдоль стен зала, таких же изящных, как юные девушки. Все вокруг восхищало ее, казалось прекрасным, очаровательным; ее жизнь приобрела новый, незнакомый до этого вкус, нежный и горьковатый.

До сих пор, до восемнадцати лет, ее жизнь протекала рядом со строгой, суровой матерью, старой накрашенной полубезумной куклой, то привлекательной, то вызывающей тревогу; она бессмысленно блуждала по миру, увлекая за собой свою тоску, свою дочь и своих персидских кошек.

Когда она танцевала этим вечером в особняке Мельбурнов, ее не покидал образ этой невысокой, сухой, холодной женщины с зелеными глазами. Два месяца, что она собиралась провести в гостях у семьи Бошан, должны были промелькнуть так быстро, так незаметно... Тряхнув головой, она постаралась прогнать эти мысли и продолжала кружиться в танце еще быстрее, еще легче; воздушные, словно пена, воланы кружились вместе с ней, вызывая у нее ощущение приятного головокружения.

Она никогда не забывала этот короткий период. И ей больше никогда не довелось испытать вновь подобное наслаждение. В ее сердце навсегда сохранилось сожаление о невозможности пережить вновь это лето, эти часы, этот миг, когда она достигла вершины своего расцвета. Жизнь красивой юной девушки на протяжении нескольких недель или месяцев, редко дольше, не имеет ничего общего с обычной жизнью. Она постоянно находится в состоянии опьянения. Ей позволено существовать вне времени, вне законов природы, не испытывать монотонную последовательность дней; она живет только в мгновения высшего, граничащего с отчаянием наслаждения...

По вечерам Гледис танцевала; по утрам она устремлялась в сад Бошанов, и моментами ей казалось, что она жила во сне, но уже начинала просыпаться, и волшебный сон должен был вот-вот закончиться.

Ее кузина, Тереза Бошан, не понимала ее страстности, ее жажды жизни, временами сменявшейся глубокой печалью. Тереза была более

тонкой, более спокойной натурой. Она родилась на несколько лет раньше Гледис. Невысокая, худощавая, ростом с пятнадцатилетнюю девочку, с изящной головкой, слегка желтоватым оттенком лица, красивыми черными глазами и свистящими нотками в голосе, первыми признаками начинавшейся болезни легких.

Она вышла замуж за француза, но, рожденная и воспитанная в Англии, постоянно возвращалась в свой роскошный особняк в Лондоне. Ее детство было счастливым, юность благоразумной; она постепенно освоилась со светской жизнью, тогда как Гледис бросилась в нее как в омут. Тереза не могла сравниться красотой с Гледис; никогда мужчины не смотрели на нее так, как смотрели на эту девушку, блиставшую дикой красотой.

Когда они появились у Мельбурнов, Гледис схватила кузину за руку и прижалась к ней, словно испуганный ребенок. Сейчас, во время танца, она проносилась мимо Терезы, не замечая ее, с победной улыбкой на приоткрытых прекрасных губках. Тереза, почувствовавшая усталость уже после первого вальса, с завистью и восхищением следила за фигуркой кузины, такой хрупкой, но так неутомимо наслаждавшейся очередным танцем. Тем не менее, когда ее спрашивали, считает ли она Гледис красивой, она, похожая на удивленную больную птичку, отрицательно качала головой и рассудительно отвечала, что кузина действительно обещает стать красавицей. Ведь девушки не способны разглядеть на лицах своих сверстниц расцветающую и едва ли не пугающую красоту.

— Мы стараемся по возможности развлекать ее, — говорила она.

И выпрямлялась на жестких подушках канапе; она никогда не прислонялась к спинке сиденья и никогда не проявляла признаков нетерпения. Она небрежно обмахивалась веером с усталой улыбкой, с болезненным румянцем на щеках. Ночь веселья протекала мимо нее; Тереза ощущала, как ее охватывает глубокая печаль. Сначала она наблюдала за Гледис с едва ли не материнской нежностью, но теперь, неизвестно почему, ей было больно смотреть на такую красивую, так неутомимо веселящуюся кузину. У нее даже возникло желание схватить Гледис за руку и громко крикнуть:

— Хватит, перестань! Ты выглядишь слишком яркой, слишком счастливой...

Она не знала, что в будущем, много лет спустя, эту смешанную с печалью ревность Гледис будет пробуждать у всех женщин.

Терезе стало стыдно, и она более энергично принялась обмахиваться веером. На ней был атласный костюм цвета «старая медь» с двойной юбкой кремового цвета, на ее корсаже были вышиты змейкой листья, украшенные бронзовыми жемчужинами... Посмотрев в зеркало, она оценила себя как некрасивую; она отчаянно позавидовала простому белому платью Гледис и ее золотым волосам. Ей пришлось напомнить себе, что она замужем и счастлива, что у нее есть сын, тогда как эта малышка Гледис только вступает в полную неясного жизнь. И с горечью подумала: «Тебе, моя малышка, все равно придется измениться... Твоя свежесть, твоя беспечность быстро исчезнут; эти победные взгляды, которые ты бросаешь на мир, угаснут... У тебя появятся дети, ты состаришься... Ты еще не знаешь, что тебя ожидает, бедняжка...»

Тереза неожиданно встала и подошла к Гледис, задержавшейся возле окна, затянутого красной портьерой. Она прикоснулась веером к руке девушки.

— Дорогая, нам пора...

Гледис обернулась к ней. Терезу поразило, как резко изменил тихую, робкую девушку всего лишь час веселья. Ее движения стали быстрыми и изящными, взгляд — торжествующим, смех радостным. Казалось, она едва услышала сказанное Терезой. Она нетерпеливо помотала головой.

— Ах, Тесс, нет, нет, прошу вас, Тесс...

— Да, дорогая...

— Еще немного, хотя бы один час...

— Нет, дорогая, уже поздно, в твоем возрасте нельзя веселиться всю ночь...

— Еще только один танец, только один...

Тереза вздохнула. Как всегда, стоило ей устать или почувствовать раздражение, ее дыхание становилось неровным, затрудненным; вместе со словами с ее губ срывались свистящие звуки. Она сказала:

— Мне ведь тоже было восемнадцать, Гледис, и совсем недавно... Я понимаю, что вы в восторге от этого бала, но с удовольствием надо расставаться раньше, чем оно покинет тебя... Уже очень поздно. Разве вы не достаточно повеселились?

— Да, но это веселье уже в прошлом, — пробормотала Гледис.

— Завтра вы будете чувствовать себя разбитой, невыспавшейся, потому что вернулись слишком поздно... Этот бал не последний, сезон далеко не закончился...

— Нет, он скоро закончится, — возразила Гледис, и в ее больших черных глазах блеснуло отчаяние.

— Тогда вы сможете поплакать, если еще не знаете, что все когда-нибудь кончается... Надо научиться смиряться с неизбежным...

Гледис не слышала Терезу, потому что в ее сознании звучал возмущенный протестующий голос, заглушавший эти бесполезные слова: «Оставьте меня!.. Я хочу веселиться!.. Если вы лишите меня самого незначительного удовольствия, я возненавижу вас! Если вы прервете хотя бы одно мгновение счастья, подаренного мне Всевышним, я пожелаю вам смерти...»

Она ничего не слышала, кроме этого опьяняющего голоса, голоса ее юности... Неужели возможно, чтобы внезапно закончилась эта волшебная ночь, осталась в прошлом? Ведь для всех других это всего лишь обычный для Лондона бал, какие-то несколько часов, которые скоро все забудут...

— Идемте, я так решила, — сказала Тереза тоном, не терпящим возражений.

Гледис удивленно посмотрела на нее. Тереза вздохнула:

— Я устала, я плохо чувствую себя... Мы должны вернуться...

— Простите меня, Тесс, — пробормотала Гледис, взяв ее за руку.

Ее лицо выглядело иначе, оно снова стало детским и невинным, огонь гнева в ее глазах угас.

— Вот и хорошо, вы ведь разумная девочка, идемте, — сказала Тереза, пытаясь улыбнуться.

Гледис молча последовала за кузиной.

2

Последний бал сезона был для Гледис вихрем танцев, звуков и красок, околдовавшим ее на несколько часов, но оставившим после себя только разочарование и усталость. На следующий день она должна была уезжать.

Она вернулась вместе с Бошанами на рассвете. Молочный туман заволок пустынные бесцветные улицы Лондона; холодный утренний ветерок оставлял на губах привкус дождя и мокрого угля. Отдельные его порывы, долетавшие из парка, все же иногда наполняли воздух ароматом цветущих роз.

Гледис незаметно потрогала пылавшие щеки. Ее сердце билось частыми, словно испуганными ударами, будто пытаясь продлить ритм только что закончившегося последнего вальса. Она машинально повторила несколько

тактов мелодии, пригладила влажные волосы и прижалась к Терезе. Она попыталась засмеяться, но не смогла. Так было всегда: веселье мгновенно покидало ее, и она не чувствовала ничего, кроме охватившей ее глубокой горькой меланхолии. Она вспомнила одного из понравившихся ей кавалеров. Красивый юноша, в которого были влюблены все девушки. Он был поляком, сотрудником русского посольства, и звали его граф Тарновский. Она подумала об окружавших его прекрасных девушках, счастливая юность которых обещала и счастливое будущее. А она считалась девушкой из плохой семьи, с разведенной матерью; ведь Тесс обычно говорила про Софию Бурнера: «эта несчастная женщина» или «эта грешная женщина». Взглянув на сидевшую рядом кузину, она внезапно почувствовала острую жалость; Тесс показалась ей такой хрупкой, усталой, больной. Она то и дело с усилием откашливалась. Клод Бошан опустил боковое стекло и не смотрел на спутниц. Она неуверенно улыбнулась ему, но он, кажется, не заметил этого.

Гледис смотрела на его удлиненное лицо с тонкими чертами и впалыми щеками, узкими губами, образовывавшими, когда он молчал, почти прямую линию на его лице. Высокий, тонкий, он обычно держался сгорбившись, наклонив вперед голову. Холодный, далекий и молчаливый, он казался Гледис, несмотря на молодость, едва ли не стариком. Она восхищалась им, но у нее никогда не возникало желания постараться понравиться ему.

Автомобиль вскоре подъехал к дому Бошанов. Внизу, в библиотеке Клода, для них были приготовлены напитки. Чтобы немного согреть перед поздним возвращением домой Терезы холодное помещение, обычно разжигали печь. В ней еще догорало несколько поленьев, и пламя бросало беглые блики на высокие старинные шкафы из полированного черного дерева.

Гледис распахнула окно и устроилась возле него.

Тесс вздохнула:

— Ты простудишься, дорогая...

— Нет, не беспокойся, — пробормотала Гледис.

— Накинь тогда что-нибудь на плечи...

— Нет, дорогая, не нужно... Я не боюсь холода. И вообще, я ничего не боюсь...

У них давно возникла типично английская, даже викторианская привычка постоянно использовать ласковые словечки. Они обращались друг к другу не иначе, как «my darling, my sweetheart, my love»[1]. При этом они улыбались, разумеется, но их глаза всегда оставались холодными.

Гледис достала из-за пояса заткнутый туда букетик. Тереза, едва сдержав раздражение, сказала:

— Выбрось цветы, они уже завяли.

— Это не важно... Эти небольшие розочки умеют правильно увядать; они не дряхлеют, а как будто медленно сгорают. Понюхайте, — и она протянула цветы Терезе, — какой нежный аромат...

Тереза отвернулась, печально промолвив:

— Возможно... Но мне становится дурно от этого запаха...

Гледис улыбнулась; она почувствовала, что раздражает Терезу, и ей стало стыдно. «Бедняжка Тереза...» — подумала она. Она жалела кузину, но в то же время ощущала какую-то жестокую радость, потому что таким образом она проверяла свою способность играть людьми. Бледная от бессонной ночи, она дрожала от внутреннего напряжения. Внезапно она подумала: «Почему я так веду себя? Что я делаю?»

Со второго этажа, где находилась спальня сына Бошанов, малыша Оливье, послышался голос проснувшегося ребенка. Тереза быстро встала.

[1] Моя дорогая, моя возлюбленная, моя любовь (*англ.*).

— Уже шесть часов... Оливье пора вставать...

— Вам не стоит идти сейчас к нему, вы должны отдохнуть...

Взяв с кресла брошенный веер, Тереза вышла из комнаты. Клод и Гледис остались вдвоем. Гледис открыла балконную дверь:

— Уже совсем рассвело...

Клод погасил лампу. Они вышли на балкон, погрузившись в прекрасное, удивительно тихое утро. Из соседнего сада доносилось негромкое щебетанье певчих птиц, приветствовавших восход солнца.

— Вам, наверное, нужно отдохнуть?

— Нет, конечно. — И она недовольно мотнула головой. — Вы, Клод, как и все другие, тоже только и твердите про отдых, про сон. Вам не кажется, что бессонная ночь делает ваше тело более легким? Я чувствую, что в моем теле нет крови, что исчезла даже плоть, и малейшее дуновение ветерка может подхватить меня и унести...

— Смотрите, как ветер стал трепать ветви деревьев...

Она наклонилась, полузакрыв глаза и отдавшись ласковому утреннему ветерку

— Самые чудесные минуты дня...

— Есть только два момента, которые чего-то стоят: это начало и конец чего-либо, — проговорил он, глядя на девушку. — Рождение и угасание.

— Я не понимаю, — неожиданно для себя негромко сказала Гледис, — я не понимаю, почему этот старик из книги, которая так нравится вам, уверен, что ни разу в жизни у него не было оснований сказать: «Остановись, мгновенье!»

— Ну, я полагаю, это просто был старый безумец...

Она вдохнула ветер, улыбнулась и посмотрела на свою обнаженную руку, наклонив изящную головку.

— Остановись, мгновенье, — негромко произнесла она.

Ее собеседник пробормотал:

— Да, конечно...

Она рассмеялась. Мужчина не отводил от ее лица горящего взгляда. Казалось, что он не восхищается ею, а в чем-то подозревает ее или даже ненавидит. Через некоторое время он сказал:

— Гледис...

Затем еще раз произнес, словно удивляясь, ее имя, наклонился и взял ее руку, еще тонкую, детскую, без украшений, затерявшуюся в складках платья. Задрожав, он поцеловал ее. Потом он отпустил руку, всю исцарапанную, потому что она обычно вела себя, как хулиганистый мальчишка, участвуя в скачках и нередко преодолевая препятствия, несмотря на опасности.

Он стоял, склонившись перед ней, с видом покорного ребенка. Гледис никогда не смогла забыть эти мгновения, это захлестнувшее ее чувство пьянящей гордости.

И она подумала:

— Вот это и есть счастье...

Она не отняла руку; ее тонкие ноздри затрепетали, и на юном лице неожиданно появилось выражение зрелой женщины, в котором странно сочетались хитрость, жадность и жестокость. С каким наслаждением она смотрела на мужчину у своих ног... Что может быть замечательней, чем осознание своей власти... Она давно ждала ее, давно предчувствовала ее появление... Наслаждение танцем, ее успех на балу — все поблекло перед этим острым ощущением.

«Неужели это и есть любовь? — подумала она. — Нет, это всего лишь удовольствие от того, что тебя любят...»

Она сказала:

— Я ведь совсем ребенок, а вы муж Тесс.

Подняв на нее взгляд, он увидел, что она улыбается. Задержав на ней взгляд, он с трудом произнес через несколько секунд:

— Да, вы еще дитя... Но очень кокетливое и опасное.

С его лица исчезли все эмоции, он снова казался совершенно бесстрастным.

— Значит, вы влюблены в меня?

Он ничего не ответил. Его сжатые губы выглядели тонким разрезом на бледном лице. Это выражение было хорошо известно ей.

«Все равно он сдастся», — подумала она. Ей страстно захотелось снова испытать только что пережитое сильное, пылкое, почти физическое ощущение. Она прикоснулась к его руке.

— Отвечайте... Скажите же: «Я люблю вас...» Пусть даже это не будет правдой. Я никогда прежде не слышала этих слов... Мне так хочется услышать их... И обязательно из ваших уст, Клод... Ну, скажите же...

— Я люблю вас, — произнес он.

Она отодвинулась от него с усталым вздохом, но с ощущением счастья. Острое возбуждение прошло, и ей стало немного стыдно, несмотря на испытанное наслаждение. Она медленно опустила свои красивые ресницы и высвободилась из его дрожащих рук, попытавшихся в последний момент удержать ее.

И сказала с улыбкой:

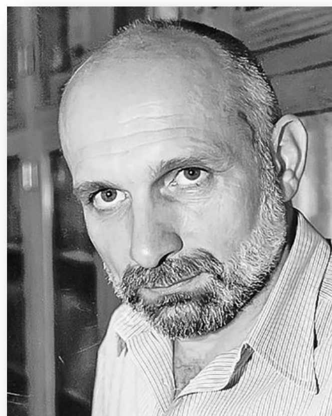
— В общем-то, это ни к чему. Ведь я не люблю вас.

Отвернувшись, он только по звукам шагов понял, что она ушла.

Перевод с французского Игоря НАЙДЕНКОВА.

Продолжение следует.





ДРАГАН ЛАКИЧЕВИЧ

Безумная рукопись

Белградские рассказы

Ищу одну информацию

Я хожу в библиотеку каждый день.

Библиотека — авторитетное учреждение, храм знаний. Сюда приходят самые лучшие, самые образованные.

Я не отношусь ни к самым образованным, ни к самым лучшим. Но всегда при галстуке.

В библиотеке я не смеюсь. Здесь все серьезно: знания в стольких книгах.

Если со мной кто-то здоровается, я отвечаю, учтиво, изысканно.

Люблю, когда ко мне обращаются: «профессор».

Когда у меня спрашивают: «Как дела?» — «Хорошо»; «Работа есть?» — «В науке всегда есть работа».

— Докуда добрались? — спрашивает у меня одна дама, пожилая, изящная, историк искусств, постоянно с лупой — для чтения мелкого шрифта.

— До 2750-й сноски.

— Объемный труд?

— Объемный. Вся жизнь.

— Скоро ли закончите ваш проект? — спрашивает отставной полицейский. (Он читает комиксы и старые иллюстрированные издания.)

— Ищу одну информацию.

— Всего одну?

— Всего одну.

И так тридцать лет.

(Еще он мог спросить у меня: есть ли остальная информация, как я ее нашел? — но я избегаю полицейских.)

Что ж, на кафе у меня денег нет.

А у кого нет денег, у того нет и компании.

О чем можно разговаривать без кофе, ракии, пива?

Заказываю книги. Перелистываю. Записываю заглавие, имя автора, оригинал, фамилию переводчика, год издания, количество страниц... Знаю: мне это не понадобится, но все же.

Ищу одну информацию...

Пытаюсь и читать. Старинные книги объемные — медленно пишутся и медленно читаются. Новые современные книги — непонятные. Быстро пишутся и быстро забываются.

Их обложки — как лица, форматы — как люди. Внутри тоже: одни исчерканные, другие неразрезанные, нечитанные. В одной вырезана картинка, в другую попал список продуктов, которые нужно купить на рынке, чек из обувного магазина.

Записываю кое-какие мысли, или слова, или имена — может, именно это приведет к той информации.

Каждый день три книги. Записываю сигнатуру, чтобы легче было найти в следующий раз.

Когда-то читатели выглядели лучше.

В субботу периодика. Есть хорошие старые газеты и журналы. Кто-то раньше этим жил. Когда-то из газет узнавали, кого завтра арестуют. Сейчас же газеты никого не интересуют...

Перелистывание старых газет требует напряжения — словно путешествую во времени и опять старею. Меня выматывает возбуждение от понимания того, что я пережил, что забыл... Или это душит запах невидимой пыли со старой бумаги — тяжелый дух прошлого.

Жаль, библиотеки не работают по воскресеньям и ночью... Когда-то я писал письма директору библиотеки, городским властям, министру культуры — просил, чтобы библиотеки были открыты в воскресенье. Стало быть, кто хочет отдохнуть — пусть отдыхает, а кто хочет исследовать — пусть читает. Если бы можно было работать по воскресеньям, в год у меня выходило бы на пятьдесят дней больше для работы. За десять лет — пятьсот дней, за тридцать — полторы тысячи... И в один из этих дней я, возможно, и нашел бы нужную информацию.

Эта информация — цель всего моего труда. А значит — жизни! Если найду ее, буду знать, для чего жил.

Утром прихожу первым. Жду, когда откроется библиотека. Остаюсь на целый день... Раньше брал с собой кусок хлеба, или яблоко, или конфету... Теперь нет... Голод я не ощущаю... Мне не хватает лишь той информации. И тогда все оформится...

Вечером ухожу одним из последних. Меня раздражают уборщицы — начинают протирать столы еще в рабочее время... Хорошо, мой стол не вытирают, но сосредоточиться все равно мешают. Может, именно в этот момент я нашел бы ту информацию.

Ухожу энергичным, бодрым, отдохнувшим. Словно и не корпел целый день над книгой... Вот только ту информацию — не нашел. Буду думать о ней всю ночь. Приятно думать о чем-то, чего нет.

Книги — уже пару лет — заказываю в алфавитном порядке. Беру именной каталог... Публикаций много, жизнь коротка... Моя задача изучить сколько смогу — найти информацию. Знаю, она окажется там, где не жду.

Обнаружу ее там, где другие не увидели.

А может, я ее уже и нашел, только не знаю. Посмеивается надо мной из моих списков. Притаилась в сноске, маленькая проказница... Невидимая... Наслаждается моим неведением, что она у меня есть... Может быть, я каждый день ношу ее в портфеле — из дома в библиотеку и обратно... Возможно, я нашел ее еще в первый день своего пути в науку...

Наслаждаюсь и я. Знаю, что не имею. Не знаю, что имею.

И побаиваюсь: что я буду делать, если найду ее? Чем тогда буду заниматься?

Человек-консервы

Видишь эту ржавчину: винты, жестянки, металлические набойки, мусор. Это я — после войны.

До войны я был человеком — на заводе, четвертый в очереди на квартиру.

Война все изменила — людей, привычки, города, страну.

Когда началась война, я, не знаю зачем, отпустил бороду. Смотрю в зеркало — другой человек. Знал его, но давно.

Все меняются. Во что еще превращусь?

На войне не думаешь, что будет завтра. Главное — пережить сегодня.

Начались мобилизации. Получит человек повестку — идет на войну, туда, за Дрину, в мглу. Погибает.

Выходят газеты с некрологами — изображения бойцов.

Один сосед сверху, шофер, погиб в Славонии, в кафе на автостраде, где мы часто останавливались, возвращаясь оттуда, с моря. Там всегда было холодное пиво «Златорог»... Эх, здесь и погиб, заехал на холодное пиво.

Кто-то вернулся раненый: мина. Вся страна заминирована.

Некоторые пропали — сбежали за границу. Другие уклонялись от мобилизации, спали под мамкиным боком на Звездаре.

Нас построили перед казармой, одев и вооружив... Боеприпасы боевые... Капитан не дерет горло, как тогда, когда мы шли в резерв и территориальную оборону. Стал вежливым — обделался.

Задача — охрана железной дороги — мостов и туннелей. Я стою в карауле у туннеля... По сменам: дважды в сутки по четыре часа... Спим в бараке — здесь была какая-то административная типография... Мы недалеко от дома, можно и там ночевать, но для этого у немногих есть машина и бензин.

В бараке общество, карты, шахматы. Кто-то принес телевизор, кто-то — ракию. Без ракии нет компании...

Когда приходит моя смена, беру винтовку, автоматическую, и к туннелю. Позади меня гора, роща, а за железной дорогой и трассой какие-то поля, дома. И там кто-то живет.

Зима, январь, тревожно. К туннелю привезли старый киоск. В нем буржуйка, «королева печей». Есть немного дров. Кто-то оставил топорик. Хорошо горят и старые шпалы с демонтированной железной дороги, дерево сухое и пропитанное... Один дед, сторож или истопник барака, притаскивает нам каждый вечер ящик угля — выискивает с какой-то кучи. А мы его за это приглашаем обедать или ужинать с нами. Армейская еда хорошая, пасульчина[1] и тушенка. И напиваемся. Прикладываемся к бутылке. Все пьют. Мы все пьяные.

Топлю печь, смотрю на село за дорогой, сижу и хожу четыре часа, пока не придет смена караула.

Изредка здесь проходит какой-нибудь железнодорожник — из туннеля, как из могилы. Когда проясняется, там, напротив, виднеются другие рельсы — один товарняк проезжает под вечер, и тот из двух вагонов... Дождь, снег, тревожно... Бывают и хорошие дни — прыгает белочка.

Однажды капитан говорит мне:

— Ты, Бркич, был ефрейтором, теперь будешь начальником караула... Больше не будешь ходить к туннелю, сиди в спальне и смотри на часы — чтобы караул вовремя менялся. Личный состав и вооружение были на своих местах. В твоем распоряжении «моторола», будет связь с караулами...

Прекрасно. Сбросил сапоги. Смотрю телевизор — днем голые певички, военные эстрадные звезды и какая-то Супер Снеки; ночью порнушка, по самую рукоятку. Чего только не увидит человек по телевизору, чему только не научится. Плохо было бы, если бы показывали только войну, и не было, братец, голых сисек и задниц.

Езжу, на кампаньоле[2], и в казарму — нужна еда для подразделения. Если точно, у нас взвод. Горячая пища, хлеб, салат, консервы. Один раз в день.

В армии еда всегда лучше. И дают нам больше — война. Или, опять же, кто-то не ел, кто-то накануне вечером ушел домой переодеться, и остались его ужин и завтрак. Много и консервов остается.

[1] Блюдо из фасоли.

[2] Модель автомобиля «Фиат».

Я беру две банки консервов, печеночный паштет, они лучше всего, и несу домой — позавтракаю утром, чтобы не ходить в магазин.

На следующий день большой остаток — осталось двадцать банок мясных консервов по двести граммов. Я половину, десять штук, запихнул в мешок, чтобы занести домой. В следующий раз пакет сардин. И снова паштет. Когда есть, не собираюсь возвращаться в казарму...

Сделал хороший запас консервов, в прихожей.

Война, пригодится. Консервы есть консервы — хранятся долго. Вообще говоря, у каждого есть два-три мешка муки в запасе. Запас беды не чинит. Видел соседа: нес ящик растительного масла по лестнице.

Однажды вызывают меня по «мотороле» из одного караула. Слышно плохо: вроде их кто-то обезоружил. Разоружил караул с боевыми боеприпасами!

Я подскочил.

Взял с собой и разводящего. Уселись в машину, нужно оповестить капитана, таков порядок.

А там какой-то алкаш, мертвецки пьяный, решив, что напоролся на хорвата, держит наготове автомат, а этот мой поднял руки вверх.

Тот гражданский, увидев нас, говорит:

— Подходите, подходите, мать вашу!

Я направился к укрытию, но то ли от выпивки — пили какой-то чертов коньяк, то ли потому, что ничего не видно из-за зарослей травы и кустов, упал, подвернул ногу и повредил сустав. Пронзила ужасная боль... Я вскрикнул.

Тот бросил автомат на насыпь:

— Тьфу! — плюнул и пошел. Затем обернулся и добавил: — Дерьмо вы, а не армия! — И пошел мимо туннеля по тропинке в гору. Это был кратчайший путь, мы запретили там, через лесок, ходить, как в целях безопасности, так и потому, что кто-то может подкрасться и заминировать туннель... Он, пьяный, проигнорировал запрет, наткнулся на часового, такого же пьяного.

Вероятно, я ненадолго потерял сознание... Меня погрузили в машину, завезли в Военно-медицинскую академию, сделали снимок. Ногу в гипс, и домой. (Больницы переполнены ранеными, лежат и на лестницах, и в подвале...) Сказали отдыхать... Прощайте, защита и оборона!

Вошли в дом.

Капитан и разводящий меня держат, я их обнял обеими руками, как родных.

Когда входили, разводящий локтем задел ящик с консервами в прихожей, на хилой полке для обуви. Ящик упал, паштеты рассыпались. Из-под того ящика — другой.

— Это армейские консервы, — сказал капитан.

Молчу.

— Он мне сказал, что купил их в дисконте, на скидках, — говорит жена.

— Сударыня, он украл это у товарищей. Они там, на поле боя, получают по одному небольшому пайку еженедельно, — добавил капитан. — В общем, напишешь рапорт.

Оставил меня в дерьме.

— Я знала, что ты негодяй, но что вор — не догадывалась, — выдала жена.

Я и не заметил, как нога перестала болеть.

Жена той же ночью ушла и больше не возвращалась.

Нога моя так и не выпрямилась. Вот, кривая! Еще и опухоль осталась.

Фабрика еще до войны разорилась... Растащили кто что мог... Потом ее бомбили, и никто не жалел: бетонные опоры отбрасывало на триста

метров, вверх, на Стражевице — покосили деревья толщиной полметра в диаметре... Производство превратилось в консервы!

Страна, проигравшая войну, подобна открытым консервам.

Война прославляет победителей.

А проигравший славит своего врага.

Я стал консервой. Это мои имя и фамилия. Так меня зовут здесь, на Бувляке[1].

Продаю старье, ржавчину, отбросы — такие же, как и я сам.

Точное время

Я всегда хожу по правой стороне улицы. Если правая сторона раскопана, не перехожу на левую. Иду по другой улице — непременно справа.

Никогда не перехожу на красный свет. Боже упаси!

Если бы светофор сломался и горел только красный, я бы не перешел... Это мой принцип... Не буду переходить! Однозначно.

Даже если и с этой, и с другой стороны на три километра от пешеходного перехода не будет ни одной машины — я переходить не стану! Точка!

Был случай: идем, мой большой друг, известный поэт, и я. Подошли к перекрестку, нужно перейти улицу. Он посмотрел налево-направо, видит — нет никого, и пошел, и переходит... Я, однако, нет... Я жду... Когда загорится зеленый, тогда... Он на середине дороги задержался, оглянулся, видит: нет меня... Когда перешел, остановился, подождал... Я ему говорю: «Знаешь что, друг! Мы и дальше можем встречаться, дружить, беседовать о поэзии... Уважать друг друга... Можем остаться друзьями... Но на красный — нет! Никогда!»

Это вопрос последовательности, стиля, принципа. Можно сказать, достоинства!

Или, например, точное время.

Точное время — синоним жизни. Рождаешься точно в определенное время, умираешь точно.

Я прихожу точно в назначенное время. До минуты.

Правда, случается, иногда прихожу и значительно раньше, но лучше подожду я, чем будут ждать меня. Из соображений приличия жду не в назначенном месте, а немного поодаль. К назначенному месту подхожу с точностью до минуты — чтобы у того, с кем встречаюсь, не возникло чувства вины из-за того, что я ждал.

Любое мероприятие должно начинаться минута в минуту. Если состязание не начинается точно в указанное время, я ухожу. Точность для меня важнее, чем дерби. Если фильм не начинается вовремя, жалуюсь директору кинотеатра. Требую вернуть мне деньги за билет. Я готов и до суда дойти за такие вещи.

Если бы все были такими, как я, не были бы такими отсталыми.

Встречу с другом я обязательно назначаю под городскими часами... Свои сверяю с городскими — чтобы не было путаницы.

Например, встреча в семь. Я прихожу раньше семи. Ровно в семь и одну минуту — ухожу! Больше не жду, ни секунды! Пусть там будет кто угодно — глава государства, моя мама, старинный кум... Ухожу, кум! Это вопрос характера и самоуважения.

И с женщинами так же.

Девушка, красивая, словно из ботанического сада. Люблю ее, и она меня любит, и до конца жизни будет любить...

[1] Рынок в Белграде.

Жду ее до семи. Если опоздает на одну минуту, не застанет меня здесь... Прощай, любимая!

Я продолжаю ее любить, но не жду! Нет, нет!

Лишь однажды ждал...

Это была моя юношеская любовь — из Крушевца. Не видел ее с выпускных экзаменов в школе. (На фотографии написала: «Незабываемая ночь под Багдалой», а мой друг поэт говорит: «Незабываемая ночь под *будалой*[1]».) Я напился, пока она танцевала. Кто умеет танцевать, пользуется гораздо большим спросом у женщин. Танцевать нужно учиться, а пьянствовать каждый может.

Потом объявилась, через двадцать пять лет, человече. Красивее, чем когда-либо.

— Я вернулась к тебе, — говорит. — Не могу без тебя. Давай начнем все сначала.

Свидание завтра в полдень у входа в «Москву». Оттуда пойдем в муниципалитет Старый город, закажем венчание... Понесем метрики... Пути Господни неисповедимы... В отличие от героев Шекспира, наша любовь не знала преград.

Я пришел намного раньше. Белград в лучах солнца, улица устремилась к небу... Не могу устоять на месте... Шелковый галстук, шляпа, костюм... Когда ждешь женщину всей своей жизни, время пролетает быстро.

Полдень — ее нет!

Знаю я женщин: они всегда опаздывают. Пока нарядятся и накрасятся, потом что-нибудь забудут — возвращаются. Женщины — рабыни собственной красоты. Колготки у них постоянно ползут.

Жду полчаса, жду час, жду три часа — нет ее... Померещилось: вот она, но все-таки нет.

Люди, которые утром шли на работу, возвращаются — ее нет.

Когда стемнело, ушел и я.

То ли утром нужно вставать раньше?

То ли с ней что-то случилось? Так и не узнал.

Больше я ее не видел. Не знаю, жива ли, увижу ли ее когда-нибудь.

И с тех пор прошло четверть века, брат.

Я иногда прохожу мимо «Москвы», чтобы посмотреть, не ждет ли она меня. Всегда в разное время, чтобы застать ее врасплох.

Но чувствую иногда, что она, спрятавшись, смотрит на меня из укрытия... И подошла бы ко мне, но ей стыдно за то, что тогда так сильно опоздала.

Я не оборачиваюсь — чтобы не подумала, будто жду ее.

Перевод с сербского Алексея ЧЕРОТЫ.

[1] Будала (*серб.*) – дурак.

Поднебесное окно

Китайская поэзия развивается до Династии Суна, которая превратилась в новую форму. Это новый стиль — Ць. Такое стихотворение Ць должно быть составлено в соответствии с устойчивыми формами — Ць Бай. Слова составлены по конкретному Ць Бай. По этому тексту мы можем сразу узнать их, услышав со сцены. Все тогдашние певцы могли по Ць Бай петь новые произведения. А музыканты могли по Ць Бай аккомпанировать. Так что прекрасные стихи могли сразу распространяться по большому городу. Жители, имеющие самые разные профессии, могли тогда спеть много известных песен. Таким образом, стихи Ць быстро развивались до полного их формирования. Такой стиль стихов Ць в Династии Суна стал очень популярным. Стихи Ць по размеру Ць Бай имеют разные формы. Например, Иу ЛинЛин (Длинный размер), Чин Пин Иуэ (Средний размер) и Чжан Щан Сь (Короткий размер).

Стихи Ць в Династии Суна разделились на две школы. Первая школа — это школа щедрости и силы духа. Ее создали самые известные на то время поэты Су Дон-по и Щин Чи-ти (по-китайски Хао Фан Пай). В их произведениях рассказывается об истории, философии жизни и жизненной надежде. А вторая школа символизирует нежность любви, чувство тоски по Родине и родным. Это сентиментальная школа (по-китайски Уан Иуе Пай). В этой школе прославились поэты Чин Гуан и Чжо Пан-иан. В их стихах говорится о нежности влюбленных, о страдании девушек, неразделенной любви, о тоске по Родине и родным.

Эти две школы развились в Династии Суна до самого высокого уровня, как по разности жанров, так и по глубине поэзии. Для последующих поэтов они открыли широкие ворота для создания стихотворной Красоты, которая постепенно становилась классическим шедевром. Если мы говорим о китайской культуре, самое главное — это стихи, а если говорим о стихах, самое главное — это Танские, Сунские и Юаньские стихи. Периоды этих трех феодальных Династий — золотое время в развитии китайской поэзии. Сунские стихи — это продолжение Танских и открытие Юаньских стихов. Поэтому они очень важны для изучения китайской стихотворной истории.

В Династии Суна был известный поэт Лю Иун. Он создал длинную форму Ць. Используя такой стиль, он реально отражал жизнь низшего слоя тогдашнего общества. В то время говорили так: «Где есть колодец, там и поют стихи Лю Иуна». В этой Династии также появилась очень талантливая поэтесса Ли Чин-чжао. Ее стихи хотя печальны, но очень были популярны.

Сунские стихи как прекрасные поэтические шедевры в нашей культуре стали драгоценным наследием для последующих поколений и всех любителей поэзии.

Сегодня, на самом пике развития китайской культуры, весь мир обращает большое внимание на китайский язык, а чтобы узнать суть китайского языка, самым эффективным способом является чтение китайских стихов, в которых скрывается суть всей китайской культуры. И для того, чтобы наши белорусские друзья могли познать китайскую культуру, я перевел несколько самых лучших и известных стихотворений на русский язык. Хочу, чтобы эти произведения стали поднебесным окном, откуда вы можете увидеть, узнать и полюбить самых прекрасных поэтов Китая.

Ли ЦЗО

ПАН ЛАН

* * *

Целый день, на перила облокотившись,
Я гляжу в одиночестве вдаль,
Часто думаю о Западном озере.

На озере две-три маленькие лодки
Плывут по воде.

В центре озера островок,
Весь украшенный осенью.

Среди камыша мелодия
Дудочки слышится-не слышится.

Одна за другой вдруг взлетают белые птицы.

С тех пор, как попрощался с Западным озером,
Всякий раз, когда разбираю
Рыболовную снасть на природе,
Мысли мои летят ввысь.

Проносятся они между
Холодной водой и далекими облаками.

* * *

Часто вспоминаю, как любовались приливом
Реки Чиан Тана,

Люди всего города стремятся
Прийти сюда посмотреть.

Прилив наступает бурно, словно
Море бескрайнее пустеет разом.

Волны грохочут, как тысячи барабанов,
А меж волн виднеется рыбак на лодке,
В руке он держит флаг,
Который развевается, даже не намокнув.

Попрощавшись с городом Хан Чжо,
Много раз я видел этот тревожный сон,
Даже проснувшись,
В душе ощутил холод и тревогу.

ЛЮ ИУН

* * *

Раздавался крик цикад, от холода продрогших,
Из беседки в сумерках зрим закат последний.
И ливень исподволь отзвенел так.

У ворот столичных в комнате молча пьем вино,
Нам трудно расставаться,
Но у причала лодка ждет давно.

В руке рука, слезы в глазах,
Не можем взглянуть друг на друга,
Не в силах и слово промолвить.

Так, ухожу от тебя я за тысячи километров.
И дымчатая речная дорога делает долгой мою тоску.
Я отплываю в далекий край Чу.
Туда, где глубокий туман темнеет в полумгле.

С давних пор разлука грызет души влюбленных,
И морозная осень прибавляет грусти тем, кто одинок.

Сегодня где же я очнусь от пьянства?

Там, на берегу, тополя и ивы
При тусклой луне колышутся на ветру
Ранним утром.

На этот раз мы прощаемся,
Чтобы отправиться в путь. И так год за годом.

Больше нет тех прекрасных времен,
Что могли быть у меня,

Разве могу я выразить такую глубокую нежность
Кому-то, кроме тебя!?

ЧЖАН ЩЭН

* * *

Скучая по тебе, опять поднимаюсь вверх одна.
С высоты терема смотрю вдаль,
Опираясь на перила.
Перед глазами опять зеленеют душистые травы.

Такой зеленый цвет, как цвет твоего халата.
Трава колышется на ветру, как твой халат развевался тогда.
Может, халат твой уже отцвел,
Одежда не может быть новой всегда.

А мое отражение в зеркале уж отцвело,
Оно не может быть как цветы и трава,
Что следующей весной
Будут свежи снова.

ИАН ШУ

* * *

На радость песню я пою, выпиваю стакан вина,
Раз за разом, чтобы развлечься.

В прошлом году, в это же время,
В такую же погоду мы повстречались
В старом павильоне.

Солнце закатилось, пир разошелся,
Когда же друзья встретятся снова?

Весна ушла, цветы опали, исчезли без следа,
Как можем их вернуть?

Только ласточки, будто знакомые,
Вернулись, крича.

По цветочной аллее, наполненной ароматом,
Я брожу одиноко, скучаю.

* * *

Мелкие иероглифы тесно написаны
Между красными линиями на письме,
Почти все сказано о моей любви.

Жаль, что журавли в небе,
Рыбы в воде, они не могут передать
Мою глубокую тоску.

При закате у западного терема
Я опираюсь на перила.

За открытой занавеской
Далекие горы едва видны.

Не знаю, где любимый человек сейчас,
Только под теремом зеленая река по-прежнему
Течет на восток, ищет его следы.

О ИАН-ЩЬЮ

* * *

На пиру скажу тост за весенний порыв.
Должен радоваться,
А не скучать в разлуке,
Когда-то мы были рука к руке.

Еще помню ту прогулку, средь ив и тополей,
За городом Ло Иан, что на востоке.

Под тенью ив бродили мы кругом,
Где расцвело все пышными душистыми цветами.

Встреча коротка, но долгая разлука,
Печалюсь и тоскую я.

В этом году прогуливаюсь с другом.
Цветы как будто стали краше,
Чем в том году, когда был одинок.

Быть может, в следующем году
Цветы похорошеют, будут лучше,
Но вместе с кем я буду наслаждаться той весной?

ВАН АН-ШЬ

* * *

Половина двора полна мхов на сто гектаров.

Перед воротами песчаная дорога,
Вокруг нее течет извилистая речка.

Люблю спокойную жизнь, лишь кто-то навещает иногда.
Во дворе и в галерее царит тихая весна.

На горе у реки растут персики и абрикосы,
Не знаю, для кого они цветут и опадают без следа?

* * *

Сколько лет живут императоры в этом городе?
Повсюду зелень, и величественный дух наполнен ароматом.
Почти четыреста лет как все стало историей.
Какой кошмар!
В Династии Тин так много известных героев
Сейчас уже вкопаны в землю.
По берегу реки гуляю, наблюдаю с лестниц высь,
Еще на этаж поднимусь.

Не спрашивайте о событиях древних,
Лишь повернув голову увижу —
Река Иан Цзь за оградой
Безвозвратно свободно течет.

СУ ЩЬ

* * *

Все, что прошло в жизни,
Как будто большой сон.

Сколько раз в своей жизни
Ты проводишь холодную осень?

Ночью ветер срывает так много листьев,
Что шуршат в галерее.

Вижу в зеркале,
Что виски и брови уже побелели.

Из-за плохого вина мало кто приходит сюда.
А в небе полная луна облаками закрыта.

В праздник луны луна одиноко светит.
Кто же будет вместе со мной восхищаться ее красотой?

Только молча бокал поднимаю, глядя на север,
А на душе тоска залегла.

* * *

Горный дождь шумно прошел и быстро.
Мост чище, и река светлее.

На берегу реки, в которой растут водоросли Пин,
Маленький сад и красивая тихая веранда.

За воротами светит полная луна,
Как чистая вода.

У реки стоит расписная лодка.

На зеленых берегах реки уже растаял иней.

И белого снега, укрывшего реку, тоже нет.

В середине озера высятся две горы
Напротив чистого выхода реки.

Повернув голову, гляжу на туманную воду и небо,
Даже увидеть одинокий город не могу.

ЛИ ЧЖИ-И

* * *

Я живу в верховье реки Янцзы.
Ты живешь в низовье реки Янцзы.
Каждый день скучаю по тебе,
Да не могу повидать тебя,
Хоть мы и пьем воду из одной реки.
Эта великая река
Сможет ли когда-то закончиться?
Эта глубокая тоска
Сможет ли когда-то прекратиться?
Только хочу, чтобы твое сердце было, как и мое.
Ведь не может не исполниться желание взаимной любви.

ЧЖАН ШУ

* * *

Синие горы тянутся на пять километров,
Прилив наступает, и
В дороге останутся пески.

Вдруг птицы запели грустно,
Словно они огорчились
Из-за потерянного времени.

Такие песни заставляют меня скучать,
Ведь я так далеко от дома,
Будто на краю неба осени.

Первая роса выступает, а летний жар
Отходит, дни похолодали.

В сумерках легкий ветер
Прощался с закатом вдали.

У зеленых тополиных дамб
Лотосы рассвет пламенем открыли.

Шел по берегу и вспомнил о кабаке,
Где в прошлом году мы вместе здесь пили.

ЧЖО ПАН-ИАН

* * *

Накинув одежду на плечи,
Я поднимаюсь вверх по лестницам.

Ветер мимолетный
Облака с дождем принес.

Ветви ивы длинные
На ветру качаются.

За паутину зацепились
Тополя цветы.

Смотрю в поле бескрайнее,
Где трава густая.

Быть может, там
Была спрятана ушедшая весна.

Слушая песни печальные,
Долго стою здесь в тоске.

А из села далекого, на закате,
Доносится грохот барабанов.

* * *

Зеленые ростки бамбука
Тропинку покрывают.

На первых лотоса листах
Дождя слезинки, играя,
Скатываются в воду.

Петляя вдоль пруда,
К павильону ведет галерея.

Ветер занавес вздымает,
И сквозь него ласточки наперегонки летят.

Тень от веера колышется на воде,
Испуганная рыба из виду исчезает.

Слегка касаясь ив верхушек,
Сияет солнце на закате в небе чистом.

ИЕ МЭН-ТЭ

* * *

Макушку леса лунный серп украшает.

Неясно откуда доносится журчание засохшей реки.

Над крышей расписной яркие звезды сверкают.

Светлячки мелькают пред глазами.

Ностальгия утихла,
Но все еще тревожит душу иногда.

Написана новая песня, но нет того,
Кто мог бы спеть ее.

Только перед глазами широкие
Дымчатые волны тревожат мою душу.

ЛИ ЧИН-ЧЖАО

* * *

Каждый год, когда идет снег,
Я украшаю волосы цветами Мэй.
Захмелев, вижу цветы на снегу.
Срываю цветы до конца.
На душе стало грустно.
Даже одежда промокла от слез.
На этот раз я уехала далеко от родных.
Даже на висках седина появилась.
Смотрю на сильный ветер.
В сумерках трудно наслаждаться
Красотой цветов Мэй.

ЧЖЕН Ц-АН

Поднятие на терем Ию Чжо

Вперед — не могу видеть прежних умниц,
Назад — не могу видеть будущих умников,
Между Небом и Землею какая пустота,
Мрачные слезы одиноко текут без конца...

ВАН ЧЖЬ-ХУАН

Поднятие на терем Гуан Чуй

Белое солнце светит между горами,
А река Хуан проливается в море с неба.
Даль уже стала совсем не видна,
Лишь подъем еще выше по лестнице в облака.

ЛИ БАЙ

Струящиеся воды

Осеннее солнце горит
В струящейся воде.

Собирают девушки белые лотосы
На южном озере.

И лотос хочет нежно
Сказать о чем-то мне,

Потому что он грустью сильно
Мучил девушку, плывшую в лодке.

Проводы друга

Там, где Синие горы
За северной встали стеной,

Огибают наш город с Востока
Воды белой рекой,

На этом месте
Предстоит нам расстаться с тобой,

Одинокий твой парус
Умчится далеко-далеко над водой.

Как будто тоскливые мысли бродяги,
Бегает легкое облачко.

А закат солнца — забота
Родных словно.

Я рукой машу тебе —
Вот-вот уже лодка исчезнет.

И будто тоже прощаясь,
На дороге конь наш жалобно ржет...

Долгая печаль

Долгая печаль в городе Чан ань.
Осенние насекомые шуршат у золотого колодца.

Иней на холодном полу,
Матрац холоден на кровати вечера.

Свет одинокий вызывает глубокую тоску,
Поднявшись, открыл занавеску окна

И глубоко вздохнул,
О том, что в облаках красавица,
А не на земле, одна.

Вверх, там небо высоко,
Вниз, там зелеными волнами река течет далеко.

Далеко, далеко вьется дорога извилистая,
Даже во сне не могу долететь до горы Гуана свободно.

Долгая тяжелая печаль навсегда сковала мою душу одиноко.

Весенние думы

У вас еще зеленеют едва
Побеги свежей травы,

У нас уже тополь ветви склонил,
Тяжелые от желтой листвы.

Когда ты подумаешь,
Любимый, о дальнем обратном пути.

У меня, наверное, в этот день
Разорвется сердце в груди.

Весенний ветер я не зову —
Он не знаком со мной.

Зачем же проникает он
Под газовый полог мой?

ДУ ФУ

Весенняя надежда

Хотя Родина уже разбита,
Но горы и реки по-прежнему на месте.

В городе весна наступила,
И кусты, и трава зеленеют быстро.

Когда в душе грусть,
Даже цветы вызывают слезы.

А когда предстоит расставаться,
Крики птиц вызывают тоску.

Война продолжалась
Целых три месяца.

Каждое письмо из дома
Как будто 10 тысяч граммов золота.

Чешешь ты свои седые волосы,
А они все больше выпадают.

Может быть, трудно уже
Собирать их шпилькой.

Долгожданный дождь весенней ночью

Хороший дождь знает свое время,
Он начинается — весна приходит.

С ветром рассеется он ночью,
Зелень влагой насытит.

Дорожка темнеет с приходом сумерек,
А в лодке на реке одиноко огонь светит.

Завтра утром в городе Тин Гуан
Много мокрых от дождя цветов тяжело расцветет.

Четыре строчки

Река стала чище, и птицы белее,
Горы голубее, и цветы ярче.
Весна едва промелькнула,
Когда же домой возвращение.

Поднятие на терем Иуэ Иан

Давно слышал,
Что озеро Тон Тин красиво.

А сегодня сам поднялся
на терем Иуэ Иан.

Две страны У и Чжу разделены меж собой
На Юг и Восток.

Солнце и Луна качаются
Между днями и ночами.

В последнее время от родных
Ни слова не было.

Я стар и болен,
Но плыву на лодке без устали.

На севере страны война
Продолжается без конца.

Стою у окна безмолвно,
И слезы сами текут без края.

ЦЭН ШЭН

Разговор со стариком

Семидесятилетний старик все еще
Продает у ворот вино,

Сто тысяч бутылок
У входа в гостиницу выставлено.

На дороге листья дерева Иу
Очень на монеты похожи.

Можно ль за них
Прохожим купить вино?

В пустыне

На запад скакал на коне
До самого края неба,

С тех пор, как простился с семьей,
Прошло уж два месяца.

Сегодня вовсе не знаю,
Где ночевать придется,

Вокруг один только песок,
Без конца и без края.

УЭЙ ИН-У

Навещая знакомого

Из десяти дней девять — в дороге,
Только один день был выходной.

Навещал тебя, но не застал,
Пришлось опять возвращаться одному домой.

Не удивляюсь, что твое стихотворенье
Так невыразимо искренно и бессуетно.

Потому что ты живешь в дикой природе,
Покрытой глубоким вековым снегом плотно.

МЭН ТИАО

Песня странника

Добрая мать, взяв иголку и нитку, шьет
Теплую одежду для странника нежно.

Перед отъездом сына мать
Шьет внимательно и плотно.

Волнуется лишь, чтобы
Сын не вернулся поздно.

Разве душа маленькой травы может оценить
Всю солнечную весеннюю теплоту сполна?

После сдачи императорского экзамена

Раньше я одиноко жил:
Ни кола ни двора.

Сегодня же жить на
Широкую ногу стал.

Весной, верхом на лошади,
Легко и быстро поскакал.

За день посмотрел все цветы,
Что в городе Чан Ана расцвели.

ЧЖАН ЧЖОН-СУ

Песня осенней ночи

Монотонные звуки водяных часов
Уносятся в длинную ночь,

На небе от бесконечных облаков
Избавилась луна.

Осенний холод заставлял насекомых
Всю ночь петь грустно.

Пусть иней не опускается,
Ведь теплая одежда мужу еще не отправлена.

ЛЮ ИУЙ-ЩИ

Осенняя песня

Осенью все страдают от
Извечной перемены природы,

А я могу сказать, что осень
Превосходит весну намного...

В чистом небе аист одиноко
Поднимается сквозь облака.

От вдохновения и я
Поднимаюсь на высоту — в небо.

БАЙ ТИУ-И

Песня о сумеречной реке

Солнечный проблеск в сумерках
На реке отражается.

Так, что половина реки еще зелена,
А другая — уже красна.

Вечером третьего сентября
Радостно моему сердцу.

Росинки будто жемчужины,
Лунный серп будто тугой лук.

УЭН ТИН-ИУН

Юноше

Странствуя по свету, встречаю тебя,
Все вызывает глубокую печаль у меня.

Представляю, как осенний ветер
Бросает желтые листья в озеро Тон Тин.

Ночью на улице Хуай Ина
Произносим тост за тостом,
На прощание снова пьяны мы вдвоем.

Яркая луна освещает высокий терем, словно для того,
Чтобы мы вместе спели грустную песню.

Перевод с китайского Ли ЦЗО.



ПАВЕЛ НАУМЕНКО

Несколько воспоминаний к юбилею

В его кабинете все осталось почти по-прежнему. Только полированный, под дуб, небольшой письменный стол старшая сестра — она осталась в отцовской квартире — сдвинула чуть в сторону, освобождая проход к балконной двери. Его мало заботил удобный проход к балкону — куда важнее был свет, падающий на стол. За столом он писал. В выходные и свободные от «службы» (его слово) дни, сколько я его помню, писал всегда — с утра, после обязательного, — почти дежурного, завтрака — и часов до трех. Это мы, по рождению уже горожане, любили этот балкон — смотреть вниз, на публику, шествующую по улице Карла Маркса, на машины, слушать, облокотясь на широкий парапет, шум города внизу, любоваться игрой заходящего солнца над крышами домов — особенно летом, в конце июня — июле, когда густо цвели старые липы, которых уже нет, верхушками достававшие до этого самого балкона на четвертом этаже «сталинского дома». Но он на балкон не выходил никогда, город за окном, его запахи, звуки, краски, видимо, совершенно не занимали его, в этом для него не было поэзии, скрытой музыки или какой-то особенной красоты. Балкон был всегда закрыт наглухо, и пробраться туда мы могли только тогда, когда его не было.

На столе тоже все осталось как прежде. Никому из нас троих даже в голову не пришло бы попытаться сделать этот стол своим — он, как старый слуга, знал только одного хозяина за свою некороткую мебельную жизнь, и по нашему негласному, но единодушному уговору, никто ничего со стола не убрал и не переложил, не взял ничего на память. Все как было.

Этот стол мы тоже любили, как и он, — когда никто и ничто не мешало пробраться в кабинет и тайком забраться на старый, со скрипучей сухой обшивкой полустул-полукресло. На толстом стекле стола — умышленно это было сделано или нет — не знаю, в совершенно произвольном порядке соседствовали разные периоды послевоенной жизни, демонстрируя ту внешнюю, предметную сторону изменений — всего лишь выражение изменений внутренних, которыми эта послевоенная жизнь, на первый взгляд ровная и стабильная, была вовсе не обделена.

Оловянный «сталинский» календарик, который надо было вращать, чтобы с забавным щелканьем выпадало новое число, а внизу крохотным черным эбонитовым цилиндриком выставлялся день. Чернильница-непроливайка, диковина для меня, находящегося уже в то время в модернистской эпохе авторучек, и длинные крашеные палочки с металлической окантовкой — туда вставлялось жесткое стальное перо. Прекрасная вещь. Если расставить по углам отцовской тахты четыре яблока, зарядить пяток ручек перьями, получится уже Долина Смерти, где Одинокий Бизон расправится с бледнолицыми. Главное — не забыть потом одно из яблок, в котором торчащее «копье» пускало сиреневую чернильную слезу. Авторучки с засохшими чернилами — толстые, помпезные, с гравировкой и золотыми надписями. Шариковые — от любимых им простецких беспородных до «паркеров», выработавших свой ресурс, но, по крестьянской бережливости, «складзеных у куфар», хоть стержней



Старшина разведроты. Германия. 1945 год.

к ним не достать. Вообще, ручки — география поездок, омертвевшая память официальных мероприятий, съездов, юбилеев, конгрессов и форумов. Они могли привести в восторг человека советского, не избалованного вниманием отечественного легпрома, иногда даже шокировали, как туземца — стеклянные бусы; можно иногда было тайком утащить несколько этих напыщенных красавиц в школу, и тогда они будут долго передаваться от парты к парте, и с сожалением возвращая их назад, сосед сзади выдыхает: «ве-е-е-щь», и предлагает поменятся на черный каучуковый мячик. Позаимствовать на день-два ручку, хоть и с золотым пером, чтобы поважничать в школе — совершенно безопасно: их мраморное изящество, инкрустации, полированные металлические колпачки, филигранные золоченые защелки-стрелочки для хозяина стола — пустая мишура: ручка должна хорошо писать. Если две-три пропадут, он даже не заметит — их место уже в коробке, в архиве времен на столе, но я всегда, насладившись торжеством в классе, неизменно возвращал их на место. В девяностые, сообразно смене эпох, к ним добавился ворох капиллярок, холодных, стремительных и технологичных, демократических и функциональных: доступные и удобные, они умирали с последней каплей синей или черной пасты и попадали в ту же папиросную деревянную коробку с крышкой, на которой искусно была вырезана дымящаяся папироса — тоже реликт старых времен. В мое время ничего подобного уже было не найти в магазинах — все стремительно упрощалось, и здесь, в магазинах стояли ряды «Орбиты» и болгарских «Ту-134», серо-голубые, грубой бумаги, пирамиды пачек «Беломорканала», а деревянная коробка для сигарет ручной работы — это, как и лепнина на «сталинках», другая эпоха, для меня уже тоже неведомая.

Пачки сигарет — еще одна причина пробраться тайком в кабинет, — сложены на полке за стеклом, встроенной в стол. Невиданные «Капорал Голуаз», дымчато-голубые, без фильтра, излюбленные сигареты солдат Иностранного легиона, чопорные западногерманские «НВ» и гэдээровский «Club», австрийский «Мемфис», итальянские «Муратти», сирийские «Afamia», югославский «Ronhill», неведомые пачки венгерских, бельгийских, голландских сигарет, только в Москве продававшиеся «Герцеговина Флор», тоже опростившиеся наследники любимых сталинских папирос, сохранившие от своих предшественниц, наверное, только черно-зеленую пачку, армянские «Арин-Берд», как говорили, лучшие в Советском Союзе сигареты, а рядом — простецкие «Лайки», «Любительские» и какие-то неведомые папиросы в желтой коробке с богатырем на коне, переложенные тончайшей папиросной бумагой, кремовые, со щегольским золотым ободком. Все пачки надорваны или открыты, табак в сигаретах пересох, если сигарету достать из пачки, он сухо шуршит под бумагой. Запах табака душист и манящ: они пахнут дальними странами, странствиями, чужими городами, диковинными влажными лесами и сухими пустынями. Забавно разбирать на них французские или немецкие надписи; акцизные марки с неожиданными рисунками, крылатые римские шлемы, вензеля, геральдические щиты. Многообразие чужого и неведомого мира...

Он курил много, иногда, заходя к нему в кабинет, когда он работал (это разрешалось только при крайней необходимости), я погружался в густой сигаретный туман, среди которого его силуэт за столом просматривался еле-еле. Запах табачного дыма — запах моего детства, он был привычен и даже любим, но, когда ему перевалило за пятьдесят, мать, в таких случаях — когда вопрос казался ей критическим и затрагивающим фундаментальные основы жизни семьи — суровая и решительная, резко сказала ему:

— Іван, у цябе трое яшчэ малых дзяцей. Хопіць ужо. Натруціўся на тры жыцця наперад...

Он бросил курить в один день, без предварительных периодов, без перехода с трех пачек на две, с двух на одну... Но сигареты за стеклом остались — как напоминание о запахе табачного дыма — запахе его кабинета, и о том многообразии мира, который ему — это для того времени тоже было нетипично — довелось увидеть. Хотя курил он в основном тридцатикопеечную «Орбиту», изредка, когда в столовую возле здания ЦК (теперь уже тоже несуществующую), красивое дореволюционное двухэтажное здание наискосок от Дворца пионеров, завозили американские «Winston» или «Kent», мама покупала ему один-два блока, несмотря на пятикратную разницу в цене с той же «Орбитой».

В боковом ящике стола были другие сокровища: разнообразные зажигалки, целый ворох часов, юбилейных, со щеголеватыми наборными металлическими браслетами, с гравировками, рисунками и надписями на циферблатах — такая же репрезентативно-памятная мишура, для него совершенно не имеющая значения: он обходился простыми никелированными часами на тонком кожаном ремешке, дело часов было показывать время, как ручки — писать, к «имиджу», создаваемому часами, он, как и все, кто принадлежал к тому поколению, относился глубоко иронически, хотя новые времена уже напористо врывались в жизнь, многие мои одноклассники уже выставляли напоказ японские «Сейко», тогда — высший шик, мало кому доступный, а теперь, по-моему, тоже реликт отошедшей эпохи, уже мало кому известный. Но многие часы были забавны: какой-нибудь послевоенный «Восток» с бирюзовыми капельками-камешками возле цифр, или увесисто-тяжелые золотые «Кировские» с черным циферблатом и золотыми цифрами. Часы тоже наглядно демонстрировали смену эпох и стилей, и было любопытно разложить их в ряд — от потертых послевоенных до фантастических тогда многокнопочных электронных со встроенным микрокалькулятором, предметом недостижимых мечтаний многих тогда, дешевкой и ширпотребом — сегодня. Разложенные в ряд, они демонстрировали относительную ценность вещей, которая проявлялась лишь в соответствии своему времени, а когда это время проходило, становились всего лишь реликтом его, иногда — смешным и забавным, иногда — нелепым, как часы с микрокалькулятором, но никогда эта ценность не выглядела абсолютной — даже у массивных золотых «Кировских», уже архаичных даже на тот момент, так небрежно брошенных хозяином в ящик стола и не интересующимся их судьбой, как и судьбой дорогих ручек. Было ли в этом что-то от романтического духа предвоенного поколения, считавшего, что вещи должны быть слугами человека, а не человек — слугой вещей, или то проявлялся совершенно непредставимый сегодняшнему человеку опыт, опыт страшной войны, когда на твоих глазах убивало одноклассника, и любые вещи сразу теряли свою цену для мертвого и меняли — для уцелевшего, — не могу сказать точно. Но сам характер отношения к миру вещей — это была неоспоримая философия того поколения, ни хорошая, ни плохая — органическая. Что-то подобное я неоднократно видел в западном мире: профессора одеваются просто, в свитер и джинсы, миллионеры в старых вельветовых штанах скромно подрезают живую изгородь, министр едет на работу на велосипеде... но там это — традиция, наработанная веками, воспитанная церковью и обществом. Выставлять напоказ атрибуты успеха — стыдно и неприлично. У нас эта черта не передалась по наследству, ушла вместе с его поколением. Что тому причиной — бедность ли советской жизни,



Дети Татьяна, Павел и Валерия. 1981 год.

или вечный товарный дефицит, а может, какие-то иные, внутренние причины, — это вопрос отдельный...

В старом портсигаре лежал немецкий Железный крест за Первую мировую войну и круглая оловянная медаль с немецкой каской и гранатой на длинной ручке, пришлепнутыми сверху, — «За зимнюю кампанию 1941/42 годов» — трофеи, снятые со взятого в плен немецкого офицера, в картонных папках — фотографии, в том числе и военные, с фронта и послевоенной Германии, где он, красивый и совсем еще юный, двадцатилетний старшина разведроты, служил еще почти год после войны. Их тоже интересно было выкладывать в ряд, смотреть, как время неуловимо меняет человека и меняется само — через машины, одежду, улицы, застывшие навсегда в кадре, но такие изменчивые в жизни, покорные неумолимому ходу времени. Юбилейные массивные медали, удостоверения, также отображающие разницу времен — скромные, темнозеленые затертые военные и послевоенные — и помпезные, темно-бордовой кожи с золотом — брежневско-андроповской поры. Кандидат наук. Доктор наук. Член-корреспондент. Академик. Вице-президент. Союз писателей СССР. Саюз пісьменнікаў БССР. Система, казавшаяся тогда незыблемой (впрочем, для меня — десятилетнего, для него — вряд ли), заявляющая об этом с претензией на всегдашность и фундаментальность с помощью золотого тиснения и бумаги с разводами и водяными знаками... Грамоты — Почетные, Пачотныя (так было в правописании сталинских времен) и Ганаровыя... Папки газет и газетных вырезок. Можно было, лежа на ковре, читать часами — что может быть интереснее старых газет? Проспекты — цветные, с фотографиями, — со съездов славистов, писательских съездов и конференций, непонятный тогда вкус взрослой жизни, таинственной и манящей, и очень однобоко эту самую жизнь, как и жизнь научную или литературную, передающие. Но — опять же — вкус ушедших времен, дух истории в этих старых газетах, проспектах, буклетах. Меняющийся стиль времени, которое невозможно остановить, удержать, которое утекает между пальцами...

Кроме стола в кабинете стоял (и сейчас стоит) массивный приемник «Беларусь-53», по статусу пятидесятых — дорогой, «директорский», с футляром полированного ореха, по начинке — немецкий «Телефункен», — в счет репараций шли несколько лет после войны трофейные лампы, схемы, платы, — включавшимся с резким забавным «п-п-п-у-у», с большим мерцающим зеленым глазом — и всегда было интересно пощелкать круглыми жесткими клавишами этой забавной рухляди, покрутить массивные, тяжелой бордовой пластмассы ручки , наблюдая, как плавно плывет по шкале прозрачный, с красной полоской посередине, указатель частот, послушать эфирный шум и прорывающиеся чужие слова, музыку, позывные радиостанций. Но и приемник — реликт времени, с которым почему-то было жалко расстаться. Радиоприемник «на каждый день» был совершенно другой, серо-черный рижский «ВЭФ-12»; пристроив его сбоку на тахте, он вечером слушает «Голос Америки» или Би-би-си. В этом тоже был парадокс времени — в сорок первом отец, вместе со школьными приятелями, из отобранных немцами и выброшенных на свалку, побитых прикладами приемников собирал один, чтобы услышать что-то реальное про положение на фронте, — и через несколько десятилетий после войны слушает закордонное радио о событиях в своей стране — из партийной «Правды» много не узнаешь...

Компьютер, дискета, жесткий диск-накопитель, флешка — эта атрибутика новейших времен до кабинета уже не дошла, время там замерло на пороге девяностых — или еще раньше, да и сам хозяин кабинета в эпоху компьютеров уже не был похож на себя еще недавнего — спокойного, уверенного, который был последней инстанцией и высшим авторитетом для всех троих своих детей, несмотря на разность избранных нами профессий, который вводил меня в великий книжный мир, был консультантом по всему тому, что касалось литературной и университетской жизни, книг, науки — но, наверное, не обыденной жизни: для него в ней многое было тем переменчивым фоном, который недостоин внимания, он словно остался внутри своего военного, пусть и великого, но тоже не вечного поколения. Я хорошо помню эпизод из середины девяностых — в Москве был какой-то важный для него академический форум, по старым связям между Академиями наук российская сторона гарантировала ему проживание в ведомственной гостинице — но более ничего, белорусская даже расходы на билет до



Академики В. Коваленко и В. Гниломедов в кабинете вице-президента АН РБ И. Науменко. 1986 год.

Москвы покрыть не могла. Зарплата по тем временам была смехотворной, с ней не на форум ехать, а на паперть идти можно было. С дипломатическими увертками, стараясь ничем не задеть его, я предложил ему пятьсот долларов:

— Ты ж будзеш мець мажлівасць, як заўсёды, і па букіністах пацягацца, і ў кніжныя крамы зайсці, а кніга зараз дарагая... Не прыйдзецца шукаць танную забягалаўку, здолееш перакусіць дзесьці як чалавек, за чаркай пасядзець з кімсьці... Можа, гарнітур сабе нагледзіш.

Дипломатия свои плоды принесла — он поддался на уговоры, «матпомощь» от сына взял (о том, что маме я помогаю, он знал, но оба мы делали вид, что этого как бы нет, что он по-прежнему держит на своих плечах всю семью и нас, своих детей, в том числе... Хотя, конечно, все он видел и понимал, сильно переживая огульное возвращение в нищету в девяностые, часто и мрачно повторяя: «Думаў, у мяне будзе хоць спакойная старасць...»). Из Москвы он приехал довольный — выступил хорошо, конференция ему понравилась, да к тому же ему удалось купить несколько номеров западнобелорусского «Калосся», и по цене удачно — видимо, интерес в такой же небогатой в те годы Москве к малопонятному для местной публики журналу (белорусский? польский?) был минимален — букинист на радостях, что избавляется от рискованного товара, добавил еще томик Данилевского конца позапрошлого столетия... Вдруг, уже показав мне журналы и книги, с плохо скрываемым торжеством, он сообщил:

— А я брытву сабе купіў. Электрычную. «Браун». Як тую, што ў мінулы раз згубіў у гасцініцы. Ну, што мне Валька (старшая сестра. — **П. Н.**) з Венгрыі калісьці прывезла... За пяць даляраў...

— Бацька, не бывае брытвы за пяць даляраў.

— Ну, я ж купіў!

— А яна працуе?

— А як жа ж. Спакаваная ж, у каробцы.

— Ну, давай паспрабуем, што ўмее твой спакаваны ў каробцы цуд прагрэсу за пяць даляраў.

Коробка вскрыта, бритва извлечена на белый свет. Он щелкал выключателем, носил ее от розетки к розетке, но бритва была молчалива, как ночное небо. Отвертка — я еще помню, где она лежит в этом доме, четыре миниатюрных самореза даже почти не завернуты, — вот и оно, пустое нутро «фирменного» прибора согласно «правилам игры» девяностых (не обманешь — не продашь). Четыре ржавых проводка, старая катушка индуктивности — для веса, чтобы клиент, взвешивая коробку в ладони, не заподозрил подвоха....

Я человек бессердечный — фамильная традиция.

— Стары, цябе надурылі. Абулі, як калгасніка з чэкамі «Ураджай»...

Но увидев его лицо, осекся. Он в этот дискурс не вписывался — обида и непонимание смешались на его лице — это было не смешно... Ведь купил ее в центре Москвы, в Охотном ряду, в магазинчике, с прилавка... Как же так?

Но ведь это было уже в его жизни?! И в его книгах — хоть бы и в том же «Интернате на Немиге». Послевоенные толкучки, безногие инвалиды, наперсточники возле каждого вокзала, часы «от Буре» или «трофейный Брегет с пленного немца» из-под полы... В этом непонимании было нечто много большее, чем сожаление о впустую потраченных пяти долларах. Пятьдесят лет он отсидел изо дня в день за своим письменным столом, отработал без сна и отдыха — как и все его поколение... для чего? Чтобы через пятьдесят лет вернуться на послевоенную толкучку? А ведь в молодости и не попался бы на такой откровенный «развод», а уж попадись — только бы посмеялся...

Но главным в кабинете были не стол и не приемник. По знакомству Янка Скрыган свел его со столяром-краснодеревщиком, тоже реликтом ушедшей эпохи индивидуальных мастеров, и тот сделал в кабинете книжные полки от пола до потолка, из дерева, сухие и легкие, на всю немалую боковую стену кабинета. Даже этого стеллажа — вмещавшего книг столько, сколько, наверное, имела

средняя поселковая библиотека, — книгам было тесно, они распространились по всем комнатам, захватили дачу на Лысой горе, занимая не только свои законные места в книжных шкафах, но и тесня чисто женские территории полотенец, постельного белья и столовой посуды... Но самое ценное и притягательное было собрано все же в кабинете.

Если мои набеги на письменный стол и приемник не сильно радовали его — и несколько раз недовольство в разговоре со мной нет-нет да и проскальзывало, — то книжный мир был открыт для меня безо всяких ограничений, возрастных, содержательных или каких-то иных. Доставая и добывая, правдами и неправдами, интересующие его книги в свои школьные годы в заштатном пристанционном местечке, он считал книгу — в отличие от часов или ручек — ценностью абсолютной, эрозии времени не подверженной, книга не старела и не обесценивалась, как вещи, время властно было над ней лишь косвенно, иногда с годами не уменьшая, а лишь увеличивая ее ценность. Наверное, поэтому ему надо было найти именно то издание Коласа 1928 года, которое он впервые взял в руки в василевичской библиотеке или купил на подаренный за успехи в школе скуповатым — все из-за той же бедности, почти нищеты предвоенной жизни — отцом, путевым обходчиком, рубль в станционном магазинчике, где книги продавались вместе с керосином, хлебом и селедкой. Наверное, было тут желание вернуться, хоть в воображении, в тот момент, когда приходил вечер и, украдкой забравшись в заброшенный сеновал, под лучину (керосин дорог!), он мог, наконец, эту книгу открыть — и пропадали куда-то и сеновал, и бедная хата, и младшие братья и сестра, посапывавшие на печи... То собрание старых белорусских книг, которое осталось после него, в некоторой своей части подчеркнуто отдельно составленной, — явное свидетельство попытки вернуться в юность, хоть как-то оживить то неповторимое чувство волшебности литературы, которое, конечно, создавалось и тем разительным контрастом между обыденностью и прозаичностью местечковой жизни и волшебным миром книг. В мое школьное время эта волшебность уже поистерлась, книжные магазины уже потихоньку забивались тогда еще более-менее по сравнению с нынешним временем приличной, но все же беллетристикой — массовый читатель во все времена одинаков! — но только не у нас дома. Это — тоже черта времени: все более или менее значительные писатели его времени оставили после себя бесценные библиотеки, что, несомненно, тоже часть их творческого портрета. Но и эта черта ушла вместе с поколением. Вернется ли?

Ощущение вечности книги, ее вневременной ценности, контраст с миром зажигалок, часов и ручек был поразительный. Книга не старела, не обесценивалась, не выглядела нелепой, устаревшей и архаичной. Она была интересной всегда — даже если это был зловещий томик Бенде из его библиотеки — как характеристика нелепости и трагичности своего времени.

То, что книга была для него ценностью, культом, главной страстью в жизни, конечно, объясняло ту абсолютную свободу, которая нам в домашнем мире книг была предоставлена. Читать можно было все, в любом возрасте — те книги, которые он сам собирал на протяжении своей жизни, вреда в себе нести не могли. Моя средняя сестра, теперь — профессор искусствоведения и заведующая кафедрой теории музыки в московской Гнесинке, тогда — третьеклассница, обнаруженная им случайно за увлеченным чтением «Анны Карениной», удостоилась его похвалы, которую он произнес, с трудом сдерживая хохот... Я, умудрившийся утащить в школу в четвертом классе редкое издание «Тысячи и одной ночи» с откровенными «взрослыми» иллюстрациями и максимально полным и подробным (таковы далеко не все редакции) подбором сказок Шехерезады, тогда воспринимавшимися как нечто выходящее за рамки пристойности нашей классной руководительницей, заставшей меня врасплох на уроке русской литературы за чтением и разглядыванием и вызвавшей родителей в школу, тоже вышел сухим из воды, — он не считал необходимым вводить хоть какую-то цензуру на любые



С сыном Павлом. 1987 год.

«взрослые» издания... Хотя такие книги, как оригинальное издание «Гісторыі крыўскай кнігі» В. Ластовского или то же «Калоссе» выносить из дома — или рассказывать о них, конечно же, запрещалось, — но тут и причины были совершенно иные...

Книги, книги, книги — они везлись отовсюду, из Москвы, из Варшавы, Парижа и Гамбурга. Белорусский писатель того времени — отнюдь не он один — как бы выверял себя по мировым образцам, классическим и современным, — и не в этом ли причина того, что с шестидесятых по восьмидесятые маленькая Беларусь имела как минимум три десятка прекрасных прозаиков и поэтов? И это при том, что тогда вытеснялась из школы *беларуская мова*, уходила из тех сфер жизни, где еще вчера была повседневной — советская система с непонятным упорством и утопической целью (осознавала ли она ее бессмысленность и недостижимость?) строила монокультурный и моноязыковой мир, но вины литературы в этом не было — как не было ее вины и в катастрофе предшествующей — коллективизации и раскулачивании.

Но тогда, в семидесятые — восьмидесятые (я уже был студентом, потом аспирантом, и говорили мы с ним обо всем много — и о жизни, и о литературе, и обо всем), его поколению, ему, Мележу, Шамякину — трем полесским Иванам — абсолютно искренне верилось, что все это — поправимо и что все было не напрасно, что страшные жертвы его поколения и загубленная репрессиями интеллигенция двадцатых, разруха и бедность советской жизни на протяжении почти всей ее истории — кроме, может быть, короткого двадцатилетия с шестидесятых по восьмидесятые, когда только-только, впервые с предвоенных и послевоенных времен установилось что-то стабильное и благополучное, — что все это зачтется, что вот, совсем скоро — подрастет и окрепнет университетская, учительская, городская интеллигенция, восстановится — в каких-то живых органических, не навязанных ей формах, белорусская деревня, что есть же могучий, облагораживающий мир книги и литературы, в почти всесильность которых всем им хотелось верить, невозможно было не верить.



...На одной из литературоведческих конференций, уже после его смерти, ко мне подсели Михаил Иосифович Мушинский и Василий Прокопович Журавлев — одни из немногих, кто остался от той могучей — если сравнивать с днем нынешним — литературоведческой армии минувших лет. Оба уже далеко не молодые (а ведь я их почти таковыми еще помню — как вчера, экзамены в аспирантуру сдавал обоим), под восемьдесят, но сохранившие какой-то задор и огонек того поколения, какой-то неуловимый интеллигентный шарм, которого у последующих поколений уже нет, они были мне рады — наверное, и как бывшему аспиранту, и как сыну своего отца, с которым их связывало немало, и выступление мое их зацепило по-доброму — сами же и сказали. Какая-то важная струна была всем этим задета — оба наперебой рассказывали, что уже нет прежнего Института литературы, что кругом оптимизация, объединение, слияние. Литературоведы — с лингвистами, лингвисты с фольклористами. Плюс этнографы. Куча-мала. А в конце, покачивая головами, в один голос сказали:

— Іван Якаўлевіч такога б не дапусціў.

— Не, не дапусціў бы. Ніколі.

А мне живо представился сам Иван Яковлевич, весьма иронически настроенный в подобных ситуациях, стопроцентно пробурчавший бы в ответ: «Ну да, Іван Якаўлевіч — ён жа Каваль-Вярнідуб, горы варочае, рэкі спыняе»... Что-то пошло совсем не так и в жизни, и в литературе, как им всем представлялось и на что они надеялись...

* * *

Так получилось, что из-за вечной суеты и занятости взрослой жизни мне пришлось писать эти воспоминания в Вене, в маленьком отеле на Альбертгассе, и как всегда — по ночам. И подумалось: это ведь даже неплохо. Он же любил этот немецкий мир — мир прекрасной литературы и музыки, превосходной филологии и выдающейся славистики, его научной страсти — он ведь читал и говорил по-немецки свободно, Ремарка, Фейхтвангера читал в оригинале, даже норвежца Гамсуна — в Советском Союзе переводилось не все. Хотя столкновение с этим германским миром едва не стало для него фатальным в юности. И все же — это символично. Мне хотелось написать о его честных романах о «партизанке», о романтике первых рассказов — романтике, которая переполняла тех, кто выжил на самой страшной войне. Или о «Смутке белых начэй» — правдивой книге и солдата, и писателя, участвовавшего в боях на Карельском перешейке в сорок четвертом. О поздних, уже немного суховатых и вымученных романах: что-то в советской жизни упиралось в тупик, и он этот тупик ощущал. О переоценке той, уже совершенно далекой и забытой «местечковой» жизни, казавшейся наивной и второстепенной и вдруг ставшей такой важной и значительной уже в совсем поздних «Дзяцінстве», «Юнацтве», «Падлетку». О его литературоведческих монографиях, которые стали одним из символов поворота к взвешенной и объективной литературоведческой науке. Или о тех, кто не постеснялся после

смерти попытаться пнуть мертвого льва, хотя при жизни ходил с поджатым хвостом в его присутствии. Но коварная память подбрасывала то картинки из детства — кабинет, полный табачного дыма, осиротевший стол, старые полки с книгами, в силу которых он так верил... наверное, это не совсем то, что нужно для юбилейных воспоминаний?

Я спускаюсь вниз — цивилизованные европейские правила в номере курить запрещают. Студент-хорват, оставленный в качестве ночного портье (весь отель словенско-сербско-хорватский, типичная картина для балканизированной Австрии), читающий учебник, — сессия близко, наверстывает. Он уже знает — со мной можно и на своем, не по-немецки.

— Ако господину шта трэба...

— Нэ. Ништа. Хвала. Само едну цигарету пушим[1].

На улице — тишина. Спит Альбертгассе. Спит ночное сердце Вены — Йозефштадт, спит и сама Вена — тоже осколок бывшей великой империи, от имперской идеи добровольно отказавшийся и выстроивший свое тихое и стабильное послевоенное австрийское счастье. И теперь потомки тех, кто эту империю делил на новые государства, приезжают сюда на учебу или работу, чтобы потом строить свое, где-то у себя в Словении, — или остаться здесь и присоединиться к австрийскому. Я закуриваю и вдруг вспоминаю, как уже перед самой последней болезнью подвез его к Академии наук, и он, с седой взлохмаченной головой, на немощных уже ногах мелкими торопливыми шажками идет к подъезду — на службу, на которую ходил всю жизнь — и потому, что в этой филологической службе вся его жизнь и была, и потому, что до конца он хотел работать, чтобы никому не быть обузой... Но ведь нет, говорю себе я, это же не то — он написал свои книги, вырастил троих детей, увидел внуков.... Ну да, он бы мог, наверное, встретить живым эти девяносто — если бы не ранение и контузия на Карельском перешейке, контузия, из-за которой он всю жизнь не ощущал запахов. Ведь все же получилось почти так, как он хотел, в конце концов? Но почему же мне его так жалко, седого и по-старчески растерянного — он стал таким после смерти мамы — жалко до того, что горчит во рту от сигареты на ночной Альбертгассе...



[1] — Если господину что-то надо...
— Нет. Ничего. Спасибо. Только выкурю одну сигарету.

НИКОЛАЙ СМИРНОВ

Негромкая история...

«История — сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего». Так некогда сказал гениальный испанец Мигель де Сервантес. И историю свою действительно надо знать, даже, казалось бы, в мелочах, в единичных биографиях, а не вспоминать о ней лишь в дни фанфарных юбилеев и годовщин...

В архитектурный ансамбль площади Парижской Коммуны и улицы Максима Богдановича в столице Беларуси с 1953 года органично входит здание Минского суворовского военного училища — творение известного белорусского зодчего Г. В. Заборского. Однако немногие помнят, что в этих старинных стенах в годы Великой Отечественной войны действовали минские подпольщики...

Как известно, на улице Александровской, 29 с 1840 года находилась духовная семинария, основанная в 1793 году в Слуцке. С 1921 года в этом здании квартировали 81-е Минские пехотные курсы, трансформировавшиеся в 1924 году в Объединенную Белорусскую военную школу (ОБВШ). С 1937 по 1941 годы там размещалось Минское пехотное училище имени Калинина. Учебное заведение закончили Маршал Советского Союза И. И. Якубовский, отец и легенда ВДВ генерал армии В. Ф. Маргелов, его заместитель генерал-лейтенант И. И. Лисов, командующий КБВО генерал армии В. А. Пеньковский и другие прославленные военачальники. Из его стен вышли 33 Героя Советского Союза и свыше восьмидесяти генералов...

Архитектор Г. В. Заборский, творец здания Минского СВУ, вспоминал: «...На месте теперешнего Суворовского училища стояла сгоревшая во время Великой Отечественной войны четырехэтажная коробка. В прошлом это было двухэтажное здание, которое незадолго до войны было надстроено и использовалось как жилой дом... По решению правительства сгоревшая коробка подлежала восстановлению и реконструкции под здание Минского суворовского военного училища...»

Действительно, при отступлении в июле 1944 года оккупанты жгли и уничтожали все что могли. Согласно данным советской разведки, во время войны в здании размещались склады подразделений полиции безопасности, хозяйственная часть СС в 500 человек и несколько квартир чинов оккупационной администрации. В подвале, который сохранился и до наших дней, имелись продовольственные и вещевые склады. Во дворе располагался барак-склад трофейных артиллерийских боеприпасов. И к этим «данным советской разведки» самое непосредственное отношение имел юный минский подпольщик Анатолий Михайлович Кроуз...

Увы, в XXI веке «за давностью лет» кое-кто вновь пытается бросить тень на деятельность минского подполья, да и партизанского движения в целом. И прав был писатель Джордж Оруэлл, сформулировавший еще в 1948 году ставшую бесспорной мысль: «...Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее». Видимо, поэтому многие американцы ныне и уверены в том, что СССР в годы

Второй мировой войны воевал именно на стороне... нацистской Германии. И США их обоих с «сокрушительным счетом» победили. Как тут не вспомнить министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса, постулаты коего и ныне актуальны в информационных войнах: «...Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят!»

Тем более что и у нас хватает доморощенных фальсификаторов и «толкователей истории», пытающихся утверждать, что «...Беларусь вступила во Вторую мировую войну 17 сентября 1939 года. Причем вступила (в составе СССР) на стороне нацистской Германии (*?!*). Нравится кому-то или нет этот факт из истории нашей страны, но он — факт (*?*)». Вот такая подленькая «глубокомысленная» логика. А то, что Беларуси в ее нынешних границах вообще могло бы и не существовать, в расчет этими господами-«толкователями» как-то не принимается...

Помнится, подобного рода кощунственные «концептуальные допущения» в одной из бесед со мной в стенах Минского СВУ с гневом и презрением отверг Анатолий Михайлович Кроуз. И ветеран подполья имеет на это полное право. Ибо в судьбе его, как в капле воды, отразилось то, что испытывали в годы нацистской оккупации Минска десятки тысяч обычных его жителей. И не было тогда для него и его друзей неких «гуманных» оккупантов. На путь борьбы с нацистами Анатолий Кроуз вступил сознательно. И было ему тогда всего-то тринадцать лет от роду...

В те лихие годы «главный хранитель белорусскости» нацистский гауляйтер «Вайсрутении» В. Кубе цинично заявлял: «Белорутения уже сейчас может послать в Германию тысячи своих молодых людей и девушек от 18 до 25 лет, в качестве сельскохозяйственных рабочих. Германии интересно получить в расовом отношении приличного, привыкшего к тяжелому труду рабочего... Нет необходимости восстанавливать города в Белоруссии, так как город портит белорутена».

Однако гордые и свободолюбивые белорусы, в силу своего менталитета, не могли смириться с уготованной им ролью подневольных рабов. Немецким лопатам и нацистской неволе они в большинстве своем предпочли оружие и свободу. Анатолий Михайлович помнит, как нацистские виселицы стояли тогда в Центральном сквере возле Дома офицеров, в районах Комаровского, Червенского и Суражского рынков. Как в единую виселицу-гирлянду были превращены после разгрома первого состава Минского подпольного горкома партии балконы гости-



Здание Минского СВУ. 1950-е годы.

ницы «Беларусь», ныне отеля «Кроун-Плаза». А что такое пытки в тюрьме СД, располагавшейся аккурат напротив здания Дома Правительства, он испытал на собственной шкуре. И это уже никогда не забудется...

А началось все в декабре 1942 года, когда Анатолий вместе со своей тетей М. А. Кроуз (заменившей ему в 1935 году мать) и соседкой по квартире А. П. Цирюльник стал членом одной из подпольных групп, действовавших в оккупированном нацистами Минске. Жили они тогда в доме № 3 по Восточному переулку.

Первоначально он занимался распространением листовок, которые получал от партизан в условленном месте близ Театра оперы и балета через оборудованный там тайник. Всем азам конспирации и выживания юному подпольщику приходилось учиться буквально на ходу. Связной от партизанской бригады «Железняк» являлась подпольщица В. К. Булавко. Но впереди Анатолия ждали другие, более рисковые и опасные боевые дела...

В марте 1943 года, согласно заданию Центрального и Белорусского штабов партизанского движения, майор-пограничник С. И. Казанцев был десантирован во главе спецгруппы «Артур» неподалеку от Минска, который затем и стал основным полем ее деятельности. Перед вылетом с Казанцевым и его бойцами лично беседовал руководитель Центрального штаба партизанского движения П. К. Пономаренко...

История здания Минского СВУ как раз и связана с разведывательно-диверсионной деятельностью этой спецгруппы, которой удалось установить тесные связи с местными подпольщиками, после чего совместно были организованы диверсии на промышленных предприятиях, в гарнизонах и на коммуникациях врага. Согласно перечню приоритетных задач, С. И. Казанцевым и его агентурой велась и глубокая разведка, в ходе которой ценная информация бесперебойно поступала в Центр.

До июня 1943 года постоянные задания и отдельные поручения спецгруппы С. И. Казанцева выполняли минские подпольщики З. З. Гало, А. И. Адамович, О. О. Масловский, В. И. Шишкин, А. М. Кроуз — всего около двадцати человек. В последующем число патриотов увеличилось более чем в четыре раза. Эти люди добывали информацию политического, экономического и военного характера, получали сведения, касавшиеся подрывной деятельности местных коллаборационистов, выполняя одновременно и другие задания Центра.

Из разведдонесения от 23 июля 1943 года руководителя подпольной группы Захара Гало командиру партизанского отряда имени А. В. Суворова бригады «Народные мстители» П. И. Ларину об обстановке и действиях подпольщиков в Минске: «...Разведданные следующие: ...5. АБВШ (ОБВШ) — гестаповские казармы; 6. Генеральный комиссариат — бывшее здание Республиканского совета профсоюзов на площади Свободы». Эти сведения дополнялись информацией Анатолия Кроуза, работавшего в здании, о чем уже ранее упоминалось, а также другими подпольщиками...

Для проведения спецмероприятий многие подпольщики давали подписку, подобную той, что хранится в архивных материалах Захара Гало: «Я, организатор работы спецхарактера, даю настоящую подписку в том, что полученное мной средство использую только для цели, известной мне и моему командованию. Средство получил 22 августа 1943 г. Максим».

С величайшим риском для жизни Гало снабжал подпольщиков всевозможными справками и пропусками, введенными нацистскими оккупантами. Одновременно его подпольная группа проводила активную разведывательную и диверсионную работу в Минске по заданию разведывательно-диверсионной группы майора С. И. Казанцева, Логойского подпольного райкома КП(б)Б, командования партизанского отряда имени А. В. Суворова, бригады «Народные мстители». Так своеобразно «закольцевались» события, связанные с историей старинного здания на улице Горького, 29: от отряда имени А. В. Суворова — до Минского суворовского военного училища...

Анатолий Кроуз, работая уборщиком помещений, смог по заданию С. И. Казанцева пронести в здание бывшей ОБВШ шесть магнитных мин для осуществления диверсии в находившемся во дворе деревянном бараке, где был склад трофейных боеприпасов. К сожалению, ввиду малодушия одного из членов подпольной группы, акция сорвалась, и Анатолий, как и вся его семья, были схвачены СД. Спасло лишь то, что мин при нем не оказалось...



Анатолий Кроуз

А потом Анатолию Кроузу по полной программе пришлось «ознакомиться» с методами кровавых допросов «мясников» из смоленской СД и лично ее шефа Алферчика. Спустя годы он вспоминал: «...Меня арестовали вечером 30 ноября 1943 года, когда я пришел домой с работы. Помимо гестаповцев там находился и некто Богдановский, который жил с нами в одной коммунальной квартире. Били меня долго и методично, а потом полуживого бросили в общую камеру смоленской СД, которая находилась в доме 17 по улице Островского. Там я и встретился со своей тетей, А. П. Цирюльник, Великжаниным и Любой (тоже связной)...

Великжанин был сильно избит. Он подполз ко мне и сказал, что его схватили еще 28 ноября. Пыток он не выдержал и выдал всех нас (кого знал) гестаповцам. Великжанин также рассказал им, где спрятана взрывчатка, которую он мне передавал (я как-то ему говорил, где она поначалу была мной спрятана, но потом я ее все же еще раз перепрятал). Немцам в конце концов удалось «раскрутить» почти всю «цепочку». Немало было у нас промахов. В результате чего пострадали 64 человека.

На следующем допросе, после того как я вновь не признался гестаповцам, где спрятал мины, они выбили мне рукояткой пистолета все передние зубы. После чего последовали тюрьма СД (камера 88), затем концлагерь на улице Широкой. Живот у меня был перепоясан моей тетей разными тряпками, чтобы после всех пыток сквозь раскрытую рану, нанесенную во время допроса штыком, не вывалились мои внутренности. Как я выжил — сам не понимаю...

Дней через 15 нас загнали в вагоны и почти две недели везли на запад. Так мы оказались в концлагере во Франции. Очень много моих товарищей умерло по дороге от голода. Из вагонов нас выволакивали, как дрова. Великжанина в том аду не было. Зато там я встретил В. П. Трушко, который проводил со мной инструктаж по зарядке и установке магнитных мин (его Великжанин тоже выдал)...

В лагере все мы использовались на принудительных работах. Условия были нечеловеческие, а желание одно — выжить и вернуться домой. В ночь на 8 сентября 1944 года с помощью охранников из числа бельгийцев нам в количестве 26 человек удалось совершить побег. Потом прятались в штольнях цементного завода. Через два дня нас вызволили войска союзников СССР по антигитлеровской коалиции...»

Почти через сорок лет в «Личном листке по учету партизанских кадров» от 18. 12. 1982 года за подписью бывшего командира партизанской бригады имени «Железняка» Минской области генерал-майора в отставке И. Ф. Титкова указывалось: «...Кроуз Анатолий Михайлович, связной подпольной группы

с 10 декабря 1942 года по 30 ноября 1943 года бригады имени «Железняка» Бегомльского района Минской области. Входил в состав разведывательной группы майора Казанцева Степана Ивановича и Трушко Владимира Павловича. Группа вела разведывательно-диверсионную работу по г. Минску. Сам Кроуз А. М. лично участвовал в доставке взрывчатки при минировании немецкого склада (ныне склад Суворовского училища). Затем по заданию того же Трушко доставлял донесения для передачи майору Казанцеву С. И., которые передавались командованию бригады «Железняк». В связи с провалом подполья был репрессирован и отправлен в фашистскую Германию.

...Сам Кроуз А. М. оказался смышленым парнем. Подростком принимал активное участие вместе со взрослыми в партизанских действиях. После допросов ему удалось избежать казни. Несколько лет находился в немецком концлагере во Франции, был освобожден советскими войсками. В списках бригады «Железняк» значился погибшим».

И это обстоятельство долгие годы играло негативную роль в послевоенной судьбе А. М. Кроуза. Мертвому ведь ничего не нужно. А свидетели и очевидцы подпольной борьбы в оккупированном Минске рассеялись по бескрайним просторам СССР, а то и вовсе погибли в те страшные годы. Анатолий прошел послевоенную фильтрацию, но как малолетний узник фашистских концлагерей. А жизнь продолжалась...

И только в 2004 году решением Комиссии по делам бывших партизан и подпольщиков при Совете Министров Республики Беларусь Анатолий Михайлович Кроуз был признан участником партизанского движения. Долгие послевоенные годы он честно трудился на Минском заводе вычислительной техники, занимая должность старшего инженера, жил скромно и достойно. Стал Заслуженным работником промышленности БССР, был удостоен правительственных наград Республики Вьетнам, Болгарской Народной Республики, Почетной грамоты Верховного Совета БССР. Справедливость, в конце концов, восторжествовала. Венцом ее стало вручение Анатолию Михайловичу удостоверения партизана Беларуси. Так завершилась эта трагическая история времен оккупации Минска. А сколько их еще, закончившихся для героев сопротивления ничем?..



ЕГОР КОНЕВ

Устройство души и есть свобода...

28 февраля исполняется 80 лет писателю и кинодраматургу Федору Егоровичу Коневу. Он автор книг прозы «Парусник» (1983), «Снегопад» (1990) и безусловный рекордсмен среди отечественных кинодраматургов по числу художественных фильмов, поставленных по его сценариям на киностудии «Беларусьфильм». С 1970-го по 2013-й их было снято свыше двух десятков. В том числе — «Пламя», «Фруза», «Половодье», «Сад», «Крест милосердия», «Белое озеро», «Ятринская ведьма», «Черный аист», «Шляхтич Завальня», «Бальное платье», «Я помню», «Пока мы живы», «Полесские робинзоны» и другие.

Родился Федор Конев в 1935 году в селе Мужи Шурышкарского района Тюменской области — на берегу Малой Оби, за Полярным кругом, или как он сам говорит, «на макушке планеты».

Его дед, Ефим Конев, был зажиточным сельчанином. За это всю семью Коневых во время раскулачивания выселили из собственного большого дома. Но поскольку отец, Егор Конев, служил в Красной Армии в годы Гражданской войны, семью не сослали в Казахстан, как прочих «мироедов», а разрешили всему семейству поселиться в маленькой бане. Там и прошли первые годы жизни Федора Конева.

Родители трудились в колхозе. Отец — рыбак и охотник — числился в передовиках производства. Мать, Агриппина Конева, воспитывала троих детей (всего в семье было восемь детей, но пятеро умерли в младенчестве). В 1942 году отца призвали на фронт. В том же году он погиб на Ладожском озере под Ленинградом — в судно, на котором плыл со своим подразделением, угодила немецкая авиабомба. Жена так и не поверила похоронке, втайне ждала мужа до самой смерти в 1980-м. Да и похоронка пришла не сразу, поначалу прислали уведомление, что Егор Конев «пропал без вести». Такая формулировка лишала семью пенсии. И лишь когда один из однополчан написал в Особый отдел, что Егор Конев погиб на его глазах, семье стали оказывать скудную помощь.

Село стояло на берегу великой реки Оби, а вокруг простиралась тайга. И Федор Конев, конечно же, с малых лет дружил с природой. С мальчишками удил рыбу, ставил силки на зайцев, ловил куропаток и снегирей. До сих пор помнит, каким деликатесом были жареные снегири. И до сих пор не прошла жалость к этим милым птичкам.

В чем еще были единодушны мальчишки, его друзья, так это в ненависти к урокам немецкого языка. Никто принципиально не желал учить язык врага, из-за которого они потеряли отцов. Федор Конев тоже не проявил склонность к немецкому, зато много читал русских классиков. Благодаря Пушкину, Гоголю, Лермонтову и Тургеневу начал осваивать русский язык — до этого говорил на языке коми-зырян, как и все в селе.

В шестнадцать лет начал сочинять стихи. В восемнадцать послал их в Литературный институт в Москве. В ответ получил вызов, который давал ему право

участвовать во вступительных экзаменах. Юному колхознику, не имевшему паспорта, эта бумага позволила покинуть родное село.

Летом 1954-го, получив школьный аттестат, Федор Конев упаковал вещи в самодельный фанерный чемодан, который закрывался висячим замком, и отправился за своей мечтой. Плыл на пароходе по Оби до города Лабытнанги, где начиналась железная дорога в зоне вечной мерзлоты. В первый же день пути начались незабываемые приключения. В трюмном помещении четвертого класа с двухъярусными нарами с Федором расположилась компания амнистированных уголовников, которые смирно вели себя лишь пока были трезвые. Зэки с увлечением «резались» в карты. Когда один из них, как оказалось, «мокрушник», проигрался в пух, то не шутя предложил сыграть на жизнь паренька, ехавшего рядом с ними. Подельники не возражали. Эта карточная партия показалась Федору Коневу невероятно долгой. И уж совсем ему не понравился ее итог — проигравший зэк предупредил его, что пришла пора прощаться с жизнью. К счастью, старший из компании приказал оставить паренька в покое. Лицо своего спасителя Федор Конев до сих пор не забыл.

Доехав до Москвы на поезде, Федор Конев прямиком с вокзала отправился в Литинститут и в приемной узнал, что на вступительных экзаменах придется сдавать немецкий язык. Это был сокрушительный удар по его надеждам — из всего школьного курса Федор Конев помнил два-три немецких слова. Но сотрудник приемной комиссии утешил донельзя огорченного юношу:

— Если так любите литературу, то попробуйте свои силы во ВГИКе. На сценарном факультете, например. Там немецкий сдавать не надо.

— А где этот ВГИК находится? — спросил Конев.

Уточнить, как расшифровывается аббревиатура, он постеснялся. Но уже вскоре подавал документы в приемную комиссию Всесоюзного государственного института кинематографии.

До сих пор его представления о кино ограничивались вечерними просмотрами советских и трофейных фильмов в сельском клубе. Детей до шестнадцати туда не пускали. Но изворотливый Федор проникал в клуб заранее и прятался за деревянным пъедесталом, на котором возвышался бюст Сталина. Это было единственное место в зрительном зале, куда не догадывался заглянуть бдительный контролер. Когда сеанс начинался, Федор ужом выползал из укрытия и устраивался на полу прямо перед первым рядом. Фильмы тех лет — «Тарзан», «Индийская гробница», «Кавалер Золотой Звезды», «Подвиг разведчика», «Свинарка и пастух» — поражали воображение. Кино казалось волшебным миром, на пороге которого он внезапно оказался.

Творческий экзамен Федор Конев сдал успешно. А вот на экзамен по истории не явился — по причине голодного обморока. Его ежедневный рацион состоял из стакана чая в столовой, куска хлеба и плавленого сырка. Сидя в библиотеке за учебником истории, Федор потерял сознание и очнулся уже в больнице. Экзамен был пропущен. Пришлось возвращаться домой с сокрушенным сердцем. Но мечта вернуться во ВГИК поселилась в его душе.

Вскоре пришла повестка в военкомат. Федора Конева мобилизовали на два года в ряды Советской Армии, отправили в танковые войска. Служба проходила среди сопок Забайкалья. Федор Конев дослужился до должности командира танка. Его однополчане часто писали письма знакомым девушкам, но поскольку обладали скудным лексическим запасом, то обращались к начитанному Коневу, чтобы продиктовал им текст. Это занятие было одним из главных развлечений службы.

Демобилизовавшись, Федор Конев вернулся в родное село, работал в собесе, затем в районной газете, а в 1958 году вновь отправился в Москву и на этот раз поступил на сценарный факультет. Учился в мастерской Екатерины Виноградской (известного советского кинодраматурга, автора сценариев знаменитых в 1930—1950-х годах фильмов «Обломок империи», «Член правительства», «Партийный билет»).

Летом 1959 года, когда приехал на каникулы в Мужи, заприметил в местной аптеке красивую молодую заведующую Марию Любавину. Два года ухаживал за ней (главным образом, слал письма из Москвы). В июле 1961 года они поженились и с тех пор живут неразлучно. В мае 1962 года у них родился сын Андрей, а в декабре 1970 года — Егор.



Во время службы в армии. 1955 год.

В 1960 году Федор Конев проходил практику на Тюменском телевидении. Там единственный раз в жизни выступил в качестве кинорежиссера — снял по своему сценарию новеллу «Дорогу осилит идущий». После этого опыта пришел к мысли, что его подлинное призвание — писать, а снимать должны те, кому это больше нравится.

После окончания учебы в 1963 году поехал по распределению в Сыктывкар (Коми АССР), где возглавил редакцию литературно-художественных программ на телевидении. По его сценариям был снят десяток короткометражных документальных фильмов. Их творческий диапазон был достаточно широк — от первого звонка в городской школе до жизни оленеводов в тундре.

Но в душе Федор Конев лелеял мечту о «большом метре» и в свободное от работы время писал сценарий полнометражного художественного фильма «Судный день». Когда закончил в 1965 году, то послал на ознакомление бывшему однокурснику Никите Хубову в Москву. Тот переслал «Судный день» на киностудию «Беларусьфильм». В ту пору сценарную коллегию здесь возглавлял поэт Максим Лужанин. Ему сценарий понравился настолько, что он сразу же заключил договор с автором. Федора Конева пригласили в Минск на творческий семинар. «Судный день» так и не был поставлен, затормозило московское начальство, но Максим Лужанин пригласил Конева на должность кинoредактора. С того времени творческая жизнь Федора Конева неразрывно сплелась с киностудией «Беларусьфильм».

В конце 1960-х годов Минск начинался на западе в районе нынешней станции метро «Грушевка», а на востоке заканчивался у современной улицы Макаёнка. Киностудия располагалась у городской черты, а площадка для натурных съемок, где гремели взрывы во время батальных сцен, находилась на месте нынешнего комплекса Белтелерадиокомпании. Берега Свислочи в центре города еще не забетонировали. По широкому проспекту Ленина проносились редкие машины. И уж что совсем поразило приехавшего из Сыктывкара Конева, так это обилие продуктов в продовольственных магазинах. В то время как почти половина регионов СССР жила на скудных пайках, здесь можно было купить палку колбасы, не давясь в длинной очереди. В скором времени Федор Конев перевез семью в Минск.

Почти на тридцать лет «Беларусьфильм» стал для Федора Конева местом, куда он с удовольствием ходил на работу. Эта работа — увлекательная, волнующая и порой очень нервная — придавала смысл его жизни.

Как редактор Федор Конев знакомился со сценариями и заявками, которые присылали на киностудию. Правила обязывали дать квалифицированный ответ

автору в течение месяца, в противном случае сценарий считался принятым к производству. Почти 90 % присланных работ отбраковывались по причине полного непрофессионализма.

Помимо того, значительную часть рабочего времени Федор Конев посвящал доработке отснятого киноматериала. Серьезной проблемой белорусского кинематографа и в прежние, и в нынешние времена было то, что некоторые излишне самоуверенные режиссеры часто отступали от сценария и снимали фильм как им вздумается. Однако на стадии монтажа такие режиссеры, мнившие себя гениями во время съемок, обретали растерянный вид, поскольку снятая таким образом картина «рассыпалась» на эпизоды, не имевшие никакой смысловой связи. Вот здесь и вступал в дело кинoредактор, который за монтажным столом помогал преобразовывать отснятый материал в логически внятный сюжет. После этого режиссеры вновь преисполнялись самодовольства.

Дорабатывать приходилось не только фильмы, но и сценарии, принятые к производству Государственным комитетом по кинематографии СССР. Редактор дописывал эпизоды и переписывал диалоги, углублял характеристики персонажей и развивал сюжетные коллизии. Тематика фильмов чаще всего была либо производственная, либо военная. Кстати, хотя по количеству фильмов о Великой Отечественной «Беларусьфильм» значительно отставал от «Мосфильма» или «Ленфильма», но именно за нашей киностудией в эти годы закрепилось полушутливое название «Партизанфильм».

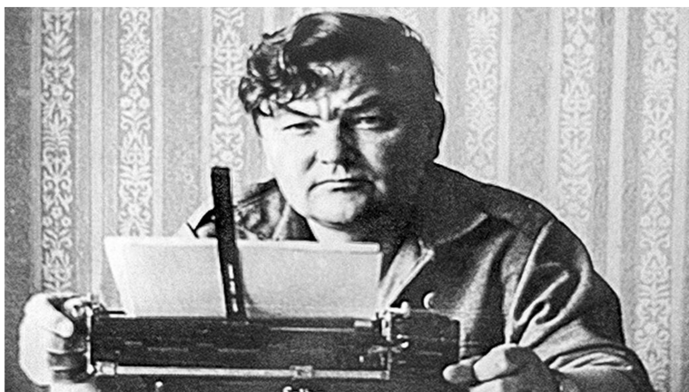
Тогда же Федор Конев выступил в качестве автора и соавтора сценариев, которые ставили такие мастера национального кино, как Игорь Добролюбов (фильм «Счастливый человек»), Виталий Четвериков («Пламя», «Половодье», «Сад»), Вячеслав Никифоров («Обочина», «Фруза»), Виктор Туров («Черный аист», «Шляхтич Завальня»). Он успешно сотрудничал с режиссерами Диамарой Нижнековской (четырехсерийный телефильм «Крест милосердия»), Леонидом Мартынюком («Белое озеро»), Юрием Марухиным («Радуница»), Борисом Шадурским («Ятринская ведьма»), Сергеем Сычевым («Личный интерес», «Я помню», «Пока мы живы»). Помимо оригинальных сюжетов, Федор Конев воплощал на экране произведения белорусских писателей, популяризируя таким образом националь-



На съемках фильма «Дорогу осилит идущий». 1962 год.

ную литературу, плодотворно сотрудничал с Вячеславом Адамчиком, Виктором Козько, Валентиной Ковтун и другими именитыми прозаиками.

Федор Конев активно работал не только как кинодраматург, но и как прозаик. С 1972 года его рассказы и повести регулярно публикуются на страницах литературно-художественного журнала «Нёман».



За работой. 1979 год.

С началом «перестройки» организационные изменения коснулись и «Беларусьфильма». По примеру «Мосфильма» киностудия разделилась на три студии. Федор Конев возглавил редакционный отдел одной из них — студии имени Тарича. Но эксперимент с этим разделом себя не оправдал, и в 1991 году «Беларусьфильм» вновь реорганизовался в единую студию. В этом году на его производственной базе были сняты 32 художественные картины — абсолютный рекорд для белорусского кино. В прежние годы киностудия производила в год в среднем пять-шесть художественных и столько же телевизионных картин. Причиной «многокартинья» стал приток инвестиций от продюсеров, которые укрывали таким образом свои доходы от уплаты налогов. Они фиксировали в документах крупную сумму, например, 500 тысяч долларов, но на практике заставляли съемочную группу сделать фильм за 100 тысяч. Остальная часть шла в карман продюсерам.

В 1992 году подобная практика была запрещена законодательно. Тогда же в связи с фронтальным кризисом в экономике государство значительно урезало финансирование кинопроизводства. Отечественные картины уже не приносили прибыли, поскольку прокат заполонили в основном американские фильмы. Теперь на «Беларусьфильме» снимали в лучшем случае одну-две художественные картины в год. Число сотрудников с 1500 человек сократилось втрое. Это трудное для киностудии время длилось почти два десятилетия.

К этому времени Федор Конев уже занимал пост заместителя главного редактора киностудии. Но «Беларусьфильм» уже перестал быть тем местом, где царил дух творчества и куда он с удовольствием отправлялся на работу. Поэтому едва 28 февраля 1995 года ему исполнилось 60 лет, как он с легким сердцем вышел на пенсию.

За прошедшие с того времени годы Федор Конев опубликовал десяток повестей в белорусском журнале «Нёман» и российском журнале «Арт Лад». По его сценариям были сняты художественные фильмы «Ожог» (1998), «Бальное платье» (2002), «Глубокое течение» (2004), «Я помню» (2005), «Пока мы живы» (2007), «Полесские робинзоны, или Чудо-остров» (2013).

Но рассказ о том, когда человек родился и чем занимается всю жизнь, — это внешние штрихи портрета. Гораздо важнее внутренний мир. Тем более, Федор Конев любит повторять вслед за великим Львом Толстым: «*Душа — это все*». Может быть, эти отрывки из бесед с ним помогут дополнить портрет писателя.

Отрывки из бесед

Я где-то вычитал, что зародыш получает огромный стресс при рождении. Ему было хорошо в утробе матери. Было сытно, тепло и уютно. И вдруг надо ворваться в страшный мир неизвестности. С этого стресса все и начинается.



С женой Марией. 1994 год.

С первого крика человек пытается понять, куда он попал, где он и зачем ему нужно тут быть. Потом уже взрослая память на каком-то клеточном уровне не дает забыть, что человеку было хорошо, что он был в раю, куда нет возврата. Оттого нередко находит тоска, неясная, беспричинная, подспудная. Это потому, что человек никак не может смириться с тем, что в яростном мире, куда он попал, не считаются с ним, как там — в раю, в лоне матери, где он был любим один.

В этом чувстве душевной неустроенности имеет значение и то, что на самом деле мы чужие в этом мире. Мы не нужны согласному сообществу деревьев, трав, моря, полей, бегущего у ног ручья… Они прекрасно обошлись бы без нас. И когда мы уходим, ни один листок с ветки не упадет с горя. Мы приносим только вред Природе. И потому, думается, весь смысл нашего пребывания в этом мире заключается в одном — не быть чужими.

Мишель Монтень говорил, что вся жизнь — это подготовка к смерти. Из этого следует, что нужно оценивать себя и свои поступки с высоты смерти. Но у меня не получается. Может, потому что я Рыба по Зодиаку. А Рыбы вообще времени не чувствуют.

Конечно, как любое живое существо, я думаю о смерти. Однако… Не помню, в какую пору, но я пришел к ясному пониманию того, что смерть неизбежна. А раз неизбежна, то я ничего не могу изменить. Тогда зачем думать о том, что умру. «Да такая ли уж высота смерть?» — подумалось мне. Может быть, все наоборот. Страх и бессилие перед смертью не могут возвысить дух. Должно быть, это минуты наиболее выраженного эгоизма — почему я умираю, а остальные остаются жить? Как мы не хотели родиться, так мы не хотим умирать.

Когда ты увлечен работой, когда чувствами охвачен, то часто ли смотришь на часы? Не до этого. И пусть себе тикают, на то они и сотворены. Но что нам до них, если жизнь опьяняет, заводит, крутит, соблазняет, как женщина. Думается, только неустанная работа ума и души дают человеку чувство свободы и помогают забывать, что с минуты зачатия приговорен к смерти.

Упорствуй, ломая крылья,
Взлетай, не успев отдохнуть.
Лишь в этих безумных усильях
Жизни короткой суть.

Естественно, речь о духовных взлетах, а для бренного тела есть самолеты.

Не помню, чтобы серьезно задумывался над вопросом, в чем смысл жизни. Может быть, этот вопрос вообще не занимает людей, кто возмужал среди природы. Я ведь рос в таежном селе. Часто пропадал в тайге и чувствовал, как она велика

и как легко заблудиться, когда вокруг одни деревья да неисчислимое множество зверья, занятого своей размеренной жизнью. Оттого, должно быть, возникло особое отношение к жизни — не потребительское, а благодарное, ощущение сопричастности ко всему живому, чувство того, что ты есть частица чего-то огромного и вечного. Ты в Жизни, как капля в Океане, безмерно мал и невообразимо велик. Какой еще нужен смысл?



Федор Егорович Конев.
2013 год.

Я для себя считаю непременным одно правило собственного житья-бытья, и оно звучит так: «Не делай зла». Это на все случаи жизни. Если сделал зло, то какие бы другие праведные каноны ни старался соблюсти, тебя уже нельзя назвать порядочным человеком.

Человечество, как губка ядом, насыщено злом. Потому считаю самым главным хотя бы самому не добавлять этого лиха.

Три раза в жизни я встречался со смертью. Опасных моментов было больше, конечно, но эти три случая явно были роковыми. Об одном из них расскажу.

Лет пятнадцать мне было. Зимой рубил деревья на дрова. Снега по пояс. Надо его разгрести, утоптать, чтобы добраться до комля. Пока санки загрузил, силы вконец иссякли. Еще надо пять верст тащить санки в упряжке с собакой. В конце пути повалился на снег передохнуть. Был в малице с капюшоном. Тепло, уютно. И уснул. Что-то очень хорошее снилось. Во сне был счастлив. Этак и ушел бы в небытие, если бы Шахтер не разбудил, почуяв неладное. Так моего пса звали — Шахтер. Угольно-черным был. Он уже охрип от лая, лизал лицо, тряс за капюшон. Я с трудом выбрался из сладкого сна. А ноги уже окоченели, все тело озябло. На морозе погибельный сон сладок.

В молодости считал, что нет ничего важнее кино. По утрам бежал на киностудию, как на любовное свидание. И вот дожил до того времени, когда понял, что уже не люблю кино. Или душа остыла, или с кино что-то случилось. Мне думается, что оно вышло из берегов Искусства. Так в половодье река заливает всю округу и теряет свои очертания, свой облик, уже не река, а большая лужа. Так и с кино. На экране телевизора — половодье сериалов. В интернете — масса фильмов, но непросто найти хотя бы добротный, хорошо сколоченную современную картину.

Из кино стараются делать коммерческий товар. А для этого есть два пути — творить подлинные шедевры или гнать ширпотреб. Что легче и проще? Над этим вопросом продюсеры ломать голову не станут. Помнится ларек на пристани нашего села, в котором румяная торгашка продавала пиво. Она разбавляла его и все бессовестней наглела. Воды стало больше, чем пива. И мужики не стали покупать. Вот то же и с кино происходит. Не стало продукта. Одна вода. Градусы — чувства и мысли — ничтожны.

Но если серьезно говорить, то в кино, кстати, как и в литературе, потеряны какие-то ориентиры. Так корабль на всех парусах бежит по волнам, а куда — не знают ни капитан, ни матросы. Куда ветер дует, туда и плывут. Верится, что это временное явление, некий духовный кризис, идет полоса растерянности и одновременно какого-то неведомого накопления. И «взрыв» случится, как в шестидесятые годы прошлого столетия, когда люди забивали огромные залы, чтобы послушать стихи своих поэтов.

Не без удовольствия признаю, что родом из романтиков-«шестидесятников». Когда говорят о том времени, то в первую очередь вспоминают стиляг. Даже есть фильм Тодоровского-младшего с таким названием. А ведь суть времени была не в узких брюках и вихлявых танцах. Это мелочь, пижонство. А суть была в том, что пришли в общественную жизнь дети победителей фашизма, прошедших Европу. Патриотизм высшей пробы сочетался в них с глубоким пониманием того, что не все ладно в родной стране, что так жить дальше нельзя. В те годы люди готовы были к переменам, и прошли бы те перемены не так варварски, не так дико и трагически для миллионов простых людей, как это случилось в шальные девяностые. Молодежь была духовно здорова, не разграбила бы страну, а преобразила бы с любовью и бережливо, но дряхлая власть испугалась тех устремлений.

Для меня «шестидесятники» были и остаются в памяти бескорыстными аристократами духа. Но время лепит свои образы, иногда меняя людей до неузнаваемости. Представители именно этого поколения, поколения «шестидесятников», были у власти, когда развалилась огромная страна, разрушению которой усердно помогали те, кто в молодости пели: «И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной».

Не сужу о том, исторически оправдан развал страны или нет, речь о «шестидесятниках», которые когда-то любили свой народ и жаждали добра, а годы спустя принесли ему столько страданий. Ума не хватило или сердца?

В шестидесятые годы прошлого века была всего-то оттепель, даже весны не случилось, а как много в людях хорошего проявилось. Скромная свобода, допущенная властью, пробудила лучшие чувства. И главное из них — любовь. К своей стране, к народу, к человеку, который, и в рядовых состоя, оказался очень даже непростым. Он пришел на экраны, на страницы книг и будоражил мозги.

А огульная свобода девяностых? Что она принесла? Почему небольшая воля шестидесятых вызвала воспарение духа, а полная свобода девяностых показала, как мелок и ничтожен человек? Не властители дум, не лирики и не физики оказались героями времени, а бандиты, проститутки и продажные менты.

Человек может быть несчастен, сидя в своем «Вольво», и только потому, что увидел, как ненавистный сосед выехал на собственном «Мерседесе». И человек может быть счастлив, сидя в ночи перед последней свечой. Догорит свеча — и тьма. Но она еще горит, еще есть свет. И человек счастлив.

Все зависит от того, как устроена душа. Один украдет и не смутится. Другого замучает совесть. Один обидит слабого и тут же забудет. Другой станет каяться и страдать больше обиженного. Все зависит от устройства души.

А устройство души и есть свобода. Я мало чем, а скорее — ничем не могу повлиять на то, что происходит вне меня. Не от меня зависит рост цен, величина зарплаты. Не остановить мне бомбы, которые падают на головы людей. Не остановить мне войны, которые люди затевают, не понимая, ради чего. У внешней стороны жизни иная режиссура. Бог ли наказует, сатана ли правит бал — и это мне неизвестно.

Но устройство души в моих руках. Я сам себе могу определить приоритеты ценностей. Никто меня не заставит любить то, что противно душе. И никто не заставит разлюбить то, что я полюбил. Я могу ограничиться своей квартирой, самыми близкими людьми и одним каким-то занятием. И это будет мой мир, моя свобода. Но в моих силах так развить душу, чтобы охватить все величие мира, чувственно воспринять прошедшее и будущее, пространство и время.

И главное — это каждому дано.



Без классики нет будущего

Продюсерский плюс некоммерческий... И каков же «суммарный итог» этого сложения? Возможна ли гармония в столь парадоксальном альянсе? Что и говорить, «продюсерский» гораздо привычнее сочетается со словами «бизнес» или «рынок». Однако при Белорусском союзе музыкальных деятелей существует именно некоммерческий продюсерский центр «Классика». И не просто существует: успешно работает уже десятый год! Инициатор его создания и арт-директор Валерий Уколов с неисчерпаемым энтузиазмом ищет и вносит свежие оттенки в полифонию нашей музыкальной жизни.

Парадоксы бескорыстия

Осенью 2005 года Валерий Уколов предложил руководству Белорусского союза музыкальных деятелей создать продюсерский центр для поддержки талантливой молодежи, ветеранов сцены и педагогики. А уже в начале зимы под эгидой нового творческого звена БСМД состоялся первый концерт, организованный в столичной филармонии. Программа посвящалась памяти друга наших музыкантов, народного артиста Российской Федерации, президента хоровой ассоциации России, композитора Георгия Струве, покинувшего мир земной в 2004 году.

Видимо, стоит напомнить, что Георгий Александрович был выдающимся хормейстером, педагогом, просветителем, деятелем культуры. Занимался проблемами музыкального воспитания и образования детей и молодежи в своей стране и за рубежом, создал уникальную систему массового обучения музыке и хоровому пению. Написал более 200 произведений, преимущественно для детей и юношества. В их числе и проникновенная лирическая «Беларусь моя». Многие песни Струве стали классикой, звучат в исполнении детей разных стран, входят в программы детских садов, общеобразовательных и музыкальных школ далеко за пределами России, а общий тираж его книг и различных сборников превышает 1,5 млн. экземпляров. Он работал в международных конкурсных жюри, проводил семинары и мастер-классы по всему миру: в Австрии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Франции, Южной Корее, Японии...

Тот концерт-воспоминание был наполнен детским пением. А в исполнении Государственного камерного хора Беларуси под управлением Натальи Михайловой прозвучал «Реквием» Моцарта.

— Валерий Иванович, музыкальное событие, ставшее точкой отсчета истории центра «Классика», произошло 7 декабря 2005 года, и формально эту дату можно считать днем его рождения. Но сначала, разумеется, родилась идея...

— Так случилось, что с 1989 года я начал работать в Белорусской государственной филармонии в качестве режиссера концертных залов и невольно был

активным участником всех музыкальных событий. Выйдя на пенсию, я вдруг осознал, что приобрел там опыт и навыки в уникальной профессии, которой у нас не учили: продюсерстве. А наблюдая за тем, что происходит в окружающей жизни, как меняются культурные ориентиры и подменяются ценности, подумал: если я сам не организую вечер памяти Георгия Струве, или концерт молодых пианистов класса прекрасного педагога Евгения Пукста, моего сокурсника по консерватории, к его юбилею, или программы в честь наших старейших музыкантов, — этого не произойдет вообще. Обратился к руководству союза музыкальных деятелей, организующего свои концерты, как правило, на сцене столичной филармонии. Мою идею — создать некоммерческий продюсерский центр — поддержали, ведь она созвучна задачам БСМД. Название «Классика» определяет и жанровое кредо, и направления работы: поддержка классического музыкального искусства, пропаганда белорусской национальной и мировой музыкальной классической культуры...

Многие ли поймут, ради чего когда-то Бах, чтобы послушать орган, шел пешком 14 километров? Современным слушателям и выходить из дома нет необходимости. Сотни миллионов жителей планеты получают с домашних экранов все, что предлагают популярные телеканалы. Но что им предлагают и рекомендуют как самое лучшее, актуальное, необходимое? Коммерческие эстрадные шоу. Тот же конкурс «Евровидение»...

Ведь не секрет, что сегодня, «благодаря» техническому прогрессу, мы живем в эпоху господства масскультуры и в плену ее приоритетов.

— В таких условиях, согласитесь, весьма странным кажется словосочетание «некоммерческий продюсерский». В организации и проведении концерта всегда есть финансовая составляющая. Каким же образом вы решаете материальные проблемы (аренда зала, создание афиш, гонорар исполнителям и прочее)? Есть, наверное, некая коммерческая тайна.

— Словосочетание «некоммерческий продюсерский» родилось из самой практики как определение нашей позиции. И здесь нет парадокса. Есть любовь к искусству. А если любовь за деньги... Это, думаю, что-то совсем иное.

Конечно, бесплатный сыр — только в мышеловке. Но никакой «коммерческой тайны» у нас нет. Поскольку классическая музыка имеет прописку в филармонии, а эта государственная площадка не может существовать без продажи билетов, то все наши концерты, проводимые там, — кассовые. Какое значение имеет кассовый сбор для нас? В цене билета, образно говоря, отражается стоимость затрат на рекламу, иные организационные расходы. А тайны нет: есть всегда востребованная идея, есть музыкальная общественность, готовая идею поддержать, и есть публика, на которую мы опираемся. Свои замыслы воплощаем «под ключ», обеспечивая и достойное художественное качество происходящего на сцене, и достойную публику в зале. И делается все бесплатно!

Как пример можно вспомнить 80-летие выдающегося дирижера, народного артиста Российской Федерации, лауреата Государственной премии Беларуси Геннадия Провоторова. На его бенефисе в Большом зале филармонии были озвучены поздравления юбиляру от Президента нашей страны и Администрации президента России. В честь маэстро выступили — подчеркиваю: бесплатно! — два хора, три оркестра, восемь дирижеров (почти все они учились у Геннадия Пантелеймоновича в нашей академии музыки) и лучшие солисты страны. Юбиляр тогда и сам, после долгого перерыва, вызванного болезнью, взялся за дирижерскую палочку. Ему этот праздник, по мнению родных, хотя бы немного продлил жизнь. А всем причастным к проведению торжества и теперь отрадно думать, что все-таки успели воздать должное Провоторову, высказать восхищение и признательность гениальному маэстро, пока он был еще с нами, мог со счастливой улыбкой вслушиваться в добрые слова и в музыкальные приношения.



Валерий Уколов в Белорусском союзе музыкальных деятелей. Декабрь 2014 года.

Важно, что Министерство культуры Беларуси деньгами поддержало проведение такого проекта в филармонии, и мы смогли организовать публику через распространение бесплатных пригласительных билетов. Подобным образом, при поддержке Министерства культуры и также под рубрикой «Музыкальное приношение» был организован филармонический вечер к юбилею легендарного певца Валерия Кучинского.

— Несколько лет назад, в тяжелую для нашей экономики пору, вы провели благотворительный концерт «От сердца — к сердцу, от ноты — к ноте». Его участники направили заработанные деньги на материальную поддержку коллег, товарищей по союзу: пенсионеров, инвалидов, ветеранов. Высокий поступок музыкантов!

— Практически все наши концерты по своей сути — благотворительные акции. За 10 лет работы центра сформировалась практика проведения юбилейных вечеров, мемориальных концертов, программ с участием класса (выпускников, студентов, учащихся) кого-либо из выдающихся белорусских наставников-музыкантов. Их участники — солисты, дирижеры, артисты коллективов, — отдавая дань уважения ветеранам сцены, своим учителям и коллегам, работают с полной отдачей и выступают бесплатно, с готовностью отказываясь от гонорара. И у нас очень чуткий и теплый зритель.

— Известно, что любители классики, как, впрочем, и абсолютное большинство музыкантов, состоящих в союзе, — люди с довольно скромным достатком...

— Но концерты, которые организует наш центр, для них вполне доступны. В отличие от коммерческих проектов, здесь предусмотрены льготы для ветеранов и учителей, сохраняются социальные цены на билеты. Публика ощутила такую поддержку, ждет наши концерты и сама, без рекламы, их находит.

Неповторимые, как жизнь

Лидер центра «Классика» известен в профессиональной среде как автор, а нередко и как режиссер многих высокохудожественных программ. Не стоит и пытаться их сравнивать. В удивительном разнообразии классических концертов нет особо значимых, нет второстепенных. Каждый — событие, все вместе — гармония. Как свежие цветы в букете. И каждая замечательная встреча с музыкой — это еще одна прожитая жизнь: уникальная, неповторимая, загадочная и быстротечная.

Хорошее живое исполнение классики впечатляет, оставляя эстетическое послевкусие. И если отзвук музыки надолго поселится в душе, то время от времени он будет пробуждать и подпитывать воспоминания. Например, о чудесном

созвездии белорусских пианистов класса Зои Качарской, воссиявшем в атмосфере ее юбилейного вечера. Ученики именитого профессора трудятся в Испании, Италии, Норвегии, России, Франции, Чехии... Специально к тому концерту приехал в родной Минск из Нидерландов лауреат международных конкурсов Виталий Стахиевич с женой Еленой (они составили блестящий фортепианный дуэт), показал дорогому педагогу-имениннице свои новые стихи, написанные, как всегда, по-белорусски. Зоя Качарская, успешная в сольной карьере, наделена истинно небесным даром: она умеет зажигать звезды, раскрывая и сохраняя индивидуальности своих учеников. Александр Музыкантов, Елена Вашкевич, Сергей Войницкий... Таланты. Молодые имена.

А сколько творческих людей собрал в свое время бенефис Александра Мильто — пианиста, владеющего игрой на клавесине и органе, педагога, автора музыкальных сказок для детей! Это и Государственный камерный оркестр Беларуси, где он работал два десятка лет. И маэстро Петр Вандиловский. И ансамбль вокалистов, представивший Александра Мильто еще и как композитора. И звезда оперной сцены Татьяна Гаврилова, в школьные годы благодаря этому педагогу освоившая клавесин. И участники известной изостудии «В гостях у Тюбика» с красочными работами, нарисованными под впечатлением от игры юных музыкантов...

Вспоминается и масштабный белорусско-российский проект, посвященный памяти великой Ирины Архиповой. Самая титулованная певица Советского Союза была не только добрым гостем, большим другом Беларуси, но и нашей землячкой. С Минском связана романтическая история любви прабабушки и прадеда Ирины Константиновны. В Гомеле жили ее родители, и заботливая дочь их часто посещала. Возглавляя Международный союз музыкальных деятелей, помогала нашему союзу в решении возникавших организационных проблем. После кончины Архиповой президентом МСМД стал ее муж, выдающийся тенор Владислав Пьявко. Его, а также солистку московского театра «Геликон-опера», обладательницу яркого меццо-сопрано Ксению Вязникову белорусские музыканты пригласили в свой проект. Состоялась творческая встреча с гостями в БГУ культуры и искусств. А затем они присоединились к участникам потрясающего концерта-мемориала в Белорусской филармонии. Его режиссером, разумеется, стал Валерий Уколов, ведущей — спутница практически всех концертных программ центра «Классика» Инна Зубрич. Вдохновенные инструментальные мелодии, искренность и красоту своих певческих голосов и взволнованную ритмику сердец вплетали в венок Ирине Архиповой музыканты. Два с половиной часа без антракта длилось действо. Это чудо-действо было сродни некоему чудодейству. Его творили артисты Национального академического народного оркестра во главе с неутомимым маэстро Михаилом Козинцом, лучшие солисты Белорусской оперной сцены Наталья Акинина, Василий Ковальчук, Андрей Морозов, Нина Шарубина, Елена Шведова. И наши гости. В тот вечер, вопреки основному закону классического концерта, его устроители использовали музыкальную фонограмму. Но она не нарушила трепетную прозрачность акустической атмосферы: звучала молитва, и это был голос Ирины Архиповой — такой чистый, возвышенный, неземной.... Уже неземной...

— Валерий Иванович, вспоминая конкретные программы, в разные годы осуществленные центром «Классика», легко поддаться проснувшимся эмоциям и, увлекшись деталями, упомянуть лишь малую толику ваших славных дел. Их же столько, что и перечислить сложно! А вообще-то, долгие перечни вовсе необязательны, чтобы наш читатель смог представить себе, чем занимается «Классика». Можно просто добавить к тому, о чем уже сказано, еще несколько фактов.

— В таком случае, продолжу называть уважаемые имена. Героями наших проектов становились также Валерий Шацкий, Евгений Пукст, Лев Маевский, Лариса Васильева, Лючия Ластовка, Элеонора Ахремчик и другие известные

педагоги. Мы отмечали юбилейные даты и всемирного музыкального календаря, связанные с именами Эдварда Грига, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Федора Шаляпина.

Шестой сезон в Малом зале имени Рыгора Ширмы успешно и в предельно искренней, теплой атмосфере проходят концерты в рамках филармонического абонемента «Поют мальчишки». Мы организовали его совместно с Ассоциацией руководителей хоров мальчиков и юношей БСМД. При активном участии продюсерского центра «Классика» открыто Шаляпинское общество Беларуси (председатель — наш замечательный бас Олег Мельников).

Осенью провели два аншлаговых юбилейных вечера в Большом зале филармонии. В октябре — праздник нашего любимого музыковеда Инны Игоревны Зубрич. Там помимо Государственного камерного оркестра под руководством Евгения Бушкова выступили талантливые воспитанники Владимира Павловича Перлина — струнный коллектив Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки; праздничный хор Свято-Елисаветинского монастыря (регент — монахиня Иулиания); артисты Купаловской сцены и нашего Большого театра. Десятки лучших музыкантов страны! И, естественно, все работали без гонорара.

В ноябре я как автор идеи проекта и режиссер концерта участвовал в проведении программы «Музыкальное приношение учителю», где мы поздравили с 90-летием легендарного Михаила Григорьевича Солопова, заслуженного деятеля искусств, профессора, и ныне работающего в академии музыки, единственного на всю академию и наш союз ветерана войны. В 1-м отделении концерта выступил Национальный академический народный оркестр под руководством Михаила Антоновича Козинца, а наш юбиляр в финале даже взмахнул волшебной палочкой дирижера. А во 2-м отделении композиторы Эдуард Ханок и специально приехавший из Санкт-Петербурга Игорь Корнелюк подарили виновнику торжества свое творчество. Между прочим, пятьдесят лет назад именно Михаил Григорьевич, тогда директор Брестского музыкального училища, вручил мне диплом о его окончании и направление в консерваторию. А Эдуарда Ханка и Игоря Корнелюка принимал когда-то в Брестскую музыкальную школу, будучи ее директором. Разумеется, мы все участвовали в данном проекте без гонораров. Но подготовить его не само собой удалось. Например, Ханка и Корнелюка уговаривал полгода, чтобы они подкорректировали свои уплотненные графики и нашли время для участия в «Музыкальном приношении учителю». Неоценимую помощь в организации праздника для юбиляра (а в итоге-то и для публики) оказала фирма «Муза-компани», которой руководит Людмила Кравцова, кстати, в прошлом — ученица Михаила Григорьевича (случайностей не бывает!). Этот проект стал блестящим завершением 40-го международного фестиваля искусств «Белорусская музыкальная осень».

А вот Международный день музыки в этом сезоне мы отметили в Концертном зале Полоцкого Софийского собора — вместе с хорами студентов из Дрездена и Минска. Ребята познакомились с достопримечательностями нашего древнего города, посетили монастырь Евфросинии Полоцкой, прикоснулись к нашей истории и христианским святыням.

Среда обитания

Десять лет организационно-концертной деятельности. Участие в проведении конкурсов и фестивалей. Работа за пределами столицы. За кулисами музыкальных праздников остаются и муки творчества, и уроки реальности с ее курьезами, разочарованиями, горечью непредвиденных обстоятельств. Но сколь суровы ни были бы условия выживания «нерентабельного» классического искусства, курс некоммерческого продюсерского центра БСМД, как и самого союза,



Михаил Солопов на концерте в честь его 90-летия.
25 ноября 2014 года.

стабилен, а успех очередных событий и новые обретения не дают иссякнуть оптимизму единомышленников.

— Валерий Иванович, «Классика» является соучредителем двух долгосрочных проектов БСМД, важных не только для сохранения и развития традиций отечественного профессионального искусства, но и для культуры всего нашего общества в будущем. Это Республиканский конкурс юных вокалистов имени Федора Шаляпина и Республиканский фестиваль хоров мальчиков и юношей, в рамках которого проводится конкурс. Вместе с вами к их организации приобщены Шаляпинское общество Беларуси, Ассоциация руководителей хоров мальчиков и юношей БСМД, Белорусская государственная академия музыки. Ранее в нашем разговоре упоминались и некоторые другие партнеры «Классики». С кем еще довелось сотрудничать вашему центру и, кстати, кто планирует его деятельность?

— Планами занимаюсь в основном сам. Случается, правление БСМД просит меня помочь в организации какой-либо программы. Так было, например, с концертами в 2007 году, когда союз отмечал свое 20-летие. Совместно с норвежским фондом «Рафто» мы провели концерт «Жизнь. Музыка. Судьба» к 100-летию со дня смерти композитора Эдварда Грига. Участвовали норвежские и белорусские музыканты. Прошла и творческая встреча в Республиканской гимназии-колледже при академии музыки, где также звучала музыка Грига.

Поскольку мы занимаемся классической музыкой, главный наш партнер — Белорусская государственная филармония. Где же еще проводить, скажем, цикл концертов «Все фортепианные сонаты Людвига ван Бетховена», кроме филармонии? Эти шедевры классического наследия исполнил для нас Михаил Лидский. Великолепный пианист в течение двух сезонов приезжал из Москвы, осуществляя настоящий музыкантский подвиг! Была сделана запись его потрясающих девяти концертов, сыгранных для минчан.

В 2006-м состоялась творческая встреча выдающегося российского пианиста, преданного друга нашей публики Николая Петрова с учащимися Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки. После этого Фонд Николая Петрова организовал концерт талантливых белорусских детей в Москве, в знаменитой «Гнесинке». Примечательно, что Николай Арнольдович лично консультировал некоторых наших учащихся, следил за их профессиональным ростом. Были впечатляющие планы развития наших контактов с его фондом, договоренности о проведении совместных белорусско-российских молодежных концертов в Минске и в Москве. Но к безутешному сожалению, очередной визит Петрова, начавшийся теплой музыкальной встречей, был прерван и оказался последним, завтрашний концерт с его участием пришлось отменить: в гостиничном номере артиста сразил инсульт. Белорусские врачи, как известно, сделали все, чтобы стабилизировать состояние, и, наверное, могли бы успешно продолжить лечение. Да вот по настоянию близких Николая Арнольдовича перевезли в Москву, поместили в одну из московских клиник. Он уезжал с надеждой на выздоровление и новую встречу. А спустя какое-то время весь мир узнал трагическую и чудовищно нелепую новость: в той частной клинике Николай Петров из-за халатности медиков получил заражение крови, отчего мучительно скончался... Кто мог предположить, что нам придется планировать концерт памяти музыканта?

— В не такое и давнее время концерт могли отменить исключительно из-за болезни исполнителя, и это воспринималось как настоящее ЧП. Теперь все чаще в филармонии случаются отмены программ (даже, казалось бы, весьма привлекательных для публики) или перенос их на неопределенное время. Происходит это без объяснения причин, однако дотошный зритель знает: на концерт были проданы считанные билеты... Исходя из богатейшего прежнего и нынешнего опыта, какие выводы, предложения, прогнозы вы можете высказать, наблюдая за тем, что происходит с концертной аудиторией, реальной и потенциальной? Как ее воспитать, заинтересовать, собрать и удержать?

— Когда в 1989 году я начал работать в Белгосфилармонии, это была единственная гастрольная организация, которая выпускала и расклеивала афиши в Минске. Теперь никто никого не ограничивает — заплатил и расклеил рекламу по всему городу, заказал анонсы-«растяжки» над центральными улицами. Дикий продюсерский рынок приводит к дикой конкуренции. Часто на разных площадках идет параллельно несколько концертов, схожих по жанру (например, джазовых). А публика, в общем, — одна и та же. Денег на частое посещение концертов любителям классики не хватает. Да и стоимость билетов на фестиваль Башмета или программу с участием Дениса Мацуева «зашкаливает». Студентом я ходил на концерты каждый день — за 15 копеек. Теперь цены «кусаются».

Сегодня частные продюсеры должны заплатить за все из нашего (публики) кармана: за аренду зала, за рекламу, за выступление артиста. «Бухгалтерия» часто не сходится — расходы превышают доходы. Цены на билеты растут, а количество зрителей в зале сокращается. Притом наша столица перегружена дешевыми развлекательными проектами. На афишные тумбы грустно смотреть: сколько на них мусора! Многих теперь привлекает шансон. А на мой взгляд, это не жанр, это ржавчина на теле культуры.

Воспитывать публику надо начиная с детства. Все-таки классическая музыка без музыкального (хотя бы начального) образования малодоступна. Значит, надо совершенствовать систему общего образования и давать основы специальных знаний для будущего слушателя. А то ведь получается, словно кто-то заинтересован в том, чтобы наших людей с детства приучить к суррогатной пище — телесной и духовной: вместо полноценной еды навязывают чупа-чупс, вместо искусства — развлечение. Николай Петров с грустной иронией говорил: «Ничто так



Участник многих проектов — Младший хор мальчиков Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки. Дирижер Юрий Казакевич.

не объединяет публику, как отсутствие интеллекта». Может ли общество жить бездумно? Легко себе представить перспективу такой жизни. Образование, воспитание вкуса, формирование нравственных ориентиров, классическая художественная литература, классическая музыка — вот спасение.

Возникает проблема в связи с тем, что сегодня есть не политика в области культуры, а финансовый план. В такой ситуации не музыка главное. К сожалению, главной задачей филармоний стала продажа злополучных 75 процентов билетов, а не создание высокохудожественной и социально значимой программы концертов. Поэтому на филармонической афише все чаще появляются самодеятельные исполнители и «попса» во всем их ужасном разнообразии (а то и безобразии). Спасибо Ростиславу Кримеру и Максиму Берину за их профессиональные продюсерские «звездные» проекты, за Спивакова, за Мацуева... Это глоток кислорода, без которого публика может задохнуться. И для молодых продюсеров — урок современного подхода к своей профессии, мастер-класс современных продюсерских технологий. Слава Богу, и спонсоры все чаще мелькают на афишах. Но это уже тема для отдельного разговора.

Замечу еще вот что. Историю принято изучать по прессе. Изучая публикации в старых газетах, можно откопать немало интересных забытых фактов о музыкальной жизни той поры, когда еще не было технических возможностей для осуществления записей с концертов в залах, а не в условиях студии. Внимание в заметках и рецензиях привлекают оценки, суждения, описания. Но что происходит сегодня? В нашей массовой прессе музыкальная критика, можно сказать, умерла как жанр. Есть реклама. Хорошо, что хотя бы частично события нынешней концертной жизни сохраняются в аудио- и видеозаписях.

— Вернемся к деятельности центра «Классика». Вы создаете и поддерживаете «комфортный микроклимат» для музыкантов, которым, безусловно, приятно, когда их творчество, их педагогические достижения замечают коллеги, чествуют в профессиональном кругу, дают возможность раскрыть себя в новых проектах и при этом почувствовать неравнодушное дыхание зала, внимание и любовь публики. У вас же свой, особенный зритель-слушатель...

— Все наши проекты, как правило, имеют значительный резонанс. Очень часто слушатели и артисты меняются местами (пример — филармонический хоровой абонемент «Поют мальчишки»). Наша аудитория — от начинающих музыкантов с их родителями до тех, кто ходит на сонаты Бетховена: это среда существования классического искусства. Без понимания и любви оно жить не может. Публика и артист — вот что нужно музыке, которая, разумеется, не знает границ и является планетарным языком общения. Еще усилиями старших поколений в Беларуси создавалась четкая, профессионально крепкая система музыкального образования и воспитания молодежи. Несмотря на кризисы, на отток талантливых людей в другие сферы деятельности и за рубеж, у нас пока есть кого учить и у кого учиться.

Но есть и основания для беспокойства. В стране мало концертных залов для исполнения классической музыки. Не хватает инструментов надлежащего уровня. Мне было и грустно, и смешно, когда в Брестском академическом театре драмы и музыки (он выполняет и функцию филармонического зала) Михаил Лидский играл на том самом рояле «Estonia», за которым еще в 1964 году я, закончив музыкальное училище, выступал на выпускном вечере! Тем не менее председатель Брестского музыкального общества, член правления БСМД Лилия Батырева уже более четверти века, причем ежегодно, организует в своем городе международный фестиваль классики «Январские музыкальные вечера». С другой стороны, Витебская областная филармония, где и свой современный зал, и прекрасный рояль, не смогла довести цикл концертов «Все фортепианные сонаты Людвига ван Бетховена» до конца. И причина не столько в проблемах экономики, сколько в отсутствии традиций, в неумении профессионально работать, определять достойные приоритеты, держать связь с музыкальной общественностью. Впрочем, эта проблема заслуживает особого разговора и внимания со стороны тех, кто небезразличен к нашему будущему.

Музыкальных дел мастер

Внимательный читатель получил уже достаточно информации, чтобы понять: Валерий Уколов — профессиональный музыкант, приобрел специальность пианиста, окончив музыкальное училище в родном городе Бресте и Белорусскую государственную консерваторию. А потом? Преподавал. Работал в Методическом кабинете по учебным заведениям при Министерстве культуры БССР. В 1985 году вышла авторская программа Валерия Уколова по обучению игре на фортепиано для школ с музыкально-хоровым уклоном. С 1989 по 2003 год — работа в Белорусской государственной филармонии. За эти без малого полтора десятка лет при его участии было организовано и проведено около 6 тысяч концертов. Устраивал гастроли белорусских исполнителей в Германии, Франции. Имел счастье дружить с Николаем Петровым, приобщиться к организации и проведению концертов Святослава Рихтера, Иегуди Менухина, Дмитрия Башкирова, Ирины Архиповой, Марии Гулегиной, Владимира Спивакова и других выдающихся музыкантов современности... В общем, рождение продюсера — процесс весьма сложный и долгий. Сначала, разумеется, родился просто человек. И произошло это в отнюдь не музыкальной семье.

— Валерий Иванович, ваши родители познакомились в оперном театре. Но музыкантами они не были. Шла война. Многих и многих она разлучала. Но история вашей семьи начинала складываться именно в те годы...

— Моя мама из Житомира (родина Святослава Рихтера и Сергея Королева), отец из-под Новосибирска. Им суждено было во время войны оказаться в городе Куйбышеве. Туда из Москвы было эвакуировано правительство. Бункер, в котором находились высокопоставленные лица, охраняли военные, в их числе и мой будущий отец. Также в Куйбышев был эвакуирован коллектив Большого театра СССР. Весь город ходил на оперу, любить которую считалось, как это ни странно звучит, модным. В Куйбышеве моя будущая мама надеялась найти хорошую работу, ведь у нее на руках был маленький сын от первого мужа. Достойное бухгалтерское образование помогло ей в условиях жесткого распределительного режима устроиться на работу в театральный буфет.

Вот так оперный театр стал местом случайной встречи будущих супругов. И судьба свела их навсегда. А война продолжалась. В ее событиях наступил долгожданный перелом, линия огня стала стремительно перемещаться на Запад. В соответствии с приказом Иван Александрович Уколов покинул тихий приволжский город: предстоял путь в направлении фронта... Когда победное продвижение советских войск увенчалось разгромом Третьего рейха, семья Уколовых оказалась в Бресте, где в 1946 году и родился Валерий.

— Первой мебелью, которой обзавелись родители, был купленный трофейный немецкий рояль. Под ним я спал. Мама мечтала, чтобы дети научились играть на фортепиано. Поэтому все было предрешено: старшего брата привели в музыкальную школу, и я, когда подрос, последовал за ним. Молодежи трудно представить, но тогда не было интернета, мобильной связи, даже телевидения. А жизнь без этого не казалась скучной. В Бресте выступал оркестр музыкального училища, им дирижировал Михаил Григорьевич Солопов. Между прочим, концерты этого оркестра посещал Машеров, когда возглавлял обком КПБ.



На гала-концерте хорового фестиваля. (Валерий Уколов приветствует победителей — Капеллу мальчиков Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки.)

Какие у нас в детстве были развлечения, игры? Бегали на девятый форт крепости. Кто его не знал! Там, в крепостном рву, заполненном водой, детвора училась плавать. Между третьим и четвертым столбами находился подбитый танк, на нем можно было передохнуть и с новыми силами плыть дальше. Особой мальчишеской доблестью считалось украсть сна-

ряд, разобрать его и добыть цветной порох. Прочные стебли подсолнечника у нас превращались в стволы автоматов... Я часто думаю о том, что мама, «сунув» нас в музыкальную школу, уберегла своих сыновей от наверняка неизбежной печальной участи. Я интересовался, как сложилась жизнь у мальчишек нашего, считавшегося бандитским, района. Половина ватаги спилась, половина отсидела в тюрьмах.

И все-таки в тогдашнем обществе были иные приоритеты, нежели теперь. Прежняя система ценностей трансформировалась в систему, где имеют место лишь ценности в их буквальном, материальном значении. Когда-то в Бресте была событием трансляция с конкурса имени Чайковского, а не репортаж со спортивного турнира. Событием был приезд Шостаковича в Беловежскую пущу на отдых. Мне тогда поручили выполнить пожелание Дмитрия Дмитриевича — научить его кататься на велосипеде, и это были незабываемые часы общения с композитором и его женой. Многие помнят, как Святослав Рихтер, возвращаясь через границу с ежегодных европейских гастролей, задерживался в Бресте, чтобы дать концерт. Гениальный пианист играл у нас бесплатно!

И разве можно забыть, как в 1990 году по плану Союзконцерта в Минске прошел хоровой фестиваль, когда за месяц в Большом зале филармонии выступило почти два десятка коллективов, и я не занимался деньгами, а только репетициями, программами, транспортом...

А потом «начались деньги»: времена изменились и люди. Мы стремились попасть в число талантливых, образованных и умных, а сегодня стремятся стать богатыми. Мы судим о личности по духовным достижениям, они — по валюте в кармане. Сегодня говорят об экономической, о продовольственной безопасности, об угрозе последствий глобализации. Но мало говорят о нравственной безопасности наших детей. «Живи по совести и делай то, что хочешь», — сказал один мудрый отец своему сыну. Совесть — неудобное слово. Образование, образованность не заменяют совесть. Образованными, как мы знаем, бывают и нелюди. Ну, а наши «продвинутые» дети, уткнувшись в свои гаджеты, не замечают людей, находящихся рядом с ними в транспорте, бессовестно занимают места, не предлагая присесть тому, кто в этом нуждается. Типичный недостаток нравственного воспитания, и не мелкий!

Как человек, приобретший, между прочим, еще и профессию настройщика фортепиано, я признаю единственный критерий чистоты строя — камертон. Фантастический стандарт в мире чистоты! Надо к нему прислушаться и взять чистую ноту. А от этой одной ноты строить свою жизнь... Классика поможет. Чем хороши классическая музыка и классическая литература? Можно слушать и переслушивать, читать и перечитывать, открывая новые смыслы.

Мечтаю погрузиться в чтение необъятного наследия Льва Толстого. Мечтаю о том времени, когда у меня подрастет внук и я начну заниматься с ним на фортепиано (как приобщал к музыке, учил играть сына Ивана). Накопилось столько нот! Хочется их передать из рук в руки, ведь это главное мое наследство.

Опережая календарь

В разгаре сезон 2014/2015 годов. Центр «Классика» знаменует его тематическими проектами, посвященными 70-летию Великой Победы. Первый из них удалось осуществить еще минувшей осенью. В столичном концертном зале «Верхний город» по инициативе БСМД , поддержавшего личный душевный порыв своего председателя Михася Дриневского, были организованы благотворительная акция и концерт духовной музыки. Цель этого доброго дела — оказание посильной денежной помощи в восстановлении православного храма Николая Чудотворца в деревне Тонеж Лельчицкого района, на родине Дриневского. (Ранее Михась Павлович по собственному почину неоднократно вносил свою лепту в общие усилия земляков, направленные на возрождение святыни.)



Брестские «Пеўнікі» (руководитель Олег Нерода)
на хоровом фестивале 2013 года.

История храма, как и самого села, трагична. В ночь с 6 на 7 января 1943 года, в канун Рождества, фашистские каратели, согнав жителей деревни в Николаевскую церковь, сожгли там их всех заживо. В огне погиб 261 человек, в том числе 108 детей до 15 лет...

Благотворительный концерт, который вела Инна Зубрич, прошел при участии двух хоров из православных минских храмов, хора Белорусской государственной академии музыки под руководством Инессы Бодяко и Национального академического народного хора с маэстро Дриневским. В зале присутствовала специально приехавшая с Гомельщины Людмила Венгура — председатель приходского совета тонежского храма (кстати, благодаря всевозможным пожертвованиям отстроенного более чем наполовину).

— Глубинные духовные нити связывают этот благотворительный проект с начатой вами еще в минувшем сезоне серией концертов под рубрикой «Поют православные хоры».

— Этот проект вызвал общественный интерес и может быть продолжен в новом году. Но пока я сосредоточился на теме 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это меня особенно волнует. Ведь я родился в послевоенном Бресте. Мой отец, сибиряк, освобождал Беларусь от фашистов, а мое детство прошло на развалинах героической крепости. Вместе с Ассоциацией руководителей хоров мальчиков и юношей БСМД мы готовим специальную программу «Песни войны, песни победы, песни мира». Планируем выступить с ней в Минске в новом музее Истории Великой Отечественной войны. А поскольку я — брестчанин, то на 9 мая предложил провести концерт с этой программой в Брестской крепости, собрав там хоры мальчиков и юношей не

только из Беларуси, но и России, Украины. И пусть замолчат пушки. Навсегда. И пусть пацаны не воюют, а поют. А в храме на территории крепости пройдет панихида по жертвам той страшной войны.

У нас появилась возможность осваивать новые площадки. Так, благотворительный концерт духовной музыки прошел в зале «Верхний город». В Музее истории города Минска, где обосновалось наше Шаляпинское общество, можем отмечать знаменательные даты жизни и творчества величайшего певца, артиста и художника (более ста лет назад он выступил с гастрольным концертом в Минском городском театре). Ведь в принадлежащей музею Художественой галерее Михаила Савицкого есть неплохой рояль «Bluthner». В филиале музея — отреставрированном флигеле Лошицкого усадебно-паркового комплекса появился белый с золотом «Petrof». Это место может подойти для проведения концерта к 100-летию Рихтера, которое мир отметит 20 марта. Планируем такой проект с участием музыкальных школ, двух гимназий-колледжей — имени Ахремчика и при академии музыки, солистов филармонии. Кстати, Рихтер увлекался рисованием, и этот факт инспирирует идею художественной выставки, в окружении которой и проходил бы концерт-презентация наших пианистов. Возможно, договоримся о получении некоторых репродукций его работ из российского Музея изобразительных искусств имени Пушкина, возможно, это будет выставка одной картины...

— На одном из пленумов правления БСМД вы поделились не планами «Классики», а размышлениями о необходимости создать в творческой среде достойную систему поощрения мастеров классического искусства.

— Как же об этом не размышлять, когда единственная в стране Национальная музыкальная премия сориентирована исключительно на так называемые популярные жанры. У академического музыкального искусства нет своей Национальной премии: да об этом кричать надо! Даже на «Евровидении» у классики есть своя ниша, и в этой конкурсной номинации начали выступать, и успешно, яркие молодые белорусские музыканты с академическим образованием. Коллеги по союзу, конечно, поддерживают меня, говорят о целесообразности учреждения в Беларуси отдельной музыкальной премии «Классика». Но такое решение должно приниматься не на уровне нашего общественного объединения. А пока в массовом сознании господствует «музыкальный чупачупс» и продолжает формироваться однобокое представление о достижениях современной белорусской музыки.

И все-таки я верю, что минуют кризисы, а те, кто сегодня начинает свое восхождение к вершинам мировой музыкальной культуры, лет через 15—20 поднимутся на профессиональную сцену или, что не менее важно, придут в наши залы как слушатели, подготовленные к восприятию великой музыки. Формирование образованной, европейской публики делает нашу страну более цивилизованной.

* * *

Долгий разговор, загруженный всевозможными проблемами, завершился на вполне оптимистичной ноте. А как же иначе? Мажорный финал — в духе добрых традиций классики...

Беседовала Светлана БЕРЕСТЕНЬ.
Фото автора.

Искусство суждения

ВЛАДИМИР ГНИЛОМЕДОВ

Путем поэта

Среди самых известных и продуктивных современных белорусских поэтов — Виктор Шнип. Ему уже за пятьдесят — пора, как говорится, первых итогов. В качестве такого итога можно рассматривать вышедший в прошлом году сборник избранного под названием «Першы папяровы снег» (Віктар Шніп. Першы папяровы снег. Выбр. (1978—2008). Мн.: Чатыры чвэрці. 2014). Я прочитал, и возникло желание написать рецензию, но получилось, кажется, нечто иное — подобие творческого портрета или эскиза к таковому.

Поэзия В. Шнипа — мягкая, акварельная, «неграмотная», перед нами тихий романтик, поэт, если можно так сказать, неконфликтный, но устремленный к правде, реалистическому при всем своем романтизме освоению действительности. Первое свое стихотворение «Семнадцать мне...» он напечатал в молодежной газете «Чырвоная змена» 17 августа 1977 года. Уже самые первые стихи свидетельствовали, что автор — со своим, непохожим на других восприятием действительности, своей интонацией. Застенчивый юноша, искренний, сдержанный, но с открытой душой.

Першага снегу святло,
Ты для мяне як свята.
Сонца памалу ўзыйшло
З коміна крайняй хаты.

Вецер сцяжыну маю
Ноччу замёў на лузе.
Ціха на ганку стаю,
Снег патушыць баюся.

Видно было, что он чутко прислушивается к звучанию слова, способен на свое, незаемное слово, за которым открывается целый мир, мир родного дома. Связь с большим миром он ощущал через малую родину, хату, семью.

Ёсць на Валожыншчыне вёска Пугачы,
Дзе рэчышчы сцяжын не зараслі ў лугах,
У агародчыках красуюць касачы,
Буслы
    на захад
        сонца коцяць па дубах...

Мотивы первых книг В. Шнипа не были новыми в белорусской поэзии, можно даже сказать, что они традиционны, но муза поэта придала им особую взволнованность, иное, новое качество эстетического сопереживания. В этих стихах была какая-то волшебная простота, личная интонация, свежесть и непосред-

ственность выражения, раскованность жеста. Он умеет высветить строку, отчего она становитя почти невесомой, прозрачной и чистой, как бегущая родниковая струя. Одно из таких стихотворений — «Лесной дорогой».

Ад снегу светла ў шэрым сасняку.
Сарока увязалася за мной.
Сцяжыны,
як рачулкі у раку,
Бягуць, каб стаць дарогаю лясной.
Нібыта ў ветразь,
у маю спіну,
За дзень замораныя, дзьмуць вятры.
Тут дзесьці блізка шум ракі заснуў,
Каля якога раскладаў кастры.
Мне зараз не хапае іх цяпла
І шуму задуменнае ракі.
Вядзі мяне,
дарога,
да сяла —
Сагрэюць добрым словам землякі.

Связи с той землей, благодатным краем, где он родился, где прошло детство, были сделаны первые шаги и сказаны первые слова, останутся навсегда, но он не станет поэтом только деревни. Постепенно его кругозор все больше расширяется, индивидуализируется и диалогизируется, меняются так называемые ментальные матрицы.

Если говорить об образовательных вехах В. Шнипа, то следует отметить, что он закончил Минский архитектурно-строительный техникум и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького в Москве в 1987 году, после чего работает в ряде периодических изданий и издательстве «Мастацкая літаратура».

И никогда не забывал о стихах. Он лауреат Премии имени Маяковского, что, признаться, несколько неожиданно, неожиданно не в смысле художественного уровня — здесь все в порядке, претензий нет, заслуживает вполне, а в плане типологической несхожести: «тихий», раздумчивый, «неагрессивный» Шнип и трибун Маяковский, сравнивавший свои стихи с войсками: «Парадом развернув моих страниц войска, // я прохожу по строчечному фронту». Впрочем, известно давно: хорошие поэты — разные (это, кажется, Маяковский и сказал).

М. Танк уже на склоне жизни записал в своем дневнике: «В самом деле, поэзия — неотгадываемая загадка. Она — дитя ума, интуиции и иррациональных ощущений». Эстетика давно уже утвердилась в мысли, что нет искусства без метафизики. Есть она, и в немалом количестве, и в поэзии В. Шнипа, по-своему отразившей характерный для конца XX века кризис рационализма.

ноччу па горадзе блукаюць дрэвы
пра гэта ведаюць толькі паэты
дрэвы ходзяць па праспекце
заглядаюць у вітрыны магазінаў
палохаюцца манекенаў
за дрэвамі бягуць бяздомныя
галодныя сабакі і каты
ноччу аднаму страшна хадзіць
па вуліцах калі ведаеш
што па вуліцах блукаюць дрэвы
праўда пра гэта ведаюць толькі паэты.

Это стихотворение под названием «Деревья» написано в 1990 году. Автор, как видим, сохраняет анимистическое восприятие мира (в большей степени свойственное сельскому жителю), верит в то, что деревья ходят, камень думает, а дождь что-то нашептывает человеку.

Да, перед нами поэт, что называется, от земли и одновременно поэт-интеллектуал, впитавший современный опыт, достижения культуры, не поступившись при этом индивидуальностью. В. Шнип насыщал стихи содержанием своей душевной жизни. Где-то с начала 90-х усиливается интерес к потоку сознания, поэт овладевает этим художественным приемом, но подчас ядро мысли теряется в этом потоке, оставляя после себя впечатление разноречивости чувств и ощущение непонятности. Это относится, например, к циклу «Пыль» (сборник «Похищение Европы», 1996).

Выходили сборники стихов: «Луч света» (1983), «Поиск радости» (1987), «Город Утопия», «Путем ветра» (1990), «На руинах Храма» (1994), «Похищение Европы» (1996), «Инквизиция» (2002), «Белорусское море» (2004), «Баллада камней» (2006) и др. Лучшие вещи из этих книг включены в «Избранное», о котором говорилось выше. По мере становления поэта в его стихах усиливается медитативная настроенность на раздумья, в которых, на наш взгляд, больше всего выражается сущность его личностной природы. Стих поэта легок, пластичен, восприимчив к настроениям быстро изменяющегося времени.

Ападае лісцё, ападае —
Разарвалі вятры цішыню.
І прыходзіць часіна падумаць,
Пасядзець аднаму ля агню.

Адлятаюць знаёмыя птушкі,
Зарастае туманам прастор.
Я гляджу ў паніжэлае неба,
Падкідаю галінкі ў касцёр.

І самотны дымок весялее,
Абдымае мяне аж да слёз.
Пасвятлела ў бярэзніку шэрым —
Дзядзька ехаў,
саломы натрос.

Он отражает (если это понятие можно употребить в отношении к поэзии) мир так, как видит и воспринимает его сам. Вместе с тем, поэзия — при всей личностности лирических переживаний и мировосприятия — никогда не являлась для него частным делом, а всегда адресовалась широкому читателю, стихи не противоречили правде жизни, жили общими заботами и непокоем. Свою эпоху он, как и многие его коллеги, поначалу воспринимал как вполне нормальную, но со временем, с конца 80-х, убедился, что это далеко не так. В стихах В. Шнипа все больше характерных примет новой, постсоветской эпохи.

А лес, як ноч глухая, чоран.
Там крылы жудасна шумяць.
Жыве на чорным дубе воран,
Далёка ворана відаць.

На ім карона залатая,
Такой не меў ніводзін цар.
Даўно ўжо воран не лятае,
Гучней за ўсіх гарланіць: «Кар!»

І птушкі ля яго старанна
Пыл адганяюць ад вачэй.
І самі слепнуць вельмі рана,
Ды вераць ворану яшчэ.

Прыйшлі б даўно часы другія,
І лес не жыў бы цемнатой...
Пад дубам птушкі маладыя
З-за крошкі сварацца сухой.

Во многих стихотворениях («*** Почему молчал...», «*** Отрицаю себя...», «*** Когда ангел над нами пролетал...», «Пророк», «*** Серый серого ведет...», «*** В кофейне пахнет кофе...», «Пленники», «Память» и др.) преобладает чувство уныния, даже страха перед грядущим. Кризис духовности видится автору в измельчании человека, в поглощении его толпой, в стирании индивидуальных и национальных граней, в нигилистическом отношении к прошлому и внутреннем разладе. Но прежде всего он хочет понять своеобразие и неповторимость собственной жизни, ее ход. В его мировосприятии проявляются черты барокко — соединяются высокое и низкое, натуральное и гротескное, героическое и карнавально-смеховое.

Адмаўляю сябе былога,
Пасылаю сябе на крыж.
Людзі выгналі з Храма Бога,
Я з душы выганяю мыш.
Зараз тыцкае пальцам кволы,
І паказвае мне язык,
І крычыць: «Паглядзі, ты голы!»
Ды не чутны мышыны крык.
У мышэй залатыя зубы,
Не характар... Характар — смех.
Грэшна быць для сябе загубай,
А не быць — яшчэ большы грэх.
Адмаўляю сябе былога,
Падымае мой вораг глыж...
Людзі выгналі з Храма Бога,
Я з душы выганяю мыш.

Если ты поэт, рассуждает он, ты обязан иметь не только талант, но и быть личностью, утверждать свои принципы и позицию. В лирике В. Шнипа выявляется его душевный лад, совестливость и непокой, способность к душевному единению с окружающим миром, с родиной и ее судьбой. Он противник гладкописи.

От сборника к сборнику перед нами раскрывается путь поэта как становление личности в ее духовном измерении. Это похоже на своеобразный роман воспитания, духовного и нравственного прозрения типичного молодого человека эпохи «перестройки», возрождения Беларуси. Поэт раскован в своем творчестве, он не информирует о случившемся, а очень непосредственно выражает свои чувства, свою экзистенцию, точку зрения. Примечательной особенностью и достоинством его поэзии является наличие в ней лирического героя с его очень симпатичным стремлением видеть мир упорядоченным и понятным и не принимать хаос, которого в перестроечные годы и позже хватало, даже слишком. Душевные смятения и страдания побеждала любовь, тождественная самой жизни. По характеру дарования, по всему мироощущению В. Шнип прежде всего лирик, и варьируемая на многие лады в мировой литературе тема любви занимает немалое место и в его творчестве.

Заслуживает внимания цикл сонетов «История одной любви», а также многие отдельные стихи: «... Этот день пролетел, как стрела...», «... Вот и все... Тебя со мною нет...», «... Годы прошли, как будто прошли дожди...», «...Еще будут высокие мягкие травы...» и др., в которых внутренняя жизнь человека предстает как универсальная и в то же время глубоко индивидуальная, неповторимо личная. Мир, по мысли поэта, находится в извечном состоянии любовного влечения. Поэт дает свободу своим чувствам, но умеет и сдержать их. Любовь и представления о добре и долге, высокая одухотворенность выступают слитно, составляя основу человеческих отношений. В. Шнипу свойственны мягкий лиризм, деликатность чувств, психологизм, серьезность и простительный, в меру, наив.

Яшчэ ўсё можна нам з табой змяніць
І словы несказаныя сказаць,
І можаш ты мяне шчэ палюбіць,
Калі ўжо немагчыма пакахаць...

Строки о любви привлекают непридуманными подробностями, юмором и тонкой иронией. Однако нередко он чувствует себя одиноким, ищущим самого себя, воспринимающим мир в его враждебности, раздвоенности, озлобленности. Его то и дело преследуют разочарования, чувство разлада между романтическими представлениями и реальностью. Впрочем, требовать от поэта исключительно бодрости и оптимизма, исключая все остальное, вряд ли было бы уместным.

Проводник поэзии, заключенного в ней лирического волнения — слово. Язык В. Шнипа — язык поэтических, как говорили древние греки, эйдосов, т. е. образов. Некоторые современные поэты, игнорируя требования формы, предпочитают блуждать в зарослях внешней сложности, отказываясь от эстетически продуманной простоты, упорядоченности. В. Шнип не боится простоты — той, скажем, которая была свойственна его любимому Максиму Богдановичу.

Максім Багдановіч... Максім,
Мы разам з табою ляцім
Да зорак, што светла гарацьь
У небе, куды не глядзяць
Самотныя людзі з акон,
Счарнелых, як лікі ікон...

Поэт ищет, работает со словом, стремится к слову, наиболее емкому, образосозидающему. Поэтический образ у В. Шнипа конкретен, он возникает из явлений живого и реального окружающего мира, ему не чужды поливалентность, богатство ассоциаций, навыки условно-ассоциативного образного мышления. Кто-то из философов сказал, что человек — это существо, умеющее творить символы. Поэтам особенно свойственна способность символотворения — образный мир В. Шнипа насквозь символичен. Для духовного и эстетического упорядочения жизни он часто использует собирательные универсально-метафорические образы — образы храма, неба, кургана, креста, ворона, цветка, моря, рябины, которые означают для него духовную реальность бытия.

«Поэтический словарь» А. Квятковского дает следующее определение термина «символ»: «Многозначный предметный образ, объединяющий (связующий) собой разные планы воспроизводимой художником действительности на основе существенной общности, родственности». Символ выражает реальность предельно сжато. Один из постоянных образов-символов у В. Шнипа — образ Храма, содержащий глубокий ассоциативный подтекст. Храм — это и та церковь, в какую мать когда-то водила к исповеди, и Родина, название которой — Бела-

русь, и весь мир, живущий по своим непреклонным природным законам, и само понятие цельности гармоничного бытия, возможного, видимо, только в идеале, в теории, в поэтическом воображении. Одна из книг, увидевшая свет в 1994-м, называлась «На руинах Храма». В ней много минора и рефлексии, даже трагизма в восприятии тех бед и напастей, что выпали на долю белорусского народа. Поэт с горечью отмечает, что Беларусь находится в оппозиции к самой себе, что прервалась связь времен и потеряна дорога к Храму, это значит, к познанию гармоничности бытия, обретению гуманистических идеалов и ценностей.

І сцежкі ля Храма травой зарастаюць,
Маўчыць без’языкі патрэсканы звон.
Над Храмам забытым анёлы лятаюць,
З абпаленых скрыдлаў страсаючы сон...

По страницам книг поэта рассыпано немало подобных образов-символов, своеобразных концептов, поднимающихся до широких обобщений, концентрирующих в себе опыт истории, черты прошлого и настоящего, ход нашей жизни. «Беларусь стаіць на курганах» — так называется его стихотворение 80-х годов. Постепенно чувство истории укрепляется. Выразительно звучит у В. Шнипа богдановичевский родоводный мотив национальной памяти. Герои его элегических стихов и баллад — белорусские исторические личности, поэты, писатели, художники, являющиеся властителями дум многих поколений. Патриотическая тема занимает важнейшее место в идейном содержании поэзии В. Шнипа, утверждающего уникальность национального, необходимость спасти его и сохранить перед глобальными вызовами современности. Он хочет верить вслед за М. Богдановичем в будущее Беларуси, в то, что «еще один народ не исчезнет с лица земли, не пропадет даром огромная психическая работа многих поколений и белорусская культура — создание этого труда — устоит против напора иных сил и течений». Как и М. Богданович, он последовательно и настойчиво борется с комплексом национальной неполноценности, которая мешает некоторым белорусам.

Один из самых развитых, полнозвучных жанров белорусской позии — баллада. К этому жанру В. Шнип обратился еще в 80-е годы, написав «Балладу Павлюка Багрима (2.11.1812—1891)». В основе сюжетов его баллад лежат человеческие судьбы в их связи с судьбами родного края, намерения, поступки и свершения государственных мужей и политических деятелей, деятелей культуры и искусства. Эти произведения несут значительный объем информации, информации поэтической. Четких поэтических канонов баллады нет, у каждого автора свое понимание этого жанра, но общее требование выдерживается: баллада — диалог человека с историей, личности с обществом, поэта с современниками. В балладах В. Шнипа неизменно присутствует особое настроение, эмоциональная приподнятость. Баллада — поэтическая драма, происходящая на авансцене народной истории и продолжающаяся в сердце каждого как коллективное, так и глубоко личное переживание. В «Избранном» представлены лучшие образцы этого жанра.

Один из наиболее удачных, на наш взгляд, — «Балада Вітаўта Вялікага (1350 — 27.10.1430)». Ее герой — знаменитый государственный деятель Великого Княжества Литовского, правивший этим средневековым белорусским государством при сложных внешних и внутренних обстоятельствах. Выдающийся талант политика и опыт государственного деятеля помогали Витовту отстаивать геополитические интересы ВКЛ и удовлетворять личные амбиции.

...Вязуць карону, як ваду жывую,
Старому князю, у якога ёсць
Усё і ўсё ў часіну залатую
Было, і быў ён сам бы ў горле косць
Для крыжакоў, для Залатой Арды,

Якіх ён біў, з якімі разам піў.
І падрасталі замкі, гарады,
І люд па-беларуску гаварыў,
Бо ён быў іхні князь, ён князь — вялікі.
Цяпер стары, нямоглы, і яму
З каронай хочацца сустрэць зіму.
Але не чутны радасныя крыкі,
Што ўжо карону, як ваду жывую,
Паслы прывезлі... Не сустрэць паслоў —
Іх польскія паны ў лясах пільнуюць,
Карону адбяруць, каб князь сышоў
У вечнасць, як вада ў пясок знікае...

Баллады В. Шнипа наполнены реалиями белорусского исторического пространства, его тревожат, не дают покоя «проклятые вопросы», связанные с борьбой за национальное существование. Он хочет сохранить и спасти от забвения национальное прошлое, наводит мосты, наново устанавливает распавшуюся связь времен. Поэт выступает как поверенный Беларуси, ее истории, исторических деятелей, оставивших след в памяти потомков. Тема Витовта Великого блестяще продолжена в «Балладе Грюнвальдской битвы (15.07.1410)»:

Пад латамі стальнымі крыжакоў
Жывыя душы і жывая кроў,
І ім, як нам, жыццё таксама міла,
Але палюбіць сёння іх магіла.

Бо з намі Вітаўт наш, над намі Бог,
І коп'яў лес, і нашых стрэлаў хмары,
Што ў небе над самотаю дарог
Лятуць і летам абуджаюць мары

Аб перамозе, да якой ідзём
За Вітаўтам, нібыта за агнём,
Праз ноч у дзень, дзе нашыя магілы,
Нібы прыступкі з лесвіцы, з якой
Нам воляй дыхаць, бачыць край наш мілы,
Нібыта Храм бялюткі, прад сабой...

Звіняць мячы, крывавяцца шаломы,
І коп'яў лес трашчыць, нібы трыснёг.
І ўжо адказ ёсць на пытанне: «Хто мы?»,
Але яго яшчэ не чуе Бог...

Баллады Шнипа отмечены связью с традициями эпохи европейского Возрождения, в них утверждается человек с выразительной индивидуальностью, ярким характером, как сильная и свободная личность, способная на героические свершения. (Рогнеда, Миндовг, Гедимин, Альгерд, уже упомянутый Витовт Великий, Ягайло, Бона Сфорца, Лев Сапега, Сымон Будный, Василь Тяпинский, Янка Купала — только начало длинного списка имен, среди которых, однако, почему-то отсутствует Францишек Скорина. Уж он-то должен быть воспет в первую очередь!)

Патриотизм, идеология в сознании поэта перемещаются в сферу духовную. Он ищет творческий синтез конкретного факта, наблюдения с тайноведением, что должно помочь глубже проникнуться делами и судьбами этих замечательных людей, составляющих иконостас белорусской духовности. В балладах

закодирован художественный мир поэта — персонажи и события в их духовно-ментальном и эмоциональном выражении. В этих балладах много различного рода аллюзий — намеков, иносказаний. Конечно, если бы эти произведения проанализировали историки, они, вполне возможно, нашли бы и неточности, и неправильности, но ведь требовать от поэзии «точности» неправомерно и некорректно: у поэта свой подход, свое видение. По крайней мере, во взгляде на исторические события он исходит из собственных, может быть, несколько идеализированных мировоззренческизх взглядов и представлений. Это относится и к балладам, созданным на современном материале, — таких у В. Шнипа тоже немало. Их герои — Владимир Дубовка, Павлюк Трус, Владимир Короткевич, Максим Танк, Максим Лужанин, Василь Быков, Иван Шамякин, Алесь Адамович, Янка Брыль, Михась Стрельцов, Василь Годулько, Владимир Мулявин, Микола Селещук и мн. др. Сюжет в балладе всегда урок мужества, нравственной стойкости, патриотизма. Балладный сюжет у В. Шнипа предельно обобщен, хотя и включает конкретные ситуации из жизни персонажей, которым посвящено произведение. Одна из самых лаконичных, но очень емких — «Баллада Максима Танка (17.09.1912—7.08.1995)».

У Максіма была, як няволя, Радзіма,
Але тая няволя любіла Максіма.
А Максім нарачанскія сосны любіў,
Быццам гліну, з якой гэты свет сатварыў
Наш Пан Бог, для якога сягоння ўсе мы,
Як праталіны ў снезе сусветнай зімы...

Ад Максіма для нас засталася Радзіма,
Без якой аніхто тут не ўспомніць Максіма...

В этой балладе, как и во многих других, поэт снова и снова возвращается к главной своей теме — теме Беларуси и ее судьбы. Все, что вобрала в себя муза поэта — образы родной природы, чувства, думы, настроения человека, боль за судьбу и невзгоды родной страны, мотивы любви, — все переплавлялось в гроздья стихов, и стихи эти, неся неизгладимый отпечаток национального, белорусского, одновременно не чужды общечеловеческому звучанию.

У В. Шнипа свой стиль, передающий «речевое лицо» автора, его мировосприятие. Поэт творит свою «мифологию», сообщающую новое, более глубокое измерение нашему восприятию, ищет крупное, емкое слово, осваивает сложное мастерство современного письма. Он многогранен с тематической стороны: общественно-публицистические мотивы соседствуют с интимными, пейзажная лирика перерастает в философскую. Отличительной чертой его поэзии было и остается то, что он умеет тонко и органично соединить описательные моменты (пейзажи, наблюдения, воспоминания о разных событиях и т. д.) и философско-публицистические сентенции с раскрытием внутреннего мира человека, его чувствами и переживаниями, горестями и радостями.

«Избранное» поэта — это его путь. За стихотворной и прозаической строкой стоит создавший их автор во всей своей сложности. Недавно, кажется, начинал. А вот уже сколько лет прошло! Увидели свет ровным счетом двадцать книг поэта, по которым можно проследить становление, рост мастерства, чувства ответственности перед временем. Но не только это! Углубилась философия жизни. Как настоящий поэт В. Шнип чувствует, даже на интуитивном уровне, то, что называют непреложной трагической сущностью земного бытия, но это не умаляет его любви к жизни, земному существованию. Многое он оставляет в подтексте, насыщая строку стихийной силой жизни, тем, что диктует и требует сама природа вещей. Сознательно или несознательно, он ставит перед собой сложные задачи мировоззренческого, бытийного характера и не

может примириться с тем, говоря словами У. Б. Йетса, «что не несет в себе радости». Как бы то ни было, белорусский поэт, как и ирландец У. Б. Йетс, верит в жизнь, в будущее, в человеческий разум, борющийся с процессами энтропии, с беспамятством.

Не сумуй, што ўжо вясна мінула.
Не сумуй, што ўсё ўжо адцвіло.
Зорка ў чорным небе мільганула,
І душу напоўніла святло.
Не хавайся ад сяброў за плотам,
І сцяжына ў сад не зарасце,
Будзе ўсё — і радасць, і самота,
І ў кватэры кактус зацвіце.

Неожиданная, но точная деталь: кактус цветет не часто.

XXI столетие поэт встретил чудесным стихотворением «Белорусское море»:

Залатымі манетамі зорак
Зноўку свеціцца мора над намі,
Неба ў нас — беларускае мора
З белакрылымі ў ім караблямі.

Адабраць у нас мора хацелі,
Наша мора адзінае ў свеце,
Каб на мора мы больш не глядзелі
І жылі па лясах, як мядзведзі.

Мы ў вяках зберaглі сваё мора,
І нас мора ад бед зберагае,
Залатымі манетамі зорак
Уначы яно нас абсыпае.

З мора нашага нехта смяецца,
Але мора ў нас ёсць, як і ўчора.
Маё цела зямлі застанецца,
А душа — пераселіцца ў мора.

В этом стихотворении, давшем название очередному поэтическому сборнику (2004), весь В. Шнип с его идеализмом, мечтательностью, романтической символикой, тоской по гармонической устроенности мира. Иногда, и нередко, его одолевают разачарование, меланхолия, отчасти ставшая, как видно, потребностью души, которую питают вера, любовь и надежда.

Пушкин утверждал, что «слова поэта суть уже его дела». Следовательно, важны сила слова, его энергетика, влияние на современника. Лирику В. Шнипа отличает духовная неуспокоенность, неудовлетворенность, настойчивые поиски истины. В его творчестве переплелись пессимизм и жизнелюбие, неудовлетворенность окружающим и преданность интересам родины, родной страны.

Поэт постоянно работает над обновлением мировосприятия, над образностью и формой стихотворной материи, языком, стремясь освободить его от привычного и банального, от так называемого обыденного сознания. Все слагаемые стиха — необычные словосочетания, контрасты, фоносемантика, колебания между прямым и переносным значениями слова, ритмический рисунок — подчинены главному: передать переживание в полном его объеме и граничной интенсивности. Он одинаково мастерски владеет как свободным, без запятых и точек, стихом, так и традиционным...

С младых ногтей, еще до Высших литературных курсов, он знал, что поэзия, как иносказательно выразился Б. Пастернак, «в траве», это значит в прозе жизни. Этому завету великого мастера он остается верен. Нередко непосредственно обращается к прозе. Она автобиографична, отчасти ее можно воспринимать как комментарий к стихам. В прозе, как и в поэзии, проявляется личность самого В. Шнипа, умеющего подметить в каждом эпизоде, пусть мимолетном, иногда рассказанном с юмором, определенную черту характера человека, о котором он пишет. Особенно удачной в свое время (2006) оказалась его книга «Баллада камней», очень неординарно сложенная и скомпонованная. В нее вошла повесть в прозаичных миниатюрах и стихах под названием «Дорога к Храму», в которой стихи чередуются с прозаическими этюдами, одно подсвечивает другое и наоборот. Поэтическая высота строки уравновешивается земным притяжением, правдой непридуманной, часто даже натуралистической. Шнип-прозаик описывает, воссоздает и светлые, жизнерадостные стороны нашего существования, и не закрывает глаза на теневое, неприглядное. В прозаических зарисовках все весьма конкретное, без каких-либо умозрительных сентенций.

Прозаик В. Шнип, как и поэт, нуждается в душевной близости с миром, его интересуют так называемые малые нарративы — мозаика случайностей в повседневной жизни. Свои прозаические опыты он проверяет опытом своего сердца и неподкупностью мысли. Вот примечательный эпизод:

«Раніцай 26 ліпеня 2005 года ў Вільні ў Свята-Духавым манастыры, дзякуючы Людміле [жене. — **В. Г.**], упершыню ў жыцці спавядаўся. Потым прыняў прычасце. Перад споведдзю і прычасцем пасля амаль бяссоннай ночы адчуваў сябе не вельмі добра. Да ўсяго, на вуліцы ішоў дробны дождж і было змрочна, як навокал, так і ў душы. Спавядаўся айцу Алегу. Адразу ж пасля споведзі і прычасця адчуў лёгкасць ва ўсім целе, нібыта з мяне нешта цяжкое дасталі, з чым я хадзіў столькі гадоў, і выкінулі. І светла было ў Храме, і светла было на вуліцы і ў маёй душы».

Во многих фрагментах оставила след печать пережитого и выстраданного, то, что в свое время удивило, осело в памяти. Есть страницы, отражающие душевное смятение, меланхолию, но всему противостоит светлое начало, лежащее в основе характера автора.

Сегодня В. Шнип в хорошей творческой форме. Признанный поэт, любимый друзьями и публикой. Я не раз был на его выступлениях, встречах с читателями и радовался тому теплу, с каким встречают его любители поэзии. Его стихи ангажированы своим временем, черты которого можно найти едва ли не в каждом произведении. Он уверен, что призвание поэзии — защищать жизнь, утверждать в человеке желание жить. В последнее время в его поэзии, я сказал бы, все глубже проявляет себя универсальный гуманизм, озабоченный сохранением всего живого на земле, защитой духовности. Поэт ощущает себя человеком, стоящим на толще всех времен, исторических веков. Универсальный гуманизм находит отзвук в новых стихах:

У высокіх бяздонных нябёсах,
Дзе святло, як у маміных слёзах,
Наша вечнасць і наша імгненне,
Нашы зоры і нашыя цені.
І глядзім мы ў нябёсы і знаем,
Што ў нябёсы, як сон, адлятаем,
Але й тут застаёмся, як слёзы,
Як лісцё беларускай бярозы
Ля дарогі з Масквы да Варшавы,
Дзе шумяць пажаўцелыя травы
І губляюцца ў пыле і дыме,

І ты думаеш не аб Радзіме
Ды і не аб бяздонных нябёсах,
Дзе святло, як у маміных слёзах...
Ты ідзеш да царквы, каб маліцца...

Лично себя я отношу к тем, кто высшим воплощением художественности, высшим искусством считает поэзию. Не в смысле известного и определенного литературного жанра (стихи, поэмы и пр.), а в смысле феноменальной сущности искусства как творчества, как акта таинственного соприкосновения человека с окружающим миром, с непознанными глубинами бытия и сознания. Это соприкосновение находим и в творчестве В. Шнипа, чью поэзию можно рассматривать как своеобразный ответ на духовные вызовы времени, а также доказательством того, что поэзия — вечная, что она связана с фундаментальными, родовыми свойствами человека, его характером и личностью, его присутствием на земле. Осмысление своего призвания у него началось рано и продолжается на всем пути. О поэзии он говорит:

Яна з’явілася, як прывід, з ночы.
Сказала позіркам: «Ідзі за мной...»
Услед, нібыта раб яе, пакрочыў
Па горадзе, залітым цішынёй.

Не секрет, что за последние десятилетия статус поэта в обществе снизился, чувствуется инфляция поэтического слова, но потребность в поэзии не исчезла, и В. Шнип в этом уверен. Не снижая этической активности, он все больше проникается мыслью, что ценность поэзии не только в том, что она отражает противоречия действительности и углубляет у человека неудовлетворенность жизнью, но и в том, что она, так сказать, преодолевает эти противоречия и помогает духовному постижению экзистенциальных проблем, укрепляет надежду и оптимизм. С этим, думается, можно согласиться.



С точки зрения рецензента

Суровая правда войны...

«Вайна — самы страшны грэх»...

Так называется новая книга Татьяны Подоляк, кандидата филологических наук, преподавателя Института журналистики БГУ.

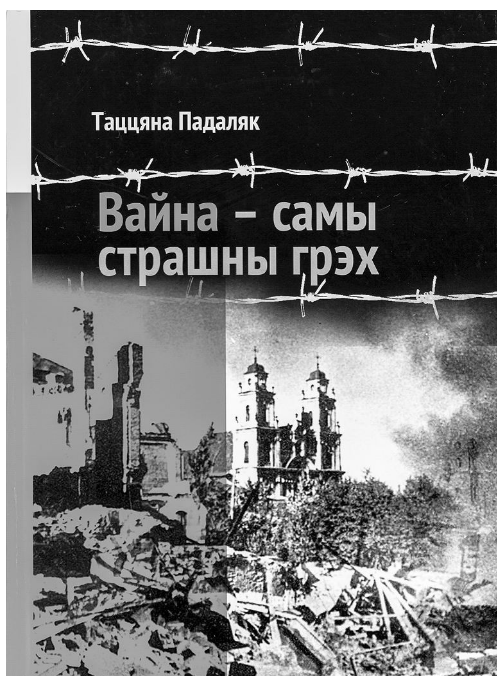
А еще Татьяна Владимировна — известная белорусская писательница, автор многих книг, среди которых «Маральна-этычныя прыярытэты беларускага друку», «Прафесійная этыка журналіста», «Нашчадкі вогненных вёсак», «Дыялогі на мяжы стагоддзяў: Класікі і сучаснікі ў інтэр’еры часу».

И вот новая книга автора, изданная в 2014 году в «Издательском доме «Звязда» — «Вайна — самы страшны грэх»...

О чем же она, эта книга? Конечно, о той самой страшной и самой кровавой войне, одно напоминание о которой даже сейчас, спустя семьдесят лет, заставляет болезненно сжиматься сердце каждого белоруса, хоть родились и выросли почти все мы значительно позже, уже в послевоенный период.

И как же мало осталось среди нас непосредственных свидетелей событий тех страшных лет! И ветеранов, во фронтовых или партизанских сражениях отстоявших для нас право на мирную жизнь. И тружеников тыла, также всячески приближавших победу, стоя у кузнечных горнов, проводя бессонные ночи у сборочных конвейеров, трудясь в железнодорожных депо или на колхозных полях и фермах.

И так называемых «детей войны», тех, чье детство пришлось именно на военное лихолетие и потому так жестоко и необратимо было изломано и исковеркано.



Тем более ценны для нас, потомков, живые воспоминания этих немногочисленных уже свидетелей.

В книге «Вайна — самы страшны грэх» — три раздела, но большее впечатление произвел на меня первый, под названием «Радавыя Перамогі». В основном это интервью автора с людьми известными и не очень. К примеру, о Марии Осиповой и Елене Мазаник, участницах успешного покушения белорусских партизан и подпольщиков на гауляйтера Кубе, я знал, еще учась в школе (Елена Мазаник как-то даже приезжала из Витебска к нам, в Ушачскую СШ, и выступала там перед учителями и учащимися в нашем актовом зале).

Я уже не говорю о таких известных у нас в стране людях, как Петр Миронович Машеров, Кирилл Трофимович Мазуров, Александр Трифонович Кузьмин. Биографии их известны, и казалось бы, трудно найти что-то новое, какие-то не известные ранее факты из их биографий.

Но Татьяна Владимировна все же сумела отыскать это новое и рассказать об этом так, что при чтении трудно отвлечься от книги. Даже забываешь, что перед тобой документальные факты из биографий, — читается все это, словно художественно-приключенческий роман...

Но в книге «Вайна — самы страшны грэх» кроме повествования о людях хорошо известных, кроме интервью с ними или их родными и близкими во многих главах рассказывается также о людях, в общем-то, известных мало или даже совершенно неизвестных широкому кругу читателей.

И тем не менее, по-своему примечательных, с богатой событиями, а часто и трагической судьбой.

Вот, к примеру, о летчике-испытателе Михаиле Константиновиче Каснерике мне ранее слышать как-то не довелось. А какой это интересный человек! И какую непростую жизнь он прожил!

И как увлекательно об этом изложено в книге «Вайна — самы страшны грэх»!

Михаил Константинович, несмотря на молодость, успел и повоевать, освобождая Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, и побывать инструктором у знаменитого Алексея Маресьева... и даже (в послевоенный уже период)... побеседовать с самим Сталиным. Глава в книге о летчике-испытателе Михаиле Каснерике так и называется: «Пра авіяцыю размаўляў... з самім Сталіным».

Или взять, к примеру, главу «Кодэкс гонару прафесара Галаўко». В ней Татьяна Подоляк рассказывает (в виде интервью с героем своего повествования) о судьбе заслуженного юриста Республики Беларусь, доктора юридических наук, профессора Анатолия Александровича Головко. В двадцать лет казалось, что жизнь его уже кончена и все, что осталось, — безрадостное существование прикованного к больничной койке инвалида. И что самое обидное, случилось это уже после войны, после великой нашей Победы, в параде которой на Красной площади Анатолий Александрович, кстати, тоже принял участие.

Но Анатолий Александрович смог не только выжить, но и победить непобедимую, казалось, болезнь. И это тоже был с его стороны самый настоящий подвиг! Подвиг во имя жизни!

А сколько трагизма в судьбе Софьи Павловны Хоружевой, бесстрашной подпольщицы, так несправедливо проклинаемой во время войны всеми знакомыми. И еще более несправедливо обвиненной после войны соответствующими органами в... измене Родине! (Глава «Свая сярод чужых».) Но не озлобилась, не пала духом. Осталась человеком. Человеком с большой буквы. И почти 50 лет сеяла «разумное, доброе, вечное» в детских душах. И огромное ей за это спасибо!

«Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой...» — поется в песне из известного фильма «Аты-баты, шли солдаты» режиссера Быкова. И это действительно так. И лучше уже не скажешь.

Не зря же первый раздел книги Татьяны Подоляк так и называется: «Радавыя Перамогі». Ибо это самое почетное звание всех воевавших за правое дело, несмотря на их звания, военные и послевоенные.

Книга «Вайна — самы страшны грэх» настолько объемна и богата информацией, что даже трудно выделить в ней что-то самое главное. И это касается не только первого раздела книги, но и второго, название которого тоже достаточно красноречиво: «Жыві і помні». Хочется выделить все, настолько интересно и захватывающе содержание этого, довольно небольшого по объему раздела. Но, к сожалению, для еще более краткой журнальной статьи все же приходится выбирать.

Выбирать из хорошего лучшее. Нет, даже из лучшего лучшее. Что, как

говорится, наиболее запало в душу, оставило свой след.

Как, к примеру, история любви (глава «Гісторыя кахання ў пісьмах з-за кратаў»).

Казалось бы, в огромном море крови, в сплошном огненном смерче, обрушившихся на белорусские земли в те страшные годы, что значит несостоявшаяся встреча двух людей, пусть даже и очень друг друга любящих. Ведь оба они выжили там, где выжить, казалось, было невозможно. А сколько их сверстников так и не дождались светлого дня Победы!

Хотя и очень этого желали...

Им же обоим посчастливилось выжить, и это уже немало.

Но, как сказал поэт Твардовский в одном из своих стихотворений, ...и все же, все же, все же...

И все же так жаль их той несостоявшейся встречи. Жаль еще одной большой любви, так и не ставшей счастливой.

Или взять главу «Француженка», где рассказывается о судьбе простой белорусской женщины Александры Александровны Каленик. Непростой судьбе...

Белоруска и одновременно... француженка! Могла б остаться во Франции, но вернулась в разоренную Беларусь.

Наверное, это судьба...

Судьбе было угодно, чтобы родители Александры в поисках работы оказались в далекой Франции еще до ее рождения.

И ей же, судьбе, угодно было, чтобы маленькую Сашеньку вырастила и воспитала французская семья. Мать после отыскала и, отыскав, не осталась с дочерью во Франции, хоть такая возможность у нее была.

А иногда все решает одно-единственное мгновение. То самое, которое раздает «кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие»...

Одному из «рядовых Победы», белорусу Трифону Лукьяновичу, последние мгновения жизни принесли именно бессмертие (глава «Балада пра салдата: вуліца Трыфана Лук'яновіча»).

Бессмертие, запечатленное в монументальной скульптуре солдату-освободителю в берлинском Трептов-парке. И в названии одной из минских улиц, в чем большую роль сыграл другой «рядовой Победы», Георгий Лукич Сосновский, о котором Татьяна Подоляк рассказывает в главе «Уваскрэсенне з мёртвых» с большим уважением.

И это характерно повествованиям о буквально всех героях книги «Вайна — самы страшны грэх». Кроме тех, разумеется, кого и людьми назвать трудно.

Об этих убийцах и палачах белорусского народа рассказывается в главах «Галгофа палону: людзі і звяры», «Трасцянец: тэрыторыя смерці», а также в самой последней главе книги под названием «Падсудныя: злачынства супраць чалавецтва не мае тэрміну даўнасці», в которой повествуется о судебных процессах над кровавыми нацистскими палачами и их местными прислужниками-предателями.

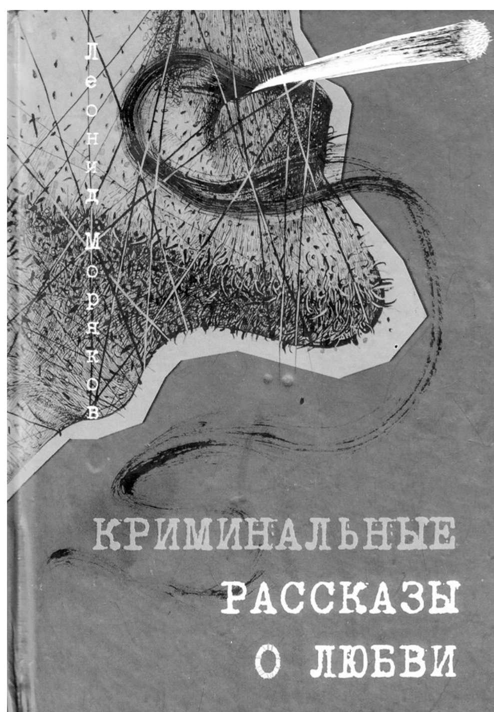
Это тоже нельзя забывать. И именно об этом даже не говорит, буквально взывает к сердцам и душам нашим каждая строчка книги Татьяны Подоляк «Вайна — самы страшны грэх».

Геннадий АВЛАСЕНКО



С точки зрения рецензента

Криминал и любовь



Леонид Моряков, белорусский писатель, журналист, историк и энциклопедист, известен тем, что променял захватывающую жизнь бизнесмена на литературный труд. А началось все тогда, когда он заинтересовался тайной смерти своего дяди Валерия Морякова, известного белорусского поэта. Увлеченность историей и тайнами прошлого позволили ему открыть в себе талант прозаика, чему доказательством является обширная библиография.

Сборник рассказов, о котором пойдет речь, увидел свет в издательстве «Мастацкая літаратура» (Минск: Мастацкая літаратура, 2014). В первую очередь привлекает внимание название книги «Криминальные рассказы о любви» — сразу представляются романтические картины встреч двух влюбленных, чувству которых препятствует нечто криминальное, незаконное, захватывающее. На самом деле истории, рассказанные автором, оказались менее романтичными, более мрачными, но демонстрирующими глубинные чувства и переживания героев. Каждая история заставляет задуматься над тем, что именно составляет жизнь человека, почему он становится таким или другим. Герои рассказов — это люди, по-разному переживающие сложные моменты своей жизни. Одни борются с жестокой реальностью, прилагая максимум усилий, другие сдаются, третьи отказываются принимать действительность. Чувства, внутренний мир героев и составляют основное содержание рассказов Морякова.

Возвращаясь к названию сборника, стоит также отметить, что под любовью автор подразумевает не только романтические отношения между мужчиной и женщиной, но и любовь к человеку как личности. То, что стороннему наблюдателю может показаться незначительным или заурядным, может являться важной частью чьей-то жизни. И именно ответная реакция человека на эти незначительные и заурядные события нередко становится основополагающей в формировании личности, чему автор уделяет наибольшее внимание. Так, например, в рассказе «Мальчики» главный герой, заметив в очереди вульгарную мамашу, которая совершенно неподобающе обращалась со

своим маленьким сыном, совершил поступок, который определил дальнейшую его судьбу. Значимым является, каким образом автор на примере одного поступка героя продемонстрировал силу его личности. Именно в этой способности в лаконичной форме показать всю суть не только рассказываемой истории, но и собственного мироощущения и состоит писательское мастерство Морякова. Автор ценит своих персонажей, сопереживает им, и это очень отчетливо ощущается в процессе чтения. Иногда даже создается впечатление, что автор пишет о себе самом.

Сюжет рассказов чаще всего линейный, события развиваются в логической последовательности. Стоит также отметить и мистические рассказы автора, где поначалу развитие событий может показаться нелогичным, но стоит дочитать произведение до конца — и все становится на свои места. Так, например, рассказ «Беверли-Хиллз» в самом начале кажется бессмысленным диалогом двух людей, но чем ближе к развязке, тем отчетливее вырисовывается идея всего рассказа — писатель продает душу дьяволу для того, чтобы обрести все блага мира в неограниченном количестве, но, к сожалению, попадает в западню. Вообще, наличие мистических произведений делает сборник еще более увлекательным. Рассказы, герои которых видят альтернативную действительность, заставляют читателя на несколько минут погрузиться в атмосферу ирреальности, за чем часто следует разочарование, но именно это дает возможность в полной мере осмыслить происходящее.

Язык произведений — выразительный и яркий, автор нередко использует жаргонные слова, которые не только не портят текст, но и делают его более колоритным.

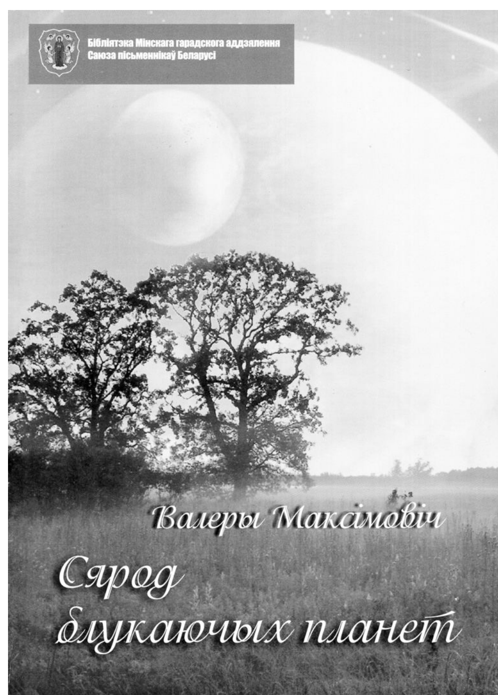
Сборник предназначен не для любителей развлекательного чтения на досуге, скорее — для тех, у кого есть желание обдумать и переосмыслить природу человеческих взаимоотношений.

Вилия ВАЛКАУСКАЙТЕ



С точки зрения рецензента

С верой в человечность



Валерий Максимович принадлежит к плеяде тех поэтов, для творчества которых характерны синтетизм и универсальность, ярким свидетельством чему стал вышедший в издательстве «Ковчег» второй поэтический сборник автора «Сярод блукаючых планет». Интеллектуальный и духовно-эстетический потенциал, накопленный поэтом за годы жизни и профессиональной деятельности (доктор филологических наук, известный специалист в области отечественной поэзии, автор ряда концептуальных литературоведческих работ), естественным образом трансформирован в поэтический мир — мир, в котором главный акцент сфокусирован на общечеловеческих ценностях, высокой духовности и гуманизме.

Его поэзия, в первую очередь, носит автобиографический характер, в ней много исповедального, выстраданного, остро прочувствованного. И при первом восприятии читателю может показаться, что эта поэзия сугубо я-центрична (но не эгоистична): пристальная сосредоточенность на собственном внутреннем мире, высокая нота личной боли и отчаяния, терзания и тревоги израненной, изболевшейся души, обращенность к прошлому своего рода, своей семьи. Но эта я-центричность плавно и закономерно перерастает в антропоцентричность, через личное, частное к общезначимому. Стремление субъективного поэтического «я» к общечеловеческому эстетически выражается в открытости миру, лирический субъект/поэт не замыкается только на своих личных невзгодах и бедах, лирическому «я» важно не только бытие-в-себе, но и бытие-в-нас, оно экзистенциально связано с другими, с «не-я», с драмой человеческих судеб в целом.

Показательна в этом плане «Паэма мужнасці і ганьбы», посвященная памяти деда поэта, в которой частный случай трагической гибели родного человека в годы тоталитаризма обретает иной статус, принимая черты глобального обобщения, эстетически фиксируя щемящее чувство духовной памяти о невинных жертвах репрессий:

Адкуль такая прага да крыві?
Адкуль той сверб ахвярапрынашэння
Ад пакалення і да пакалення?
Хто той забойчы ген у нас прывіў? ...

Мне лёс вядомы тысячаў такіх,
Як ён, сыноў, нявінна скатаваных...
Шчымяць яшчэ дасюль на сэрцы раны
За ўсіх, за ўсіх пакутнікаў святых...

Подобная же ситуация художественно реализуется в стихотворении «Матчына малітва», с посвящением родной бабушке, не дождавшейся своего сына в Великую Отечественную:

А маці сыночка з вайны ўсё чакала,
Глядзела нязводна туды,
на ўсход...

Умольна, слязліва прасіла ў Бога
Каб толькі жывым
сын вярнуўся з вайны.
Ды вымаліць ёй
не ўдалося нічога
Сярод анямелай начной цішыні.
Ах, клятая,
тройчы праклятая куля
Прабіла гарачае сэрца яму...
Нястомна шаптала начамі матуля
Малітву
забітаму
сыну
свайму.

И совсем в ужасающе-парадоксальном осмыслении реалий современной ситуации в соседней, духовно близкой нам стране преломляется в сознании читателя не только вечная боль матери о погибшем сыне, но и поэтическая картина, экзистенциально-символически отраженная в стихотворении «Рэквіем па няспраўджаным дзяцінстве». Вряд ли автор предполагал, что поэтические строки, созданные в 2008 году, обретут свое актуальное и несколько иное звучание в 2014-м:

Стрэл! І другі! Яшчэ раз! —
Куля прайшла навылёт...
Ціша... Крывавае сонца...
Чорнага неба лёд...

І ў момант асірацелі
Поле, дарога, рака
Без роднага, без малога
Забітага хлапчука...

Даруй мне, мая зямелька,
За тое, што не жыву.
Каб жа хоць ведаць, за што я
Склаў сваю галаву?..

Поэт создает такую эстетически значимую модель эмоционального состояния, которое осознается читателем как собственное, вызывая глубокое чувство сопереживания. Экспрессивно-эмоциональный поток вторгается в душевную жизнь воспринимающего, способствуя трансформации его сознания, расширению границ мироощущения, приводя к состоянию высшей духовности и нравственному очищению. Такая модель эмоционального состояния приобретает суггестивно-катарсические функции, способствующие, как известно, возвышению человека над собственной обыденностью, не говоря уже о моральном воздействии.

Эмоциональная доминанта поэтической реальности автора имеет двухуровневую структуру, в которой, с одной стороны, проявлен пессимизм (но он не носит деструктивного характера), а с другой стороны, эстетически включены компенсаторные мотивы жизнеутверждающего пафоса, декларирующие оптимистическую веру в лучшее, жажду дерзновений и принятия жизни во всей ее полноте, созерцание красоты и жажду любви в многообразии ее проявлений:

І нескаронаю душой
Прыспешыць немачы адхланне,
І славіць птушак шчабятанне,
І неба сінь над галавой.

Таму я пэўны: будуць жыць
І мой вячыста-белы будзень,
І вы, спагадлівыя людзі,
Якіх мне Бог паслаў любіць.

Поэт не стремится быть модным, не подстраивается под стремительно меняющийся мир, не заигрывает с читателем, пытаясь расположить к себе, он остается верен своему эстетическому и этическому идеалу. Поэтическое сознание автора не претерпевает существенных трансформаций. Отражая современные реалии, эстетически переосмысливая их, поэт актуализирует установку на вечные ценности бытия, минуя все суетное и преходящее, его жизненное кредо ясно и понятно всем:

Не схлусіць сабе, не падмануцца,
І сумлення пядзі не ўступіць, —
Да сапраўднай існасці імкнуцца
І заўжды самім сабою быць.

Вось чаму пад небам векавечным,
Ў чарадзе бясконцай тлумных дзей,
Галасую я за чалавечнасць,
Што за ўсё на свеце даражэй.

Позиция автора — это эстетический и поэтический мятеж против духовной и душевной девальвации, против моральной и физической агрессии, бунт против бесчеловечности и всеобщей боли мира, против онтологической дисгармонии в целом. В. Максимович — поэт чувства, экспрессии. Он остро ощущает и переживает не только личную и чужую боль, но и разбалансированность окружающего мира. И именно магия слова, магнетизм поэтических строк, особая энергетика стиха, своеобразный энергетический посыл во Вселенную корректирует эту разбалансированность мира, выравнивает внутреннюю и внешнюю дисгармонию.

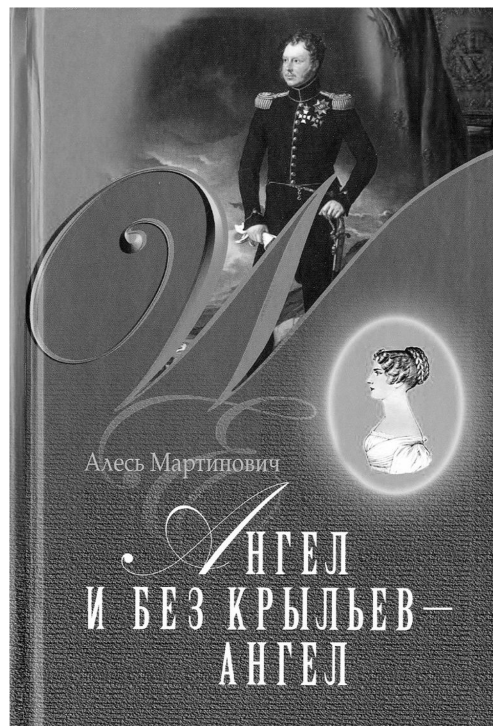
Поэзия В. Максимовича лишена абстракций, она наполнена содержательной конкретикой, ориентированной на эстетические традиции ясности, точности и простоты. Психологизм и экспрессивность, являющиеся основными характеристиками стилевой доминанты поэтической реальности автора, не являются чрезмерными и не перегружают ее. Тематический и жанровый диапазон поэтического сборника достаточно разнообразен, главными этико-эстетическими ориентирами для автора являются вечные ценности: родная земля и малая родина, свет материнской любви, родные и близкие люди, любовь во всей полноте проявлений, красота природы и красота в своей метафизической данности, поэт и его миссия на земле. Поднимаясь до философского осмысления бытия и утверждая идеи социального гуманизма, автор эстетически ориентирован на традиции отечественной классики и по общности тем, мотивов и форм включен в контекст мировой поэтической системы в целом.

Инесса МОРОЗОВА



С точки зрения рецензента

Прикосновение



Интерес к временам далеким, прошлым у Алеся Мартиновича бесспорен. Очередная его повесть «Ангел и без крыльев — ангел» (Минск, «Мастацкая літаратура», 2014) вновь зовет читателя в XVIII век. Герои произведения — известные исторические личности: представители родов Радзивиллов, Гогенцоллернов, Огинских, императоров российских Романовых...

Казалось бы, автору не обойтись без разговора о политике. Однако цель его повести в другом: «*Всем, кому любовь не принесла счастья, как и тем, кому она в радость, — посвящаю*», — так предваряет писатель книгу, которая — о любви. Хотя политические события отражены на страницах произведения, и они не только фон для чистых возвышенных чувств. Именно историческая действительность является вершителем человеческих судеб в книге. Любовь и — вечная разлука в угоду незыблемым условностям...

Алесь Мартинович довольно подробно описывает родословные корни юных влюбленных Элизы Радзивилл и Вильгельма Гогенцоллерна, отмечая: *«И это хорошо, что в центре внимания потомков, как правило, находятся те, чьи заслуги неоспоримы. Правильно и то, что не забыты и их антиподы, показавшие себя далеко не с лучшей стороны. Все же надо знать, кто был кем*». И далее автор затрагивает один из неразрешимых вопросов: как в одном человеке сочетаются, уживаются добро и зло, тьма и свет? Ставя вопрос, писатель, удивляясь, констатирует факты. *«Если кому не повезло, так это Мартину Радзивиллу, который, за редким исключением, просто замалчивается. И это при том, что, если уж быть объективным, то в его биографии сочетание темных и светлых полос, по сути, такое же, как и у Геронима Флориана Радзивилла, люто подавившего Кричевское восстание под руководством Василя Ващилы, и вообще, человека очень жестокого. Вместе с тем Героним Флориан являлся меце-*

натом, основал театры в Слуцке и Бялой, собрал картинную галерею, большую библиотеку. Поди разберись, что в нем перевешивало».

У доктора филологических наук, литературоведа Бориса Андреевича Леонова в книге «Колоски и зерна: из блокнота критика» читаю: «Время и личность. Человек и обстоятельства. Вечные, но не статичные понятия. Может, потому и вечные, что не статичные. Динамика же их, диалектика трудноуловима. Объективное и субъективное в них переплетено неповторимо и порой непредсказуемо». Вот и Алесь Мартинович пытается ответить, отталкиваясь все от тех же — времени и обстоятельств: *«Пожалуй, правильнее всего сказать, что он был сыном своего противоречивого и жестокого времени».*

Может быть, может быть... Однако можно и поразмышлять, и не согласиться. Во всякое время зло не переставало быть злом, боль и страдания не преуменьшались от века, в который их претерпевало человечество. Неизменным оставалось одно: «И вновь заповедую вам: любите друг друга» (Евангелие от Иоанна, гл. 15:17).

Любовь во всех ее проявлениях: от милосердия, доброты, жертвенности до смиренного служения и всесильной верности, — вот то, что определяет человеческую сущность как Божественную данность. Иное — нескончаемая борьба за вечную душу...

Если сделать хотя бы поверхностный анализ состояния человеческой сущности в нынешнее время, то невольно придешь в уныние. Набрав в поисковике интернета: «добро и зло», — можно попасть на страницу философствующих современников. Я ужаснулась: некий «мыслитель» без всяких сомнений выдал на-гора «шедевры» собственного мировоззрения. В жизни он выбрал тьму, потому что считает ее вечной. Выбрал ад, надеясь встретить там друзей. Выбрал дьявола, потому что считает, что именно тот дает ему земные блаженства — 7 смертных грехов: блуд, лень, обжорство, гордыню, гнев, зависть, алчность... За каждым из этих грехов, — утверждает он, — кроется удовольствие.

Несчастный с легкостью выбрал Зло, признавая его существование, но при этом не задумываясь, что тем самым он признает и существование Добра, следовательно, Света, Рая, Бога... Ужас кроется в его выборе!

Посмотрим же вокруг и вдруг увидим, что люди делятся, по словам старца Паисия Святогорца, на пчел и мух. Пчелка, куда бы ни занесла ее судьба, даже на самую мерзкую свалку, будет искать и обязательно отыщет там благоухающий цветок, чтобы собрать с него мед и сказать: «Весь мир — прекрасные цветы!» Муха же, залетевшая в цветочный сад, будет выискивать кучку навоза, чтобы потом завопить: «Весь мир — помойка! И этот сад — тоже помойка!»

И еще одно любопытное наблюдение. Пчела, наделенная жалом, не стремится им воспользоваться без нужды, но если это случилось, то за боль, причиненную другим, будет расплачиваться собственной жизнью. Божественно мудро. Потому что смирение и терпение, умение простить обижающих и ненавидящих есть благо, любовь и спасение для человеческой души. А причинение боли, злоба, клевета, равная убийству, есть вечная смерть. Муха, обозленная осенним холодом, предчувствием зимы, норовит назойливо и больно укусить любого на своем пути, не догадываясь даже, что по сути она уже мертва...

Алеся Мартиновича можно смело назвать трудолюбивой, щедрой, доброй пчелой. В своих произведениях он обращается именно к теме любви. В повести «Ангел и без крыльев — ангел» — к любви в таком ее проявлении, о котором уже позабыли в современном мире, где дети рождаются до брака, а сам благословенный брак становится чем-то вроде «анахронизма»-аппендикса, который будто бы в организме лишний...

Чистое, светлое, уже позабытое и писателями, и читателями платоническое чувство огромной силы оживает на страницах книги, загорается волшебной звездочкой, осеняет ангельским прикосновением.

Это не только любовь главных героев произведения княжны Элизы и принца Вильгельма, сына прусского короля Фридриха Вильгельма III. Но и тихое чувство известного поэта Василия Андреевича Жуковского к великой княгине Александре Федоровне, и поздняя страсть рейхсканцлера Отто фон Бисмарка к графине Екатерине Орловой-Трубецкой, и счастливая любовь будущего императора России Николая I и прусской принцессы Шарлотты. При православном крещении перед бракосочетанием она была наречена Александрой Федоровной. Николай Павлович, впервые увидев Шарлотту в Берлине, куда заехал вместе с братом Михаилом, направляясь на войну с французами, возжелал никогда с принцессою не расставаться, *«принадлежать ей всю жизнь... Шарлотта была потрясена не менее, чем он сам. Такого красивого мужчины ей до этого не приходилось видеть... Они сразу полюбили друг друга».* 25 июня 1817 года, в двадцать первый день рождения великого князя, состоялось обручение...

В Санкт-Петербурге молодым отвели Аничков дворец на Фонтанке, о котором Николай Павлович признавался любимой супруге: *«Если кто-нибудь спросит, в каком уголке мира скрывается истинное счастье, сделай одолжение, пошли его в Аничковский рай».*

У Вильгельма и Элизы, к сожалению, не случилось такого же счастливого венца их любви. Они были вместе с детства, с «*такого возраста, когда, конечно же, ни о каких особых чувствах говорить не приходится. Просто росли девочка и мальчик, который буквально на глазах превращался в юношу. От своих сверстников они отличались разве тем, что принадлежали к элите аристократического общества, а поэтому их воспитанию уделялось очень много внимания».* Действительно, этим детям были доступны занятия искусством с известными мастерами. Элиза танцевала, увлекалась живописью.*»...Музыкой, искусством жила с детства. Да и отец ее был знаком не только с Михаилом Клеофасом Огинским, а и с другими композиторами. Людвиг Ван Бетховен посвятил ему свою увертюру «Шотландские песни». Посвящения князю Радзивиллу есть также у Фридерика Шопена, Феликса Мендельсона. Да и подруга Гете, известная пианистка Мария Шимановская в будущем, кстати, ставшая тещей Адама Мицкевича, адресовала Антонию Генрику «Серенаду для пианино и виолончели».*

Вильгельму родители тоже подыскали превосходных учителей и воспитателей. Он быстро освоил верховую езду, рано приобщился к военному делу. Взрослые одобрительно относились к детской дружбе, даже не предполагая, какие страдания выпадут на долю их взрослеющих детей.

Надо заметить, что в повести «Ангел и без крыльев — ангел» автор ушел от привычной схемы трагических любовных сюжетов, когда недоброжелатели устраивают козни влюбленным, пытаются их разлучить. Читая книгу, не без удивления обнаруживаешь, что и родственники, и друзья, и, конечно, родители искренне переживают за молодых, даже пытаются им помочь. Однако безжалостные обстоятельства и законы, придуманные людьми, — вот что противостоит трогательной любви!

Хотя Вильгельм не прямой наследный принц, но в силу разных причин он мог им стать. Следовательно, его женой должна быть лишь та, которая не помешает ему ступить на королевский престол. По приказу Фридриха Вильгельма III была тщательно изучена родословная Радзивиллов с целью обнаружить хоть малую связь с королевским домом, но они никогда не принадлежали ему. Тогда появилась фантастическая идея об удочерении Элизы российским императором Александром I. Однако совершить поступок, который отрицательно повлиял бы на его авторитет, он не смог. Не сделал этого и принц Август Прусский. Трагедия разлуки неумолимо обрушилась на влюбленных...

«В то, что стало реальностью, Вильгельму, тем не менее, никак не

хотелось верить. Это было выше его сил...» Всю долгую жизнь, несмотря на то, что пришлось жениться, даже заиметь детей, будущий король Пруссии продолжал любить единственную свою Элизу, никогда не расставался с ее портретом.

Несчастная девушка пережила известие бурно-эмоционально, потом *«глаза ее стали какими-то стеклянными, а взор потухшим, неосмысленным, ко всему безразличным. Создавалось впечатление, что княжна ничего не видит вокруг, а наполнена только тем, что уже усвоила и что успело стать частью ее самой. И от этого уже никуда не деться, от него не отмахнуться. Ему надо находиться в тебе всегда, постоянно, и с этого момента дальше придется жить только с ним...»* Элиза, сохранив верность любимому, умерла от чахотки в 31 год...

«Счастье не только в любви», — возражал сыну король Пруссии. Однако автор повести напоминает читателю другие слова — писательницы Жорж Санд: «В жизни есть только одно счастье — любить и быть любимым». И это очень близко к тому, о чем говорят современные психологи: девяносто процентов человеческого счастья — в семье. Семья же создается любовью.

При знакомстве с книгой Алеся Мартиновича «Ангел и без крыльев — ангел» меня, как читателя, не покидало ощущение волшебства. Несмотря на историческую основу произведения, есть в нем что-то сказочно-детское: ожидание чуда, потому что свет, чистота, добро обязательно должны победить. Любовь должна остаться! И она осталась на века в памяти людей — чудесная, удивительная, настоящая, какой и должна быть.

Наталья СОВЕТНАЯ



Из почты журнала

Из Белой Руси да по Белому морю

К месту молитвенного подвига подвижников благочестия

Надоели суета и беспомощность, когда от тебя мало что зависит, а где-то рядом страдают и даже гибнут люди, безвозвратно кидаются в омут собственных ошибок и тревог. И кажется, потерян смысл, ради чего человек явился на свет и ради чего терпит, терпит и терпит... Хотя терпения этого как раз и не хватает. Всем и каждому из нас.

Поезд мчится на север, в Карелию, к Полярному кругу. Под стук колес плацкартного вагона наблюдаю, насколько заросли придорожные полосы железнодорожной магистрали. Неочищенные от диких кустарников и высокой травы, они толкают к мысли об одиночестве этого края русской земли. У нас в Беларуси такой заброшенности у дорог не встретишь. А здесь — обшарпанные фасады станций и вокзалов, разбитые перроны, неприглядные объекты привокзальной торговли.

Хмурая женщина в соседнем купе постоянно звонит по мобильному телефону, плачет и кому-то рассказывает:

— Их третьи сутки бомбят... Сестра на звонки отвечает, но только говорит одно: я дома, я дома...

И без объяснений понятно: разговор о жителях Донецка или Луганска. Действительно, чужого горя не бывает... Современные коммуникации сближают всех, но и разрушают одновременно. Человек перестает быть самим собой, слушать свой внутренний голос. От событий, происходящих за тысячи километров, никуда не деться, не спрятаться, не уйти, не уехать.

А что, на Соловках-то есть мобильная связь? А как без нее. Правда оператора только два, и берет только в районе поселка. А если чуть дальше, на Сикирку или на Анзер, не ловит...

Соловецкий архипелаг манит, зовет то ли своей неизвестностью, то ли величием подвига, совершенного на нем человеком. Подвига противостояния злу, победы света над тьмой, чистоты духовных устремлений. Здесь приходит переосмысление ценностей, как-то по-особому начинаешь узнавать жизнь, и если повезет, откроешь для себя что-то такое, о чем еще недавно не догадывался, прикоснешься к незримому, воспетому Духом и Солнцем.

Природа на Соловках нежна и сурова одновременно. После долгих холодов и тьмы в июле она расцветает пышной зеленью, так что никакой художник не передаст на холсте ее удивительный блеск и свежесть.

Все Кресты — Христовы

Мы входим в бухту Благополучия, и мир как будто поворачивается к тебе своей светлой, праздничной стороной. Благодать-то какая! Аж дух захватывает. Плыли, плыли почти четыре часа на маленьком баркасе, явно перегруженном людьми и багажом, а вокруг — застывшее море, необитаемые острова, ну просто — белое безмолвие. Под килем — 67 метров глубины, и даже больше. И только спокойная улыбка капитана, бывалого помора, бодрила, вселяла уверенность. Время навигации на Белом море всего-то с мая по сентябрь. Почти восемь месяцев Соловецкий архипелаг отрезан от материка, море замерзает местами, образуя злове-

щие ледяные комки, которые не раз становились причиной кораблекрушений.

И вот пред взором предстал величественный кремль с позолоченными маковками куполов, мощной каменной стеной, весь такой святой и крепкий... На миг подумалось: не видение ль это? Где тут вымысел, а где реальность? Посреди бухты, в воде стоит огромный поклонный крест, он сразу приковывает внимание странников, как маяк, подает в дальнем море сигнал надежды и веры.

Я ступила на соловецкую землю — сердце ликовало, радовалось в ожидании встречи с тем, что, возможно, сумеет возвысить и дать силу, научит прощать, подскажет правильный путь.

Рядом с причалом — Святые монастырские врата. Они впускают каждого страждущего, а выпускают уже иного, преображенного и возлюбленного...

Дату основания Соловецкой обители назовет далеко не каждый житель Соловков. Привыкшие к колокольному звону, они не спешат бить поклоны у алтарей и пред святыми иконами. Дети советского времени, каждый посвоему понимает сакральный постулат: «Богу Богово, а кесарю — кесарево». Да и не так уж много времени прошло с тех пор, как на остров, где на протяжении десятилетий дислоцировалась база Военно-морского флота, вернулись монахи. А вместе с ними и стала возвращаться на Приполярье вера православная, повсюду появляться кресты Христовы.

Когда подвижники осваивали новые места для своих молитвенных подвигов, первым делом они устанавливали крест. В начале прошлого века на Соловках было около 3000 больших крестов! Молчащие свидетели времен расцвета и упадка духовной и материальной жизни человека на Беломорье. Вот сюжет старинного образа Соловецких святых Савватия, Зосимы и Германа: преподобный Савватий и Герман, старец «некнижный и простого нрава», сойдя на берег в 1429 году, поставили крест, а затем и келью, мотыгами раскопали участок земли для огорода...

Мы поднимаемся в надвратную Благовещенскую церковь, и перед входом гид рассказывает удивительную историю. За несколько дней до возвращения на Соловки мощей преподобных, в августе 1992 года, в храме случилось чудо. Взялись приводить в порядок старую входную дверь — открылась... икона. Простота сюжета поразила опытных реставраторов: вот он — фрагмент прибытия преподобных Савватия и Германа на Соловки. Все в этом образе было узнаваемо: и крест на срубе, и деревянная лопата с железным наконечником в руках преподобного Германа, и море. Построение перспективы напоминало вид с Секирной горы. Сегодня этот памятник иконографии в ряду наиболее значимых символов Соловков.

Крест как знамение жизни, вернее, ее вечности. Сколько ни ходи тропами, будь то по Анзеру или по Большому Заяцкому, — всюду встречаешь кресты, поклонные, памятные, навигационные. Традицию ставить кресты на Руси предание связывает с апостолом Андреем Первозванным, поставившим крест на Киевских горах.

Самый большой крест на Соловках был установлен в 1903 году, в Плотищенской губе, его высота 11 метров!

Основатель современной соловецкой кресторезной мастерской Георгий Кожокарь вспоминает, что в начале 90-х оставалось всего-то около двух десятков крестов, установленных в прошлые годы. Во времена воинствующего атеизма, существования Соловецкого лагеря особого назначения кресты умышленно и безжалостно уничтожались. Возрождение традиции началось с перенесением мощей преподобных. По благословению наместника Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря архимандрита Иосифа первый крест установили у подножия Секирной горы в память о всех новомучениках и исповедниках, пострадавших на Соловецкой земле.

— Господь нас милует, открывает содержание тех текстов, которые писали на крестах, — свидетельствует Георгий Кожокарь. — Осмысление и постижение креста — тема богословская, очень сложная и ответственная...

Когда молитва — это труд

Не зря говорят: соловецкие монахи — особенные, других таких по всей Руси не было — не в молитве, а в труде спасались. И сегодня традиция живет.

День в монастыре начинается рано. В 6 часов утра вся братия собирается в храме, где служится братский молебен у мощей преподобных. После молебна часть братии расходится на послушания. Помощников в благих делах здесь тоже немало. Многие строения все еще находятся в лесах, повсюду можно встретить строителей, прямо в центре двора разгружают стройматериалы, стук молота привычен, как и звон колоколов. У колокольни открыт монастырский ларек, где продают свежую выпечку: пирожки с капустой, брусникой, картошкой, рыбой. Рядом разбиты аккуратные грядки, на которых радует глаз пряная зелень — укроп, петрушка, кинза, лук.

До XV века Соловецкие острова были частью промысловых угодий древнего корельского рода. С приходом монахов эти земли постепенно расцвели как «райские кущи». К 1460 году были построены первые деревянные церкви — Успенская, Никольская и Преображенская. Монахи пекли свой хлеб, об этом свидетельствует уникальный в русской иконописи соловецкий образ Матери Божией Хлебенной. В монастыре выпаривали в специальных варницах на железных сковородах соль. Варница — это такая яма, в которой устраивалась печь с домиком над ней.

Особую роль в становлении монастыря сыграл игумен Филипп из боярского рода Колычевых. Став настоятелем в 1548 году, он вошел в историю как человек, способствовавший экономическому процветанию Соловков и сделавший очень многое для укрепления авторитета монастыря. При нем появились в обители каменные соборы Преображенский и Успенский, построены братская трапезная, гавань для прибывающих судов, были отлиты настоящие колокола. Святое озеро расширили и соединили каналами с другими озерами; провели дороги, устроили большой скотный двор на Муксольме, каменную водяную мельницу, кирпичный завод. Во времена Филиппа братия начала заниматься традиционными для монахов ремеслами — иконописью, книгоизданием.

За заслуги Филипп был назначен митрополитом Московским. Выступил против опричнины, которая мрачной тенью висела над Россией, и навлек на себя гнев и поругание царя. Сосланный в Тверской монастырь, принял мученическую смерть от руки Малюты Скуратова.

В те времена, впервые, Соловецкий монастырь был использован как место ссылки. Бывший настоятель Троице-Сергиева монастыря, игумен Артемий стал первым соловецким узником. А спустя четверть века на островах появился и первый острог.

Да, поездка на Соловки становится откровением для многих современников, несмотря на то, что вроде как считаешь себя человеком просвещенным, много читал и знаешь, но... Вновь и вновь открываешь для себя малознакомые трагические белые пятна нашей общей истории. Земля соловецкая полита кровью десятков тысяч мучеников, 94 из них причислены к лику святых. Немало настоящих подвижников духа, иных коснулось забвение. Хотя в списке жертв красного СЛОНа (Соловецкий лагерь особого назначения) хватало и матерой уголовщины, людей низменных и никчемных. На этом фоне высокое и земное приобретает более четкие очертания.

На обратном пути с Секирной горы, где в еловой тиши рядом с монашеским скитом расположено кладбище безымянных жертв красного террора, а в боковом приделе храма сейчас находится музей штрафного изолятора, мы заехали на Филипповские садки и в Ботанический сад.

Садки были созданы для разведения рыбы в XVI веке при св. игумене Филиппе. По сути, небольшой морской залив, отделенный от моря искусственной дамбой из некрупных валунов. Садки использовались мона-

хами для сохранения живой рыбы, пойманной в Белом море при нормальной погоде. Пользовались ими, когда лов был невозможен, в штормовую погоду. Монастырь имел множество рыболовных тоней, где сетями ловили треску и сельдь.

И пустынь превратили в сад

Ботанический сад на Соловках удивляет и восхищает. Бывшая Макариевая пустынь с 1882 года стала местом, где в летнюю пору флора пышно зацветает всеми буйствами красок. Сад занимает около 5 гектаров, центральным зданием комплекса является двухэтажный деревянный дом — Дача архимандрита. Вдоль дороги к ней парадно возвышаются великолепные лиственницы. Обочины аллеи окантованы большими светло-зелеными мясистыми листьями бадана. Здесь какой-то особый микроклимат, так что уцелели даже некоторые растения, высаженные монахами сто и более лет назад. Сад посещали многие знаменитости. Например, принц Чарльз прилетал, чтобы увидеть соловецкий сад, и даже пил чай из бадана. Экскурсовод рассказывает, что монахам удавалось вырастить даже арбузы и дыни. На зависть Менделю и Мичурину. Из построек здесь сохранились остатки часовни Александра Невского (1854), валунный погреб-ледник, устроенный в склоне холма и засыпанный землей, деревянный восьмиконечный крест высотой около 10 м.

Небольшая экскурсия по саду заставляет верить в чудеса природного толка. И как это, когда до Полярного круга рукой подать, растут чувственные рододендроны?

Никогда не видела столько камней, как на побережье Белого моря. Местами они напрочь препятствуют человеку войти в море. Сожалею, что так и не удалось походить по морскому дну босиком. Ведь стоял самый жаркий месяц года. И хотя вода у побережья все равно выше 18—20 градусов не прогревается, желание окунуться преследовало. Но оказавшись на живописном берегу, видишь обилие раскисших водорослей неприятного вида и запаха, и весь авантюризм вмиг улетучивается. В былые времена море называли Студеным, Соловецким, Северным, Спокойным и даже Белым заливом Северного Ледовитого океана. Биологи насчитали в нем 194 вида водорослей. Среди них распространены целебные ламинарии. До недавнего времени в Соловецком поселке работала фабрика, где ламинарии перерабатывали для косметических и фармацевтических производств. Но и это единственное промышленное предприятие приказало долго жить.

Путь на Голгофу

О Русской Голгофе прежде не слышала. А она есть. На острове Анзер Соловецкого архипелага. Попасть туда удается далеко не всем паломникам, прибывающим в Соловецкий поселок, — путь на Анзер неблизок и сложен, судоходство в этом направлении ограничено. И все же, если уверенно идти к цели, она досягаема.

Ранним туманным утром по дороге, разбитой до такой степени, что в старом уазике трясет так, аж челюсть выворачивает. Но люди немолодые соглашаются за определенную сумму хоть на какое авто, потому как ехать — не идти, впереди — пеший поход на 16 километров...

Погода на Соловках переменчива, священник Павел Флоренский[1] называл Соловки островом ветров. И был прав.

[1] Павла Флоренского иногда сравнивают с Леонардо да Винчи. Правда, Леонардо завершил свой жизненный путь в почете и славе, а вот место захоронения П. Флоренского неизвестно. Арестовали его за прочитанную в Московской духовной академии проповедь. В сентябре 1934 г. Флоренского перевели в Соловецкий лагерь особого назначения, там он работал на заводе йодной промышленности, где занимался проблемой добычи йода и агар-агара из морских водорослей, сделал ряд научных открытий.

Имя известного философа вспомнилось не случайно. Вместе с нами по пути на Русскую Голгофу отправились и близкие родственники Павла Флоренского, прибывшие из Москвы. В поселке одна из центральных улиц носит его имя. Религиозный философ, ученый-энциклопедист, Павел Александрович Флоренский был среди узников Соловецкого лагеря, уничтожен сталинским режимом в декабре 1937 года.

Наш корабль, преодолевая сильное течение в проливе, подошел к берегу метров за 300 и остановился. Дальше нас перевозят группами на моторной лодке. То ли монах, то ли послушник в длинных рыбацких сапогах подводит лодку к причалу, насыпанному из камней. Под моросящим дождем мы идем протоптанной дорогой к Троицкому скиту.

По преданию, на Анзере долгое время селились отшельники, имена которых известны только Богу. Длина вытянутого острова около 17 километров. И где-то в самом центре на возвышении стоит Голгофская церковь.

Экскурсовод рассказывает о преподобных Елеазаре и Иове. С их именами связана духовная жизнь на острове. История настолько откровенна и трогательна, что иногда ты явственно ощущаешь незримое присутствие святых рядом.

В 1615 году на Анзер перебрался инок Елеазар. Он устроил свою келью у озера Круглого. Беднягу посещали бесовские видения, но однажды перед ним явилась Пресвятая Богородица и сказала: «Мужайся и крепись, Господь с тобою, и напиши на стенах кельи: «Христос с нами уставися». (Слово «уставити» означает «удержать».) Прожил Елеазар на острове почти 40 лет. Вокруг него образовалась монашеская община. Здесь принял постриг будущий патриарх Никон (стал Патриархом Московским и всея Руси в 1652 году). Прожил он в скиту три года. Елеазар предсказал Никону будущее патриаршество. Впоследствии, став патриархом, Никон направлял щедрые пожертвования на Анзер, добился от царя увеличения казенного содержания.

Откровенно говоря, Троицкий скит оставил тягостное впечатление. Каменный двухэтажный братский корпус, пристроенный к храму Живоначальной Троицы, все еще остается в плачевном состоянии. После закрытия Соловецкой обители на Анзере было организовано IV отделение Соловецкого лагеря особого назначения. Здесь содержались политзаключенные, женщины с грудными детьми, православное и католическое духовенство.

После краткого молебна в храме, который переживает время реставрации и на стенах которого открываются удивительные фрески, мы в тишине расположились на берегу живописного озера, чтобы передохнуть перед следующим этапом восхождения на Голгофу.

Что все же приводило иноков к пустынножительству? Какой надо обладать силой воли, чтобы десятилетиями жить по строжайшему уставу, питаться мукой, заваренной на воде, и овощами? А может, в этом кроется загадка силы духа?

Гора Голгофа возвышается в центре острова как место мира и молитвы, памяти и покаяния. Гору опоясывает дорога. Радость и скорбь всегда присутствуют на склонах Голгофы, склонах, покрытых цветущим розовым иван-чаем...

Нынешний настоятель скита — отец Георгий, к нам, паломникам, или как метко назвала нас гид — пилигримам, так и не вышел. В разгар сезона (июль—август) на Голгофу ежедневно приходят по две (а то и более) паломнические группы. А строгий монастырский устав нацеливает душу все же на уединение, способствующее проникновенной беседе с Богом.

На вершине Голгофской горы (самая высокая точка архипелага) нашему взору обнажилась дивная красота здешней природы. Высокие ели спускались до самого берега моря. Водная гладь издали несла умиротворение и спокойствие. Воздух чист и ясен. И, о чудо, рядом с храмом — большая старая береза, распластавшая свои ветви по форме креста. Повсюду видны дела твои, Господи, и промысел Божий живет в каждом естестве.

Работы по реставрации деревянного храма Воскресения Христова XVIII века здесь велись с 1995 года и через десять лет завершились. Сооружен и новый келейный корпус для проживания монашествующей братии. Голгофой назвал анзерскую гору преподобный Иов. В свое время он был духовником Петра I и членов царской семьи, но по доносу попал в опалу, в 1701 году был сослан в Соловецкий монастырь. На Анзере во сне ему явилась Богородица и сказала, что «сия гора нарекается Голгофою». Храм Распятия Господня полностью восстановлен, создан новый иконостас, новыми колоколами украсилась звонница.

Тайны лабиринтов

Большой Заяцкий остров считается самым удивительным среди остальных островов архипелага. Удивляет на нем все: растительность, почва, строения, туристская тропа, загадочные лабиринты и даже ветер. И всего-то в пяти километрах от Большого Соловецкого острова, но здесь нет ни рек, ни озер (хотя на Соловецком их 365!), ни леса, отовсюду видно море и камни. Здесь никто не живет, но в туристический сезон — сотни паломников. Пройти весь остров можно практически за полчаса по мощеному деревянному тротуару. Сделали его специально, чтобы группы многочисленных пилигримов не повредили уникальный ковер с тундровой пропиской. Да-да, здесь мы оказались в притундровых широтах. Сплошь — террасы из моховой подстилки на каменистой почве. Вместо деревьев — низкорослые кусты. Повсюду причудливые валуны разных форм и размеров.

Заяцкий остров притягивает любознательных туристов тайной своих лабиринтов, манит аурой многозначительного молчания. Увидеть эти загадочные каменные спирали равносильно тому, что побывать в энергетическом центре земли. Мы подходим к одному каменному сложению спиралевидной формы, потом еще и еще. Все они разнятся в диаметре. От 3,5 метров до 25,5. Не одно поколение археологов пытается разгадать символику этих сложений. Одни предполагают, что таким образом сохранились первобытные святилища, другие говорят о традиционных для Беломорья рыболовных устройствах, их еще называли «ловушки», «оградки». Однако достоверной разгадке эта символика не поддается.

Так или иначе, очевидное становится невероятным. Ведь никакие ветра, ни северные, ни политические, ни фронтовые, не разрушили тысячелетние лабиринты. Монахи понимали, что даже если это дохристианские святилища, то уничтожение любой связующей нити поколений может обернуться бумерангом, аукнуться непрошеным злом. В XIX веке Заяцкие острова стали ареной военных событий периода Крымской войны, когда против Соловецкого монастыря в Белом море направилась английская эскадра. «Звезды» лабиринтов оставались не тронуты и во времена, когда на «заячьи» острова ссылали в наказание провинившихся заключенных. Да, подобные артефакты встречаются в странах Северной Европы, но право самого большого лабиринта закреплено за беломорским архипелагом.

Кстати, по одной из версий, происхождение названия острова связывают с морскими зайцами, которые некогда обитали здесь. В 1934 году Павел Флоренский писал: «Раньше было много тюленей. Теперь же из ластоногих остались морской заяц и нерпа. Одного такого зайца я видел у нас здесь на выставке. Он был среднего размера, но все же в длину был около 1,5 метров, а бывают и 2 метра. Очень похож на тюленя». Еще есть свидетельства, что на Заяцкие острова монахи ездили за яйцами гагар и гаг.

Зайцев на Соловках я не видела, а вот за белухами в море наблюдала. Близко они к себе не подпускают. А издалека видно, как резвятся, — плещутся на волнах большие серебристобелые котики.

Жаль, но время, проведенное на острове, пролетело как одно мгновенье. Теплоход подавал гудок на отправление. А так хотелось остаться, задер-

жаться хотя бы на день. Почему-то именно здесь пришло ощущение духа вечности, на фоне которой наша жизнь всего лишь миг. Маленький остров в космосе бытия.

Послесловие

Чем больше думаешь о Соловецких островах, тем больше хочется написать о них. На самом деле углубляться в тему можно до бесконечности. Соловки — дивный остров молитвенного созерцания, покорности, терпения, и возрождение величия его подвига еще только начинается. И греют душу воспоминания о таком далеком, но близком для ума и сердца. Никогда не надо бояться стремления узнать больше, увидеть то, что за гранью, услышать ближнего, понять себя.

Мой витебский знакомый, прочитав эти путевые заметки, задумался:

— Но ведь для многих вопрос: почему тебя туда потянуло? — так и остался без ответа... Зачем туда ехать? Расходы немаленькие и даль несусветная...

Размышляю. Вариантов для объяснений много. Почему-то вспомнилось, как в школьные годы увлекало чтение о путешественниках Заполярья. Как в студенческие годы профессор Михаил Евгеньевич Тикоцкий обратил наше внимание на стилистику рассказов Юрия Казакова. И взяв в руки книгу «Во сне ты горько плакал», я с головой окунулась в литературу о странниках, рыбаках, природе Беломорья. Наверно, сегодня уже мало осталось от простоты, чистоты, девственности этого края, но отрадно, что то, о чем так печалился писатель — восстановление памятника культуры, истории и духовности — Соловецкого монастыря, начато и продолжается. Да, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вдохнуть соленого морского воздуха, рукой коснуться холодной водной глади, пройти тропой до Секирной горы. Сколько белорусов здесь полегло во времена СЛОНа, один Господь знает. Поклониться терпению и мужеству тех, кто в нечеловеческих условиях все же оставался человеком. Смог творить — в лагере был создан театр. Свои воспоминания о семи годах, проведенных в Соловецком концлагере, написал белорусский актер, режиссер, писатель Францишек Алехнович. Книга «У кіпцюрах ГПУ» вышла в 1935—1937 годах в Европе и Америке на семи языках. В Беларуси мы смогли познакомиться с ней в 1991 году в журнале «Полымя».

На Соловки за протест против реформы русской орфографии 1918 года был сослан в 1928 году и Дмитрий Сергеевич Лихачев. Впоследствии академик поделился своими воспоминаниями с Александром Исаевичем Солженицыным, и именно в кабинете Лихачева Солженицыну пришла идея названия «Архипелаг ГУЛАГ».

Соловецкий архипелаг удивляет даже того, кто уже давно удивляться перестал. Соловецкий мартиролог — возможно, только начало покаяния. И греет душу не то слово, что было сказано, а то, что еще будет. Хочется верить, что оно даст надежду и будет не зря...

Светлана ГУК

Путь в неизвестность!

«Стойте! Куда же вы? Это не ваш автобус!» — кричит водитель толпе, которая надвигается на него с огромными дорожными сумками. Все резко остановились, так и не достигнув цели — входных дверей в транспорт. Разочарованно стали возвращаться на свои места. Старухи и женщины начали нарекать на часовую задержку транспорта, на холодный вечер, ведь на часах было уже почти одиннадцать часов ночи.

В Светлогорске, возле Торгового центра собралось больше полусотни человек. Были и приезжие из других городов. Конец рабочей недели. Пятница. Нас ожидают дороги Подмосковья и Москва. «А когда мы вернемся из путешествия?» — поинтересовался кто-то. «Вы лучше спросите, когда мы уедем в это самое путешествие», — послышался ответ.

Такие поездки нельзя планировать, потому что в этих особенных поездках расписание и планы не работают: они словно перестают выполнять свои функции и растворяются в пространстве. Когда займем свои места в автобусе, мы, ранее незнакомые люди, породнимся и станем чем-то единым. И каждый из нас знает, что, отправляясь в эту поездку, мы не вернемся прежними...

Если я сей же час расскажу вам о маршруте и цели путешествия, вы не станете дальше читать. Я утаю. И тогда искра удивления коснется вашего воображения: «Как так? Я тоже хочу знать», — прошепчет кто-то из вас в своих мыслях.

В неизвестности

Порой пространство предлагает нам такие неожиданные варианты развития событий, о которых даже и не успел подумать. Никто из собравшихся не мог знать заранее, что кому-то придется отказаться от запланированной поездки — в автобусе на всех не хватит мест.

Когда мне удалось занять свободное место у окна, я начала пристально рассматривать всех тех, кто напористо и грубо пытался протиснуться в проход и отвоевать себе место. Сумки и сумочки, пакеты и рюкзаки, целые баулы люди пытались втиснуть в узкий проход в автобусе, пытались запихнуть под сидения, а часть из того, что не помещалось, — забросить на верхние полки для багажа.

Мы больше часа ждали на улице автобус и организатора поездки. И больше получаса пытались восстановить справедливость: кто-то должен был покинуть автобус. Не повезло последним в списке участников поездки. С криками, с бранью люди пытались отстоять свое мнение и прогнать с насиженных мест тех, кто успел расположиться. За эти полчаса пришлось выслушать столько гадостей! По-другому и не назовешь... «Что же вы делаете? — в мыслях спрашивала себя. — Мы такие места собираемся посетить! Нужно быть чистыми в своих помыслах, нужно быть сдержанными в своих эмоциях. Иначе с нами что-нибудь обязательно приключится...»

В пути

Это была мучительно долгая дорога. До Москвы ехали двенадцать часов. Ночью часто делали остановки. Зачем — мне было непонятно. Водители пили кофе, курили, подолгу разговаривали. Эти действия были избавлены динамики настолько, что, казалось, водители просто застыли, как восковые фигуры. Они не хотели нас везти в это

путешествие. Я узнала об этом позже: утром, когда мы сделали первый привал на одной из дорог России.

Во время очередной ночной остановки я хотела выйти из автобуса. «Куда вы пойдете, в проходе человек спит», — сделала замечание женщина, которая сидела напротив меня. И правда, мне удалось заметить растянувшееся на полу тело. Еще в проходе я заметила стул. Мальчик спит на стуле. Помните, я говорила, что кому-то не хватит мест в автобусе? Кого-то одолела обида и он ушел, а кто-то остался: было все равно, как ехать. Они были согласны на любые условия, только бы поехать, ведь эта поездка очень важна для каждого, кто решился на нее.

Ефимовна

Татьяна Ефимовна. Наша мама. На три дня путешествия она была для нас всем, говорю без малейшего преувеличения. Знаете, в дороге всякое случается... Она хранила наш покой. Оберегала. Татьяну Ефимовну называли просто — Ефимовна. И она отзывалась. Только нужно было не шептать слова, а громко и четко произносить их: у Ефимовны уже не те годы, слышит она плохо. Вышла на пенсию и стала организовывать поездки для верующих. Больше двадцати лет возит группы паломников по святым местам Беларуси, России и Украины.

Странничество или паломничество?

До поездки и во время нее я задавалась вопросом: можно ли меня считать паломником? Или я — странник? Принимая дорогу как паломник, я не смогу узнать о том, что может высмотреть, что может выспросить и за чем может понаблюдать странник. Странничество — более широкое понятие. Отправляясь на русскую землю в качестве паломника, я укреплю свой дух. Но если поеду как странник — укреплю и дух, и разум.

У стен Покровского монастыря

Матренушка-Матрена! Понадобилось провести 15 часов в пути, чтобы узнать, что именем твоим призывают уличные попрошайки: «Хлеба дай-ка, денег дай-ка». «Памперсы или молоко купи. Не для себя прошу — для ребенка», — причитала цыганка и шла за мной как тень. «Святая Матрена здоровья вам пошлет», — с этими словами женщина нахально протягивала руку и просила милостыню.

Светлогорцы с жалостью смотрели на попрошайку и ее ребенка. Дали им немного мелочи. Цыганка недовольно фыркнула и скривила лицо в говорящей ухмылке: «Что ж так мало дали?..»

У святой Матрены Московской

Собралось целое столпотворение. А все для того, чтобы преклониться перед иконой святой Матрены. Люди стоят в очереди по четыре часа. Стоят, чтобы припасть к ногам, а то и к Матрениным рукам. А идут же как! Толпами. За исцелением. И платят же. За все. И за себя в том числе. Да все без разбору: монетой одной платят. За свечи платят (они не дешевые), за воду из святого родничка, который находится на территории монастыря, платят за пряники и другие сласти, за чай, за кофе. И так неспокойно вокруг: московская суета проникла и сюда.

Женщины идут и жалуются; идут и по телефону бранят кого-то; идут так, словно мимоходом здесь, словно забыли что-то и возвратились забрать. Я уже и слушать их не хочу, не хочу слушать этих женщин. Как гусыни — гогота столько вокруг! Гогот и нетерпение. Толпятся, словно в транспорте, высматривают, где бы поудобнее место занять. О какой вере здесь идет речь?! О притворстве только...

Вдруг бежать захотелось от этой мелочности. Бежать вон из Москвы. Вышла за ворота монастыря: ничего, кроме суеты, не увидела. Только она накатывает еще с большей силой и, как

течение, — уносит вверх по улице. Растворилась в городском пространстве. Я побродила и вернулась назад, к автобусу. Меня снова атаковали попрошайки. Чтобы скрыться от них, зашла в автобус, села на свое место. Погрузилась в размышления.

Москва

Чего только не придумается! Вот послушайте и вникните в глубинный смысл фразы: «Москва столь удивительна и прекрасна, что, кажется, облагораживает город».

Сталинград на связи

Суета сует...
Наконец утих наш свет.
Сталинград на связи.
Эй, Москва!
Державная моя!
Пороха нам дай!
Да побольше.
Да помощнее.
Видишь, я на краю стою.
Немца бью.

Эх, руки мои удалые.
Да маловато нам снарядов...
Опять
Все гудят и гудят
Над головою
Вражеские пули.

Эй, Москва!
Пришла ты нам на помощь.
Знаю я —
Поведу этот бой
До победного конца.
Чтобы пуля моя,
Чтобы пуля...
Каску вражескую
Как трофей мне принесла.

Эх, Родина!
Не горюй,
Родная!
Золотое кольцо у тебя.
Кольцо твое — это храмы!
Как помолимся!
Как крест на грудь свою возложим!
Да как огонь в сердцах разведем!

Так вражеский народ,
Злющий народ,
Разбежится сам.

Рано нам погибать!

* * *

Строки эти пришли как-то неожиданно. Этот процесс похож на грусть навеянную и вдруг рассеянный недуг. А по-простому и не объяснишь...

Приторность

«Я не знаю, что... Что именно... Но какая-то приторность во всем этом действии. В этом общем пищеварительном процессе всем автобусом. Желудки как резину растянули. И все мясное едят. Где же им чище стать?! Где же им выше духовно стать?!» — так в мыслях росло мое негодование от происходящего.

Каждый раз, когда наша группа паломников собиралась снова в автобусе, все первым делом принимались открывать свои большие дорожные сумки с припасами. И начиналось чавканье. И начиналась вонь от залежалого мяса, которому было суждено находиться в пакетах еще пару суток.

Мне стало противно от того, что я грызу яблоко, а сидящие рядом женщины глотают вонючее мясо.

Сергиев Посад

Сергиев Посад — это город в Московской области, до которого нам пришлось ехать из Москвы еще несколько часов, потому что долго стояли в пробках.

Около 11 часов ночи мы достигли ворот Троице-Сергиевой Лавры, которая находится в центре города. Наша радость была омрачена: мест в гостинице не было. Это один из тех непредвиденных случаев, когда пространство решает за нас, каким же следующим будет шаг паломника. Поэтому никогда не планируйте маршрут и время прибытия в пункт назначения.

В мужском монастыре нас никто не ждал. Наша мама, так мы называли Ефимовну, никогда ни перед чем не останавливается. И охрана для нее — не преграда...

Нашей группе разрешили переночевать в трапезной палате и церкви преподобного Сергия, построенной в шестнадцатом веке. Как правило, она открыта для прихожан и паломников в ночь с субботы на воскресенье. Но сегодня была ночь с пятницы на субботу. Наш приезд нарушил размеренную жизнь Лавры. По закону жанра мы должны были быть наказаны, но Небо вознаградило нас за настойчивость!

Только приехавшие из Беларуси паломники этой чудной ночью бродили в полумраке сводов трапезной. Здесь никого больше не было. Храм принял нас. И затворил за нами двери. Время было около полуночи. Никто не осмелился выходить на улицу. Намоленное ежедневными молитвами пространство навеяло на людей некую тихую восторженную радость. Все утихли, в сердцах восхищаясь величием места, в котором нам было позволено остаться.

Сновидения

Это нельзя назвать просто сном или видением. И даже утренним бдением, потому что происходило это все после полуночи. Я улеглась на лаве в спальном мешке. Тяготы прошедшего дня так сильно одолевали меня, что, казалось, мысли, которые сновали в моей голове, съедят мозг без остатка. И, лежа с закрытыми глазами, я блуждала в видениях. Боги приходили и дружили между собой. Будда сменялся ликом Иисуса Христа. Затем появлялись лики святых, которых я не знаю... И тогда ко мне пришла мысль: они союзники. Боги дружат между собой, поэтому нет причин для религиозных распрей. Бог един. И не важно, в который из храмов я захожу.

Черный монах

Я проснулась незадолго до того, как черный монах, который вчера открыл перед нами двери и впустил нас на ночевку в трапезную, снова появился в этих загадочных сводах архитектурного ансамбля шестнадцатого века. Монах ходил вдоль лав и тихо призывал: «Вставайте!.. Вставайте!..» Я одна бодрствовала в этот предрассветный час. Сама не понимаю, отчего вдруг так рано и скоро проснулась. А было тепло и вяло. Все спали, кроме меня. Но вошел черный монах. Он появился в трапезной за двадцать минут до того, как часы пробили пять.

О загадочном

Загадочным может быть не только Тибет. Любое духовное паломничество в святое место есть великая загадка. Случайности здесь неслучайны (если их вообще можно назвать случайностями). Повороты судьбы настолько непредсказуемы, что и загадывать наперед не стоит.

Наш путь сюда был долгим и утомительным. Но время... Оно так медленно протекало. Казалось, пространство уже несколько раз изменилось, а стрелки на часах так неспешны. Они словно замерли. И жизнь растянулась. И мне слышались то тибетские молитвенные трубы, то колокольчики...

Суетность

Хожу по территории Посада, укутавшись в спальник. Неустанно хожу-брожу, никого не обгоняя, ни о чем не заботясь.

Это мирское снование...

Людям приходится с собою справляться! Некоторые и не справляются. Ходят вразвалочку, переваливаясь с ноги на ногу. Как утки. Гусыни ходят более благородно.

Навьюченные. Именно навьюченные. Как ослы. Вот только ослиных ушей им недостает. Что так смиренно тащат они? — спросите вы. Свои горбы. Свои проблемы. Еще сумки и сумочки. Кульки и кулечки. Пакеты и пакетики. Они смотрят в дорогу. Не на дорогу, а в дорогу. Смотрят,

что она им даст. И, ничего не замечая вокруг, бредут сами по себе, словно по пустырям идут, тяжело пробираясь сквозь свои грехи. С ослиной покорностью припадают они к мощам святых. Просят, рыдают, вскрикивают, всхлипывают.

В печали

Не знаю почему, отчего, но здесь, на монастырской земле, ходит несчастье. Его ведут за собой паломники. Удивительно, но я не замечаю здесь радостных лиц, задумчивых лиц. Они все печальны. За исключением разве только самих монахов. Они лучше других отслеживают происходящее. Они спокойны и рассудительны. Хоть и быстры. Широкими шагами отмеряют свой путь. Не спешат. Но быстры, я повторяюсь. Наверное, оттого, что знают цену времени, которое здесь не стоит, но медленно и плавно течет в пространстве. Отчего наваливается некое утреннее бдение, хоть день уже.

Хожу и не понимаю, то ли я иду, то ли ноги мои сами идут. Не я их веду, а они меня. Кажется, я была уже здесь ранее, в этом дворике. И церковные лавки. Их столько, что не счесть. Я продолжаю ходить в состоянии дремы. Ноги уже начинают болеть на внутреннем своде стопы. Пора бы отдохнуть. Посидеть. Но стою. Или топчусь туда-сюда. Смотрю по сторонам. Здесь необычно интересно. И любопытство превозмогает усталость. Волочить ноги я не умею, поэтому иду уверенным шагом. И никто не догадается, что этот путник (то есть я) уже в пути не первый день.

Бездонность

О время! Куда ты подевалось? Время, которое показывают стрелки. Оно, кажется, настолько отстало от внутреннего времени, что будто бы провалилось в собственную ловушку: в дыру времени, где все бездонно. И не имеет цвета, веса и величины. А что чувствуется? Будто бы обед скоро...

О потоках

Здесь все течет потоками. И не угадать, и тем более не предугадать, что будешь делать в ближайшие минуты. Поток. И время здесь рекой течет. Каждый возвратится восвояси. Но когда? И кем? Вот же истинные вопросы, ответы на которые придут. Но не теперь. Пока ты на этой святой территории, тобой руководят случайные путники. Ты странник, а путь укажет путник. Но по пути ли вам? Быть может, лучше разойтись или предоставить выбор своего пути интуиции? Но что же говорит твой внутренний голос? Быть может, глас его в словах прохожего? В словах путника, который встретился на твоем пути.

Посвящение

Меньше чем за час случай свел меня с тремя людьми. С мужчинами. Старец с доброй улыбкой бога. С ним я пила чай в буфете. Былинщик на спуске, недалеко от монастырей. Художник в парке. Таинство посвящения в новые знания. Быть может, этим самым таинством являются случайности, которые ведут к открытию и познанию нового? Но не просто «нового» как утверждения, а нового как «сакрального», потому что доселе оно не было известно.

Размышления о комнате

Странничество в миру. Оно откроет дверь в комнату заповедную. Но есть ли комната? Комнаты нет. Это лишь светлый вымысел, который позволяет дать название неизвестному предмету, сделать его общеузнаваемым.

Комната имеет размер, а значит, имеет предел. Но имеет ли границы познание? Развитие и рост через всю жизнь. Оно, просветление, происходит на протяжении всей жизни. А ждать ключей от Покоев или ключей от Комнаты — пустое пребывание души в теле.

Престранное дело

Это на самом деле ужасно, когда жуешь яблоко, а рядом глотают колбасу. И мясо, мясо, мясо... Вокруг. Во всем автобусе. После купания в роднике принялись за мясное. И что? Разве будет очищение? Спать среди икон, есть с молитвой в трапезной. А потом... Прийти и натоптаться мяса. Эх, брат, зачем и для чего тогда истину искать?

Наелись от пуза, а потом и реплики в пространство пускали: «На пайку опоздаем такую смачненную. Поехали уже!» Абсурдно звучит. Безрадостно. Понятное дело, если бы голодны были. А то ведь сыты. И о набивании брюха мечтают. Как боровы.

С благодарностью

Благодарна тебе, Господи, за солнце твое! Такое яркое, такое теплое! Человек — мера всех вещей. И миру об этом поведает сама душа. И незачем спешить, метаться туда-сюда. От сердца все должно быть. От сердца.

О вкушении

Правильно сказал в вечерней беседе отец Игнатий. Он хорошо сказал о еде, которую мы вкушаем. Сказал, что мясо — это мертвые клетки. Мы падалью питаемся, отчего не чувствуем легкости. Все заохали. Правильно, правильно говорит. И что же? Опять они насыщают свой голод мясным. Преклонились к кресту и преклонение свое заели. Проели, вернее сказать. Падалью. Этот мясоедческий ритуал продолжается недолго. Но сколько смрада! Интересно, что чувствует их душа, которая стремится к свету?

Привалы

Сергиев Посад покинули на рассвете в воскресенье. В село Годеново. И я поняла, что больше мне не нужно никуда ехать: ни в какие села, ни в какие монастыри. Потому что уже произошло насыщение великолепием, которое открылось моим очам, сердцу и разуму. И у странника случаются привалы в пути. Пока одни знания усваиваются — накопление других не должно им мешать. Иначе не произойдет перехода. Из одного состояния в другое. Не произойдет стремительного внутреннего роста.

Снова в пути

Мы двинулись в путь. С новыми силами. Ехали и ехали. Каждый жил в своем маленьком мирке ожиданий и надежд, которым, возможно, посчастливилось даже исполниться. Чудеса! В них верят даже взрослые. Существует много условностей, если бы не их помехи — счастье само приходило бы в дом к людям.

Не стану больше рассказывать о дальнейшем странствии. Иначе вы не поверите в то, что я уже вам рассказала. Или усомнитесь в достоверности происходящего после отъезда из Сергиева Посада. Скажу только: мы вернулись на родину утром в понедельник, в день, когда началась рабочая неделя. А это значит, что многие из паломников пришли на рабочие места с опозданием, что не входило в планы никого из нас. Пространство так решило — мы только надеялись.

Марина ЕВСЕЙЧИК



Авторы номера

САЛАМАХА Владимир Петрович. Родился в 1949 г. в д. Бересневка Кировского района Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Прозаик, публицист. Автор книг прозы «На ўзмежку радасці», «Прывід у скураным крэсле», «Напрадвесні» и др. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Живет в Минске.

МАКАРЕВИЧ Василий Степанович. Родился в 1939 г. в д. Купленка Крупского района Минской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Поэт, критик, публицист. Автор многих книг поэзии. Лауреат Литературной премии им. А. Кулешова. Живет в Минске.

ЛАПЦЕВИЧ Сергей Станиславович. Родился в 1969 г. в Минске. Учился на филологическом факультете Белорусского государственного университета. Прозаик. В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в Минске.

КИСЕЛЕВ Георгий Иванович. Родился в 1939 г. на Вологодчине (Россия). Окончил Литературный институт им. М. Горького. Поэт, критик, переводчик. Живет в г. Волковыск Гродненской области.

КОШКИНА Елена Вадимовна. Родилась в 1956 г. в Орджоникидзе (Россия). Окончила физический факультет Белорусского государственного университета, училась в Литературном институте им. М. Горького. Печаталась в журналах «Октябрь», «Немига», «Монолог», «Нёман». Автор книги «На грани исчезновения». Живет в Минске.

КОНТУШ Олег Анатольевич. Родился в 1959 г. в Минске. Окончил Минский радиотехнический институт. Печатался в газете «Прысталічча». Живет в Минске.

КРАМЕР Александр Борисович. Родился в 1953 г. в Харькове (Украина). Окончил Харьковский политехнический институт. Публиковался в периодических литературных изданиях России, Украины, Канады, Болгарии и Германии. Рассказы вошли в «Антологию российских писателей Европы» и сборник «Десять домиков». Живет в Любеке (Германия).

МЕЛЬНИКОВ Василий Георгиевич. Родился в 1959 г. в Минске. Окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В. В. Куйбышева. Автор книг поэзии «Поезд времени» и «Аквилон». Живет в Минске.

СЕРДЮКОВ Николай Николаевич. Родился в 1948 г. в д. Хорошевка на Гомельщине. Окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта. Автор сборника прозы «Два бессмертия», двухтомника исторических повестей и миниатюр «Луна невенчальная», «На семи ветрах». Живет в Минске.

БОРОДУЛИН Рыгор (Григорий Иванович). Родился в 1935 г. на хуторе Вересовка Ушачского района Витебской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Поэт, эссеист, переводчик. Автор около 70 сборников поэзии, критических статей, эссе, переводов. Народный поэт Беларуси. Умер 2 марта 2014 г. в Минске.

НЕМИРОВСКИ Ирен. Родилась в 1903 г. в Киеве. Училась в Сорбоннском университете. Французская писательница. Автор около 20 романов, самый известный из которых — «Французская сюита». Лауреат литературной премии Ренодо. Умерла в 1942 году в Аушвице.

ЛАКИЧЕВИЧ Драган. Родился в 1954 г. в г. Колашин (Черногория). Окончил филологический факультет Белградского университета. Поэт, прозаик, главный редактор издательства «Српска књижевна задруга». Автор более 30 книг прозы, поэзии для детей и взрослых. Лауреат многочисленных литературных премий и наград. Живет в Белграде (Сербия).